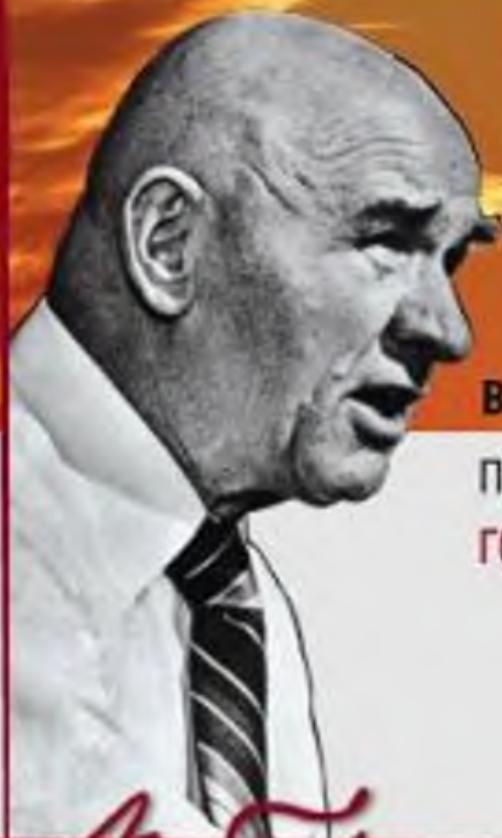


**КАЖДЫЙ
ВЫБИРАЕТ ДЛ**Я**
СЕБ**Я**...**



Памяти
выдающегося
правозащитника
генерала



А. Григоренко

УДК
ББК
К

*This publication was possible thanks to financial support of Moscow
Dynasty Foundation and its founder Dmitry Zimin*

*Данная публикация стала возможной благодаря финансовой поддержке
московского Фонда Династия и его учредителя Д.Б. Зими́на*

Каждый выбирает для себя.. Памяти выдающегося пра-
возащитника генерала П. Григоренко / Сост.: А. Григорен-
ко, И. Рейф. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН)

ISBN 978-56-8243-

All rights reserved. None of the part could be reprinted without
written permission of the General Petro Grigorenko Foundation,
authors, or their heirs

Все авторские права защищены. Никакая часть этого издания
не может быть опубликована без письменного разрешения
Фонда им. Петра Григоренко, авторов, или их наследников

УДК
ББК

ISBN 978-56-8243-

© Copyright © 2013 by General
Petro Grigorenko Foundation, Inc
www.grigorenko.org
© Российская политическая
энциклопедия, 2013

Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
каждый выбирает для себя.

Юрий Левитанский

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемая читателю книга – сборник воспоминаний различных людей об одной из центральных фигур Движения за Права Человека в несуществующем более СССР, ветеране Второй мировой войны (ВМВ), генерале, публицисте и общественном деятеле Петре Григоренко. Подавляющее большинство авторов лично знали покойного генерала. Исключения из этого правила сделаны для того, чтобы представить и точку зрения на общественную деятельность Петра Григоренко людей, с ним не встречавшихся.

Первоначально предполагалось, что этот сборник будет опубликован к столетию со дня рождения П. Григоренко. Однако различные обстоятельства, включая мою продолжительную болезнь, задержали выход книги более чем на пять лет. Срок в наш быстротекущий век достаточно значительный. За эти годы поколение молодых людей, не помнящих время коммунистического тоталитаризма, достигло зрелости и успело во весь голос заявить, что далеко не все их устраивает в режимах, установившихся на посткоммунистическом пространстве. Новое поколение ищет ответов на вопросы, каким должно быть их будущее и каким путем к этому будущему идти.

В то же время стало очевидным, что посткоммунистическое общество зачастую имеет весьма смутное представление о тех, кто противостоял молоху тоталитаризма, невзирая на драконовские репрессии, на клевету и шельмование в государственных средствах массовой информации. Даже прямые потомки правозащитников второй половины XX века имеют весьма туманное представление об этом беспрецедентном противостоянии, в чем я убедился в недавнем разговоре с двумя внучатыми племянниками. Параллельно с этим в последнее время оживился и интерес к недавнему прошлому, равно как и возможным урокам из него для современного поколения.

Все это дает основание думать, что настоящий сборник не только не потерял актуальности, но его востребованность только возросла. Не в последнюю очередь убежденность в своевременности и актуальности публикации правдивой информации о деятельности правозащитников прошлого столетия подкрепляется резким всплеском гражданского самосознания на посткоммунистическом пространстве. Я глубоко убежден, что передача правдивой истории противостояния тоталитаризму нынешнему и будущим поколениям борцов

за гражданские права – это моральный долг правозащитников того коммунистического прошлого.

Хотя воспоминания современников покойного генерала сфокусированы на его личности, надеюсь, что собранные здесь материалы смогут отразить достаточно широкую картину противостояния свободного человеческого духа одной из самых жестоких репрессивных политических систем в истории человечества на последней стадии ее существования 1960–80-х гг.

Хотя предлагаемая книга посвящена конкретному человеку, каждый из представленных в ней авторов рассказывает одновременно и о себе, своем давнем или недавнем прошлом. В их числе есть люди, для кого журналистика и писательство – профессия, но есть и такие, кто впервые пробует себя в этом жанре. Порядок расположения материалов имеет, на мой взгляд, свою логику, как бы отражает групповой портрет той небольшой части советского общества, которую власти, не жалея бранных слов, именовали и отщепенцами, и антисоветчиками, и буржуазными националистами и т. д. Мне, однако, ближе точка зрения одного из этих «отщепенцев», известного барда и драматурга Юлия Кима, высказанная им в песне, сочиненной в январе 1968 года, в дни суда над Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой:

На тыщу академиков и член-корреспондентов,
На весь на образованный культурный легион
Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов,
Вслух высказать, что думает здоровый миллион.

К слову сказать, «больные интеллигенты» – это люди не только разной социальной принадлежности, но и с разным образовательным уровнем. Среди них были и представители рабочего класса, как Владимир Гершуни, Анатолий Марченко, Виктор Хаустов и Юрий Grimm. Были и профессиональные военные, как Петро Григоренко и Генрих Алтунян. Были председатель колхоза Иван Яхимович и академик Андрей Сахаров. Само собой разумеется, что после крушения коммунизма (интернационал-социализма) люди из этого слоя, являясь в каком-то смысле совестью нации, не смогли непринужденно влиться в толпу вчерашних комсомольских и партийных функционеров, в одно мгновение перекрасившихся в демократов. Они «не стали бороться за место под солнцем в политической элите, – как писал Григорий Померанц. – От нее пахло продажностью. Лидерами демократии стали приспособленцы, спокойно жившие с партбилетом в кармане и спокойно выкинувшие свои партбилеты. Соединение нравственности с политикой, как в польской “Солидарности”, у нас не могло получиться. Честных людей слишком долго уничтожали.

И память о диссидентстве чисто нравственная память. Остался образ гражданского мужества, парящего над страхом, гражданского возрождения традиции Николки, сказавшего царю Борису: не могу молиться за царя Ирода, Богородица не велит. А то, что к ядру диссидентства прилипают разные люди (любители сильных ощущений, авантюристы, провокаторы), не меняет дела: отступники были и среди ранних христиан».

Составитель сборника надеется, что читатели смогут лучше представить себе этих людей, оболганных и советской властью, и посткоммунистическими карьеристами, без зазрения совести присвоившими себе титул демократов и патриотов. В то же время хотелось бы напомнить, что любые воспоминания – документ, как правило, неточный, где читатель может встретиться и с внутренними нестыковками (в том числе и в рамках данного сборника), и с фактами несогласованности с другими источниками. Я не ставил себе задачи корректировать представленные здесь воспоминания, хотя в отдельных случаях снабдил комментариями ряд более или менее известных фактов и уточнил некоторые даты.

Особо хотелось бы обратить внимание на разночтения имени главного героя сборника. Некоторые авторы называют его Петро Григоренко, то есть так, как это имя звучит на его родном украинском языке, другие используют русифицированную форму, как было принято в советские времена. В конце концов я решил оставить и то, и другое написание. Ведь до поры до времени сам Григоренко терпимо относился к русификации своего имени. Однако с середины 1970-х годов и позднее в эмиграции, вернувшись к своим корням, он настаивал на аутентичном произношении и написании своего имени. Во всех официальных документах, полученных после лишения советского гражданства, он именовался Петро (Petro Grigorenko¹). Следует также заметить, что разночтение распространяется и на отчество генерала. Строго говоря, отчество в украинском языке – это русизм, получивший широкое распространение. Тем не менее написание отчеств в украинском языке отличаются от русского написания и пусть читателя не удивляет, что в текстах украинских авторов генерал именуется как Петро Григорович.

К сожалению, я не могу включить в этот сборник воспоминаний более старых друзей покойного генерала. Случилось так, что старое поколение ушло в небытие не оставив воспоминаний, а когда они были

¹ Тем, кому интересно, почему английское написание фамилии не соответствует официальной современной аллитерации украинских имен, советуем прочитать комментарий в Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Grigorenko

живы, я не расспросил их. Были, разумеется, среди них такие, кто испугался и постарался забыть, что когда-либо знал «мятежного» генерала, но не о них речь. Я сожалею, что у меня нет воспоминаний верных фронтовых друзей покойного генерала: Саввы Печененко, Ивана Мануйлова, Ивана Леусенко, Павла Берсенева. Нет у меня и воспоминаний неармейских друзей: Зинаиды (Зельды) Штейнберг, Ивана Зуева, Моисея Черненко, Анны Зубковой, Алексея Костерина и особенно Василия Теслы, который, вероятно, не в малой степени, помог Петру Григоренко разорвать психологические оковы коммунизма. Единственно, что осталось мне – это выразить им искреннюю благодарность.

И еще одно замечание, которым я хотел бы завершить это краткое предисловие. Дело в том, что многие авторы сборника по старой советской традиции пользуются термином «Великая Отечественная война» (ВОВ), вошедшим в языковой обиход вскоре после ее окончания. Я, однако, считаю, что этот термин, искажающий истинное положение вещей, – порождение советской пропаганды, стремившейся замести следы участия СССР в качестве союзника Третьего рейха в первые два года Второй Мировой войны (ВМВ). Кроме того, он принижает, на мой взгляд, роль западных союзников, сражавшихся на других театрах мировой войны, а также моряков Великобритании и США, которые не щадя своей жизни доставляли важнейшие для страны грузы по ленд-лизу: продукты питания, обмундирование, обувь, боеприпасы, автомобили («виллисы»), транспортные грузовики («студебекеры»), самолеты («дугласы» позднее переименованные в «ЛИ-2»), танки («ЭМКи») и пр. Наконец, тех иностранцев, что воевали на советско-германском фронте, как, например, французские летчики из эскадрильи Нормандия – Неман, и многих других.

Вырывая из истории ВМВ военные действия на советско-германском фронте, советская власть и ее последователи вершат надругательство над памятью сотен тысяч погибших на фронтах советско-финской войны 1939–1940 годов², советско-японском фронте, аннексии балтийских стран, западной Украины, западной Беларуси, Тувы, Бессарабии и северной Буковины, не говоря уже о миллионах депортированных с аннексированных территорий.

Опять же по следам коммунистической пропаганды некоторые авторы называют нацистов (национал-социалистов) фашистами, что

² Известна статистика советско-финских потерь в 1939–1940 годах: финские потери – 28 925; советские потери – 126 875 человек (см.: Colonel-General G.F. Krivosheev. The Secret stamp has removed: casualties of the Soviet Armed Forces in wars and military conflicts. Moscow, 1993).

не соответствует исторической истине. Фашизм – это разновидность социалистической доктрины, господствовавшей в Италии в 1920–1940 годах. Фашизм был, если так можно выразиться, более мягкой формой тоталитаризма, чем нацизм (национал-социализм) и коммунизм (интернационал-социализм).

К сожалению, ограниченный объем сборника заставил меня пойти на сокращение некоторых воспоминаний, что ни в коем случае не может быть расценено как вид цензуры. В то же время отдельные принадлежащие авторам оценки и суждения не всегда совпадают с мнением составителей сборника. Следует также отметить, что в российское издание не включены некоторые материалы, помещенные в более полном сборнике, оригинально составленным мной. Предлагаемый российскому читателю вариант является компромиссным и публикуется под другим названием.

В заключение я хотел бы высказать глубокую признательность всем, кто согласился внести свою лепту в это мемориальное издание, в первую очередь авторам, предоставившим свои статьи для этого сборника, а также Джемме Квачевской-Бабич за редактирование и корректуру некоторых статей сборника, Римме Алтунян, Людмиле Терновской, Елене Копелевой, Майе Литвиновой, Светлане Ивановой, Марии Орловой, Раисе Руденко, Елене Бонер предоставившим для публикации материалы тех, кого с нами уж больше нет, словом всем тем кто в той или иной степени поддержал подготовку этого сборника. Особую признательность я выражаю Игорю Рейфу и Гульнаре Бекировой за редакцию ряда материалов сборника и дружеские советы по его компоновке.

В заключение я хочу выразить глубокую благодарность Фонду Династия, главе этого Фонда Дмитрию Зимину и Анне Пиотровской, без поддержки которых этот сборник вряд ли смог бы быть опубликован в России.

Андрей Григоренко

Более пяти лет дожидалась эта книга своего выхода к читателю, и на этом долгом и трудном пути в ее судьбе приняло участие немало людей. Не имея возможности назвать здесь всех, я хотел бы поблагодарить хотя бы некоторых. Это, в частности, Александр Даниэль, безотказно откликнувшийся на всякую мою просьбу просмотреть и обсудить с ним тот или иной материал или ситуацию с книгой, когда она заходила в тупик. Я благодарен также Сергею Лукашевскому за

его конструктивный совет, данный, как говорится, в нужное время в нужном месте и имевший важные для книги последствия. И, конечно, Борису Альтшулеру, без которого этот совет никогда не удалось бы реализовать. К сожалению, осталась за кулисами роль, которую сыграли в судьбе настоящего сборника Людмила Улицкая и Владимир Леви. И хотя по ряду причин она известна в основном только мне, но это несколько не умаляет ее значения.

Игорь Рейф

ГРАЖДАНСКИЙ ПРИМЕР ГЕНЕРАЛА ГРИГОРЕНКО

Если сегодняшних молодых людей попросить вспомнить кого-нибудь из диссидентов советского времени, назовут скорее всего Сахарова либо Солженицына. О генерале Григоренко помнят, увы, немногие. А, между тем, он доставил в свое время руководителям страны ничуть не меньше неприятностей и хлопот. Но если среди писателей и ученых недовольные находились всегда, то генерал-диссидент был один.

Вообще-то генералам не следует заниматься политикой. Не согласен с правительством – подавай в отставку. Однако история разногласий генерал-майора Петра Григорьевича Григоренко с советской властью началась вовсе не с конфронтации с ней. Напротив, его выступление в 1961 году в Москве на районной партконференции, куда он был избран как один из лучших преподавателей военной академии, свидетельствовало скорее о его солидарности с линией партии, как он понимал ее после доклада Хрущева о культе личности на XX съезде. Кадровый офицер, всей жизнью приученный исполнять приказы, Григоренко говорил лишь о том, что общество должно застраховать себя от повторения сталинских преступлений.

Но поскольку в выступлении был намек на набирающий силу культ личности самого Хрущева, это восприняли как вражескую вылазку, а на его автора стали всячески давить: вызывали в высокие кабинеты, сняли с должности начальника кафедры, перевели служить на Дальний Восток. Тем не менее, он не только не поддался этому давлению, но еще глубже начал вникать в социалистическую реальность, в которой ему открылось много такого, о чем раньше он просто не задумывался.

Сколько раз, наверное, звучала потом эта фраза: была бы советская власть поумнее, не превратила бы боевого генерала в своего врага, не создала бы из бывшего фронтовика последовательного борца с режимом.

Вот главный вопрос: зачем колоссальная идеологическая и репрессивная государственная машина обрушилась на Петра Григоренко и на ту сравнительно небольшую горстку людей, которых именовали на иностранный манер диссидентами?

Смысл хрущевского доклада на XX съезде сводился к тому, что вся вина за преступления 1930–1940-х – начала 1950-х годов лежала на Сталине и его ближайших подручных, а большинство членов ЦК и Политбюро ни о чем и не подозревали. При этом главной задачей было не допустить мысли о том, что массовые репрессии явились порождением самой системы. Ведь в таком случае сам собой вставал вопрос о возможности ее демонтажа. В конце концов партийные идеологи довольно быстро сообразили, что ничем не ограниченная критика преступлений Сталина косвенно ставит под удар и пришедший ему на смену политический режим как порождение той же системы.

Бывший сослуживец Григоренко по 18-й армии Леонид Брежнев сокрушался по этому поводу: «XX съезд перевернул весь идеологический фронт. Мы до сих пор не можем поставить его на ноги. Там говорилось не столько о Сталине, сколько была опорочена партия, вся система... И вот уже столько лет мы никак не можем это поправить».

Как и многие другие руководители страны, Брежнев сохранил в душе преклонение перед Сталиным и считал катастрофой не сталинские преступления, а их разоблачение. Ему хотелось сберечь в памяти народа достижения и победы, связанные с именем Сталина, и предать забвению массовые репрессии, концлагеря, поражения первых месяцев войны, голод и лишения довоенных и послевоенных лет. Главное же, пришло понимание того, что честный разговор о трагическом прошлом, свобода высказываний и свобода мнений смертельно опасны для вертикали власти, поскольку неминуемо ведут к развалу системы, держащейся на жесткой централизации, на подчинении и страхе. Вынь из такой конструкции хотя бы один элемент, и она рано или поздно рухнет.

Так родилась «охранительная» концепция, которой стараются придерживаться и по сей день, хотя и страна другая, и власть другая. Не надо заикливаться на негативных моментах, а говорить в первую очередь о том положительном, что было в прошлом и есть сейчас, внушая народу мысль, что власть в конечном счете всегда права, что она печется о благе народа, а потому заслуживает полного доверия. В то же время открыто высказываемые сомнения и критика недопустимы: они расшатывают лодку и вредят делу государственного строительства. Но именно высказываемые открыто. В узком же, домашнем кругу, люди могут говорить все, что им вздумается, для власти это не опасно.

Не здесь ли заключалось главное отличие Григоренко и его окружения от подавляющего большинства сограждан, которые в массе своей тоже сознавали ложь и лицемерие властей, но предпочитали молчать? Почему сознавали не только те, кто внизу, но и те, кто был на самом верху.

Сохранилось свидетельство, как однажды в небольшой кампании, где присутствовал Анастас Микоян, бывший тогда членом Президиума ЦК (в 1950-е годы – аналог Политбюро), речь зашла о том, почему так медленно идет процесс реабилитации жертв сталинских репрессий. И вдруг Микоян стремительно поднялся со своего места, так что все замерли, и произнес: «Вы спрашиваете, почему мы устраиваем видимость судебного разбирательства, вместо того, чтобы реабилитировать всех сразу? Да потому, что остерегаемся, как бы народ не уверился окончательно в том, что мы негодяи». И, помедлив немного, заключил: «То есть те, кем мы были на самом деле!»

А позволил ли бы он себе сказать такое прилюдно?

Впрочем, причин для молчания у людей было много, у каждого свои. Дмитрий Шостакович, например, когда его спросили, зачем он подписывает мерзкие коллективные письма, которые готовились в аппарате ЦК, откровенно признался: «Я их боюсь».

Да, чувство страха въелось в сознание советских людей почти, можно сказать, на генетическом уровне. Хотя после смерти Сталина никого уже не расстреливали, а сажали в основном тех, кто вел себя слишком уж вызывающе. Но были ведь и другие методы воздействия: увольнение с работы, задержка продвижения по службе, перенос на более поздний срок очереди на квартиру, запрет на поездку за границу – всего не перечислишь. Редко кто, как Шостакович, мог честно сознаться в том, что ему не хватает гражданского мужества. Большинство же предпочитало мириться с двойной моралью, играть «по правилам», зачастую не признаваясь в этом даже самому себе.

Так, шаг за шагом, система развращала людей. И лишь немногие отваживались на открытое противостояние режиму. Но и тут были возможны разные линии поведения.

Известно, что академик Петр Капица написал за 20 лет около 50 писем Сталину, Молотову и Хрущеву. В этих письмах содержалась весьма откровенная критика существующего режима, но бесстрашный Капица ничего не боялся. И кое-чего ему действительно удалось добиться – например, вырвать из бериевских застенков арестованного в 1937 году Льва Ландау.

По-другому играл на том же поле Александр Твардовский, возглавлявший в 1960-е годы единственный либеральный журнал того времени «Новый мир». Делая неизбежные уступки цензуре, вступая в сложные дипломатические отношения с чиновниками из идеологического аппарата ЦК, он сумел, тем не менее, превратить свой журнал в форпост свободной мысли и опубликовать ряд выдающихся литературных произведений, где советская действительность представляла перед читателем без глянца и лакировки, такой, какой была на самом

деле. Именно благодаря Твардовскому Россия и мир впервые узнали о Солженицыне, чье произведение «Один день Ивана Денисовича» было напечатано с санкции самого Хрущева.

Но быстро кончилась хрущевская оттепель, в августе 1968 года советские танки вошли в Прагу, похоронив надежды на демократические перемены в этой социалистической стране. А вскоре за тем была почти полностью заменена редколлегия «Нового мира», так что его главному редактору ничего не оставалось, как подать в отставку.

Всего год прожил после этого Александр Трифонович. Его время закончилось вместе с разгромом его журнала. Страна вступила в новую полосу своего развития, сопровождавшуюся попыткой брежневского руководства если не реанимировать, то реабилитировать сталинский режим. Но пойти на это открыто все же не решились, причем не последнюю роль сыграли здесь письма с протестами известных деятелей научной и творческой интеллигенции.

Именно в это время – с конца 1960-х годов – набирает силу движение за демократизацию общества, за права и свободы личности, традиционно занимавших в советской шкале ценностей даже не второе, а одно из последних мест. А его знаменем становятся такие высокочтимые в диссидентских кругах фигуры, как Солженицын, Сахаров, Григоренко.

Одновременно меняется и сама протестная линия поведения. Если Твардовский и Капица сотрудничали с властью, пытаясь воздействовать на нее как бы изнутри и придавая ей тем самым некую респектабельность, то диссиденты конца 1960-х – начала 1970-х годов пришли к выводу, что любой компромисс с тоталитарной властью губителен. Хотя и отдавали себе отчет во всей ограниченности своих возможностей.

Сахаров говорил так: сделать ничего нельзя, но и молчать нельзя. И поэтому своей основной задачей его сподвижники считали донести до как можно более широкой аудитории правду о преступлениях советского режима, сделать достоянием гласности каждый случай преследования за критику властей, за протест против гонений за веру, против притеснений по национальному признаку. «Соблюдайте свою конституцию», – было одним из диссидентских лозунгов. А их главным оружием стал широко известный в те годы самиздат, сотни машинописных копий которого расходились по рукам, проникая подчас даже в глубинку.

Всегда возникает вопрос: какую цену готов человек платить за протест. А ведь цена нередко была самая высокая. Даже Солженицына и Сахарова не спасла их мировая слава: одного выдворили из страны, другого отправили в ссылку в г. Горький (ныне Нижний Новгород), в то время закрытый город, где за каждым его шагом неусыпно, на

протяжении 6 лет велось круглосуточное наблюдение. С людьми же рангом пониже расправлялись и вовсе без церемоний. Так, Григоренко заточили на 5 лет в психушку, разжаловали в рядовые, назначили солдатскую пенсию в 22 рубля, а когда в 1977 году он выехал на лечение к сыну в Америку, лишили советского гражданства.

И чего же они в конце концов добились, Григоренко и его товарищи? Ведь, несмотря на все самоотверженные усилия, несмотря на понесенные ими жертвы, власть не пошатнулась и не ослабила своей железной хватки. Известный философ Григорий Померанц, хорошо знавший и высоко ценивший генерала, писал, что мы будем судить о поколении по тем, кто впечатал в историю свою личность, кто вырвался из массы, кто плыл против течения. И такие люди необходимы обществу как воздух, без них оно обречено на стагнацию и гниение.

Но не менее важно и то, как само общество относится к таким «неудобным» еретикам. Ведь далеко не всем нравится подобное соседство. Некоторые чувствуют себя на их фоне как-то неуютно, сознавая, что сами не способны пожертвовать личным благополучием ради идеалов социальной справедливости, ради бескорыстной помощи униженным и оскорбленным. И они объявляют их людьми не от мира сего, опасными чудаками, от которых следует держаться подальше. Это инстинкт душевного самосохранения. Тогда как на самом деле речь идет всего лишь о душевной чистоте и порядочности, которой, кстати, Григоренко отличался всегда – даже и тогда, когда не помышлял еще ни о каких протестных действиях, полностью отождествляя себя с существующим режимом.

В 1960 году в Кремле состоялся прием по случаю очередного выпуска академии им. М.В. Фрунзе, где Петр Григорьевич встретил знакомого по 18-й армии фронтовика, дослужившегося к тому моменту до звания генерал-лейтенанта. А надо сказать, что само понятие «ветеран 18-й армии» являлось в те годы чем-то вроде знака отличия, поскольку во время войны ее политотдел возглавлял Леонид Брежнев, в 1960 году, правда, еще не генсек, но уже Председатель Президиума Верховного Совета. Под этой маркой люди без стеснения заходили в начальственные кабинеты с просьбой о квартире, даче или хотя бы установке домашнего телефона.

– А ты у Лени бываешь? – поинтересовался у Григоренко генерал-лейтенант.

– Нет, – ответил он, – ведь я же его не так близко знаю, да и не люблю, честно говоря, досаждать высокому начальству.

– И напрасно, – возразил собеседник. – Леня любит, когда его посещают одноармейцы. И попасть просто, только позвони, назовись, и тебе назначат время. Я всегда захожу, когда бываю в Москве.

Вот такое разное представление о достоинстве и порядочности. И сегодня, когда эти качества в стране, увы, не в чести, можно предположить, что продолжай Григоренко службу там же, в академии, у него были бы такие же неприятности. И как же не хватает нам подобных ему людей, готовых идти против течения, говорить не то, что нравится начальству и власти, вступаться за преследуемых и несправедливо осужденных. Мы как нация бездумно растратили свой бесценный капитал или, вернее, позволили его растратить – истребить, растоптать, рассеять по свету, не подготовив ему достойной замены. Так стоит ли удивляться, что 26 % населения, согласно опросу ВЦИОМ, положительно оценивают сегодня роль Сталина в российской истории и тоскуют по существовавшим при нем порядкам. А на митинг памяти убитой за свои разоблачительные статьи журналистки приходит всего одна-две сотни человек.

Увы, уроки Григоренко сегодня все так же актуальны, как и в пригнобительные советские времена. Но учат они только тому, что свой выбор каждый человек делает сам. Жить как все, покорно мириться с торжеством лжи и несправедливости или наперекор всему отстаивать свои собственные, не совпадающие с принятыми и утвержденными сверху, принципы и убеждения? Выбор, от которого зависит судьба. Но никто не вправе требовать от человека решения, которое может осложнить его дальнейшую жизнь. Есть только пример. И настоящая книга как раз и позволяет, прикоснувшись к яркой и обаятельной личности генерала Григоренко, задуматься над его жизненным примером. А уж следовать ему или нет, это, повторяю, личное дело каждого.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Од молдаванина до фіна
На всіх языках все мовчить,
Бо благоденствує!...

Тарас Шевченко

Как вожденно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке.
Возьмемся за руки друзья,
Возьмемся за руки друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.

Булат Окуджава

МЯТЕЖНЫЙ ГЕНЕРАЛ³

«Это был вечер памяти их всех...»

В декабре 1993 года в Москве на ул. Герцена (ныне Б. Никитская), в здании Союза писателей состоялся первый в постсоветской России вечер памяти генерала П. Григоренко. Вечер был организован Алексеем Смирновым, бывшим лагерником, а в ту пору директором только что созданного Московского исследовательского центра по правам человека. Деньги на аренду зала дал тоже бывший политзаключенный, выдворенный из страны в 1970-е годы, Владимир Буковский. Ни представителей прессы, ни телевидения на том вечере не было. И, может быть, он так и остался бы только в памяти непосредственных участников, не оказавшись тогда в зале журналиста-известнца Эдвина Поляновского, пришедшего сюда не от своей газеты, а как частное лицо. Именно благодаря ему это, в общем-то, скромное мероприятие превратилось в событие общественной жизни, а о выдающемся советском правозащитнике впервые узнала, наконец, вся страна. Три дня, из вечера в вечер, печатали «Известия» трехполосный очерк «Мятежный генерал», и были эти номера тогда нарасхват. Построенный как репортаж об одной мемориальной акции, он вышел фактически далеко за ее рамки, превратившись в своего рода реквием всему героическому поколению диссидентов-шестидесятников. Исполненный горьких размышлений об их драматическом прошлом и не менее драматичном настоящем, об их невостребованности и отверженности в ельцинской России, он не утратил, к сожалению, своей актуальности и по прошествии двух десятилетий. Скажем больше: до преступной войны в Чечне, до череды политических убийств и массированного наступления на свободу слова автор провидит в нем наш сиротский сегодняшний день, помогает многое понять и заново переосмыслить. Думается, поэтому, что почти 20-летней давности очерк недавно ушедшего от нас журналиста должен по праву открывать нынешний сборник, посвященный памяти П.Г. Григоренко. Ведь в свое время именно с него началось возвращение на постсоветское пространство опального и лишённого гражданства генерала. Возвращение, увы, посмертное, а в последние годы к тому же и существенно приторможенное. Впрочем, что ж, сам Петр Григорьевич может, пожалуй, и подождать: ведь времена меняются, и нет сомнений, что его время рано или поздно придет. Но ждать не можем мы, живущие его соотечественники.

Игорь Рейф

³ Впервые очерк напечатан: Известия. 1994. № 59–61.

1. Это была война

На исходе минувшего года состоялся вечер памяти генерала Петра Григорьевича Григоренко.

Сейчас столько генералов по разную сторону баррикад. Кто это – Григоренко? Меня спрашивают, а я отвечаю: боевой генерал, который привел к власти нынешнего президента России. Без оружия и стрельбы, со свечой в руке. Кому не нравится нынешний президент, могу сказать, что конкретный выбор от генерала не зависел, президент пришел к власти уже после смерти Григоренко в 1987 году.

Вечер несколько раз откладывали, ждали Зинаиду Михайловну – жену. Она теперь живет в Нью-Йорке, одна, в преклонном возрасте.

Она звонила, очень хотела прилететь, но – занемогла, сломала руку. В итоге помянули без нее. На Герцена, в Доме писателей.

Мятежное поколение – те, кто не был убит советской властью, кто не умер, не уехал за границу, собрались на этом вечере.

Фамилии многих людей в зале я знаю по западным, «вражеским» радиоголосам 1960-х, 1970-х, 1980-х годов. Наверное, оттого, что передачи нещадно глушились, трудно было что-то уловить, а каждый день мы воочию видели других, накрахмаленных дикторов и популярных героев, те события казались почти нереальными, происходящими где-то за тридевять земель. Но вот эти люди рядом.

Мальва Ланда – две судимости, два срока. Второй раз не могли подобрать статью закона, дом ее сожгли. И судили за... самоподжог. Валерий Абрамкин – две судимости, два срока. В тюремной камере ему «привили» туберкулез. Генрих Алтунян. Его взяли в Харькове. Две судимости. Два срока. Татьяна Великанова отбывала срок, затем ссылку. Владимир Гершуни – легенда правозащитного движения. Раньше всех сел, позже всех вышел – в конце восьмидесятых. Делил нары и с Солженицыным в лагере, и с Григоренко в психушке – случай редкий.

На Голгофу шли семьями. Лариса Богораз – она тоже здесь, в зале – свои сроки отбыла. (В августе 1968 года после оккупации Праги советскими войсками она вышла с друзьями протестовать на Красную площадь.) Первый ее муж – поэт Юлий Даниэль – был осужден вместе с Синявским. Советская власть травила и затравила его. Остался сын. Второй муж – Анатолий Марченко объявил голодовку в тюрьме и в декабре 1986-го погиб. Остался сын.

Мятежное поколение. Сколько собралось их в зале – человек, может быть, сто пятьдесят. Зато все – свои. Если перемножить на годы, которые они отсидели в тюрьмах и лагерях, этот зал потянет на тысячелетие.

Я хочу воспроизвести этот вечер. Лишь разобью выступления по вехам.

ПОГАС свет – с этого началось. В темноте, в глубине сцены, выхваченный диапроектором – портрет Григоренко в генеральской форме, при наградах. Звучит голос покойного барда Александра Галича, слова посвящения и песни пробиваются с шорохом и потрескиванием, словно из-под земли.

«Горестная ода счастливому человеку».

Посвящается Петру Григорьевичу Григоренко.

Когда хлестали молнии
в ковчег.
Воскликнул Ной,
предупреждая страхи:
«Не бойтесь,
я счастливый человек,
Я человек,
родившийся в рубахе!»
Родившийся в рубахе
человек!
Мудрейшие,
почтеннейшие лица

С тех самых пор
уже который век
Напрасно ищут
этого счастливца.
А я гляжу в окно
на грязный снег,
На очередь
к табачному киоску
И вижу,
как счастливый человек
Стоит и разминает
папироску...

Конечно – счастливый: прошел Халхин-Гол, Отечественную, и ранен был, и контужен, и в окружении бывал, а жив.

Погибнуть не только мог, но и должен был – в самом конце войны. Поздно ночью он вернулся на КП и крепко заснул. Рассвет только занимался, когда его словно кто-то толкнул в бок. Такого за всю войну не было, его всегда будили. Он отправился в глубину двора, в туалет. И в этот момент услышал грохот. Когда вернулся, увидел дыру в стене, угол, в котором стояла его кровать, разворочен взрывом.

Ни до, ни после не было ни выстрелов, ни взрывов, это был единственный.

– Это Бог вас спас – сказал стоявший рядом офицер.

«И я тоже поверил в руку Провидения», – пишет Григоренко в воспоминаниях⁴.

Уже после войны, 12 мая 1945 года, в Чехословакии, он, соскочив с «виллиса», взбежал на откос и столкнулся с немецкой самоходкой. Та с тридцати метров в упор выстрелила в него, но за долю секунды перед этим младший лейтенант-артиллерист успел сбросить полковника Григоренко в обрыв.

Действительно, в рубахе родился.

⁴ Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крыс... Нью-Йорк: Детинец, 1981.

Шорох, потрескивание, подземельные гитарные аккорды:

И сух был хлеб его,
и прост ночлег!
Но все народы перед ним –
во прахе.
Вот он стоит –
счастливый человек,
Родившийся
в смирительной рубахе!

Я разглядываю генеральский портрет в глубине сцены. И вы, читатель, взгляните на него. Так не вяжутся строгая форма и ироничная улыбка. В эту пору генерал уже был разжалован в солдаты, уже отсидел несколько лет в психушках, он ждал ареста и поэтому генеральскую форму прятал у друзей, награды – у других друзей. Однажды они заставили его надеть все это, чтобы сфотографировать. Он упорствовал, но они убедили: «Для истории».

Этот снимок, где Петр Григорьевич Григоренко – при полном параде, оказался единственным.

ВЕДУЩИЙ Борис Альтшулер, один из правозащитников, предложил регламент выступления – 10 минут.

Полковник Михаил Михайлович Лопухин, сотрудник кафедры академии имени Фрунзе:

– Петр Григорьевич Григоренко руководил недавно созданной кафедрой управления войсками. Он занимался вопросами кибернетики, автоматизации управления войсками. И сейчас – прошло более 30 лет, а кафедра работает в этом направлении. При всей своей решительности он ни разу ни на кого не повысил голос. Он умел сплотить людей, у него был, теперь это редкость, индивидуальный подход буквально к каждому человеку. При нем в офицерском клубе академии устраивались семейные вечера, Петр Григорьевич был очень компанейским человеком.

Он боролся за кибернетику в период ее поношения.



Из письма генерала Григоренко профессору Лунцу, психиатру, сыгравшему вместе с коллегами роковую роль в судьбе Петра Григорьевича:

«Министр обороны Маршал Советского Союза Малиновский Р.Я. оценивает мою борьбу за внедрение кибернетических методов как научный, гражданский и партийный подвиг. Работе кафедры создаются до невероятия благоприятные условия. По сути, Министр дает мне право на свободный доступ к нему в любое время. Мне дают возможность подобрать блестящий научный коллектив. Для научной работы отпускаются практически неограниченные средства. У нас учатся работники Генерального штаба (проходят сборы), работники штабов округов и армий⁵».

О чем еще можно мечтать ученому! Тем более что и материальное положение его высокое, и принадлежит он к военной элите – генерал. Единственная забота – научная работа и обучение.

Густой голос, армейская решительность, воля и... домашние, «внеустановные» отношения с подчиненными. Убежденность коммуниста-ленинца и... полное отсутствие жизненных реалий, житейская наивность.

Сергей Адамович Ковалев:

– *Григоренко хотел взять к себе на кафедру офицера, кажется, это был какой-то математик. И вот его приглашают в отдел кадров и говорят: «Понимаете, Петр Григорьевич, все хорошо, но вот пятый пункт подводит». Генерал Григоренко говорит: «Какой пятый пункт?» – «Да вот, ну... он еврей же». И тогда генерал, начальник кафедры, человек немолодой, учиняет буквально скандал. Он говорит о Конституции, он называет всякие законы. Потом этого начальника отдела кадров вызвал то ли начальник академии, то ли его заместитель: «Ну что ты, с ума сошел? Ты с кем вообще говоришь о всяких пятых пунктах? Ведь это же Григоренко! Ты что, не знаешь, что он такой вот, он всем законам верит, он же к ним серьезно относится».*

Удивительно, что этот человек сделал такую военную карьеру, и совсем неудивительно, что он кончил так, как кончил.

1961 год. Разгул диктатуры Хрущева. Роковое выступление на конференции Ленинского района Москвы. Из воспоминаний Григоренко:

Я поднялся и пошел. Я себя не чувствовал. Такое, вероятно, происходит с идущим на казнь. Во всяком случае, это было

⁵ Письмо хранится в стационарной истории болезни 4337/69 Института судебной психиатрии им. Сербского. – *Примеч. авт.*

страшно. Но это был и мой звездный час. До самой трибуны дошел я сосредоточенный лишь на том, чтобы дойти. Заговорил, никого и ничего не видя: «Усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость. Необходимо прямо записать в программу – о борьбе с карьеризмом, беспринципностью в партии, взяточничеством. Если коммунист на любом руководящем посту культивирует бюрократизм, волокиту, угодничество, он должен отстраняться от должности, направляться на работу, связанную с физическим трудом...

Генерал Григоренко открыто заявил о том, о чем знала вся страна, но никто не решался вымолвить вслух – говоря о Сталине, сказал о Хрущеве: «Все ли сейчас делается, чтобы культ личности не повторился?» Маршал Бирюзов из президиума пытался лишить его слова.

«Весь зал затих. В шоковом состоянии был и президиум. Я увидел, как секретарь ЦК Пономарев наклонился к Гришанову и что-то зашептал. Тот подобострастно закивал и бегом помчался к трибуне».

В партийной среде существовал такой термин – «наемный убийца», так называли партийцы своих же коллег, приводивших в исполнение приговор начальства. Гришанов – секретарь райкома партии, выскочив к трибуне, предложил «осудить» генерала, «лишить депутатского мандата».

Григоренко никак не мог и не хотел понять, почему его открытое, честное выступление перечеркнуло всю предыдущую, почти 40-летнюю коммунистическую деятельность, 30-летнюю безупречную службу в армии, научную работу последних лет. И кровь, пролитая при защите Родины, отныне уже ничего не значила. По существу, это была речь коммуниста-ленинца, он осуществил свое право на мнение согласно Уставу партии и наказанию не подлежал. Если бы его просто «проработали» в партийном порядке, тем бы, наверное, все и кончилось, слишком дорога была ему научная работа. Но могучее государство решило раздавить, смять его, как это делало в миллионах случаев.

И тут оказалось вдруг, что генерал сильнее всемогущей государственной машины.

В феврале 1964 года его арестовали⁶. Первый допрос вел сам председатель КГБ Семичастный вместе с ближайшим верховным окру-

⁶ Этому аресту предшествовали увольнение из Академии им. Фрунзе и перевод на службу в Дальневосточный военный округ. Непосредственной причиной ареста послужила деятельность организованного П. Григоренко подпольного «Союза борьбы за возрождение ленинизма» и распространявшиеся им листовки с критикой режима.

жением. Петру Григорьевичу предложили покаяться – его тут же отпустили бы. Он отвечал решительно и жестко.

Предать суду боевого генерала они не решились.

Власть применила способ хлестче тюремной пытки, который в это время еще только начинал входить в широкую практику⁷. Пленки тюремных разговоров Григоренко со следователем прослушивали члены Политбюро. Суслов сказал: «Так он же сумасшедший...»

Врач-психиатр Института судебной психиатрии им. Сербского Маргарита Феликсовна Тальце («искусственная блондинка с вытянутым сухим лицом, злыми глазами, тонкими губами») приступила к работе с Григоренко: «Петр Григорьевич, все же непонятно. Вы – генерал, начальник кафедры в такой прославленной академии, получали более 800 рублей⁸, кандидат наук с готовой докторской диссертацией. Перед вами широкий путь для продвижения – чего же вам не хватало?» Он ответил: «Дышать мне нечем было». Тальце записала в акте экспертизы: «*Дает неадекватные ответы*».

Когда Григоренко впервые попал в Институт судебной психиатрии им. Сербского и познакомился там с Юрием Гриммом, тот, несмотря на молодость, был уже опытным бойцом.

– Петру Григорьевичу тогда было 58 лет, как мне сейчас, – вспоминает Юрий Гримм, – Мы еще в 1962 году после массового расстрела в Новочеркасске заготовили около тысячи листовок, в сарае печатали, фотоспособом. «Если ты гражданин, если тебе дорога судьба страны, ты должен требовать немедленного снятия Хрущева со всех его постов. И подпись – «Голос народа»... Когда мне дали срок, со мной сидели лесные братья из Прибалтики, оуновцы и бандеровцы из Западной Украины. Они сели пацанами, сразу после войны, за вооруженное сопротивление, убийства, им намотали по 25 лет, до меня они уже отсидели лет по 20 с лишним. Они удивлялись: «За листовки – срок? Из-за мелочи – садиться? Да коммунисты только пулю принимают».

...Шла война. Рядом с нами, среди нас. Выполнялись и перевыполнялись пятилетние планы, кипело социалистическое соревнование, принимали в пионеры, в комсомол, в партию, герои получали награды, эстрадные концерты в стихах и в прозе бичевали бездушных волокитчиков, веселя публику. А посреди всего этого шла война.

⁷ Помещение политических заключенных в специальные тюрьмы, так называемые спецпсихбольницы (СПБ), начало практиковаться еще при Сталине, но широкое распространение получило после хрущевской оттепели. – *Примеч. А. Г.*

⁸ Если точно – 870 рублей при прочих привилегиях; «на гражданке» в ту пору приличная зарплата составляла 150 рублей. – *Примеч. А. Г.*

ДАЖЕ у самой маленькой страны, воюющей с могучим государством, есть своя армия, пусть плохонькая, свой народ, пусть немногочисленный, готовый уйти в партизаны. А значит, есть возможность если не выиграть, то затянуть войну, вызвать сочувствие мира.

Внутренняя же война горстки людей против огромного государственного и партийного аппарата с вековыми традициями и приемами надзора, с самой могучей в мире машиной размалывания человеческих жизней... При неведении и безучастности народа. Шансов, кажется, никаких,

И все же они воевали более четверти века.

Рубежи оставались за властью, их взять было невозможно, но правозащитники побеждали в окопных боях.

Ведущий вечера памяти Борис Альтшулер читает:

«Петр Григорьевич Григоренко был арестован в 1964 году первый раз. И объявлен неменяемым с разжалованием из генералов в рядовые. Он был освобожден вскорости из СПб (специпсихбольницы. – Примеч. авт.) благодаря отчаянной борьбе за него Зинаиды Михайловны Григоренко. Она сумела воспользоваться дворцовым переворотом – падением Хрущева и договорилась с ближайшими друзьями, и те начали по несколько раз звонить ей:

– Зина, ну как дела? Теперь должно быть все хорошо. Мы же знаем, что Петро – друг Брежнева. Ты обращалась к нему?

– Нет! Подожду. Я надеюсь, что сам вспомнит.

Конечно же, телефон Григоренко стоял на прослушивании КГБ, к тому же Петр Григорьевич действительно служил с Брежневым, что легко было проверить. А вот были ли они друзьями? Это проверить было почти невозможно, но КГБ решил не рисковать и угодить новому начальству».

Прекрасная ловушка. Окоп отвоеван.

В войну Григоренко 9 месяцев служил «под партийным руководством Брежнева». Встречались, конечно, неоднократно.

После войны – ни разу.

Из воспоминаний Григоренко:

Вечером «водители» встречались на Ленинских горах. Случай подвернулся недобрым словом вспомнить Никиту Сергеевича. И Косыгин добавил: «Да тут вот еще с одним генералом начудил. Признали неменяемым, послали в психушку и в то же время лишили звания. Я приказал подготовить проект постановления. Хочу привести в соответствие с законом.

– Э, нет. Постой, – прервал его Брежнев. – Какой это генерал? Григоренко? Этого генерала я знаю. Так что не спеши. На-

правь все его дела мне. Когда ему передавали дело, он спросил:

«А где он сейчас?»

– Дома, – ответили ему.

– Рано его выпустили.

Первый арест, тюрьма и первая экспертиза, признавшая его «невменяемым» дали ему бесценный опыт.

За полгода до ареста, летом 1963 года, вместе со старшими сыновьями он организовал подпольный «Союз борьбы за возрождение ленинизма»⁹. Генерал изготовил несколько листовок и сам раздавал их у проходной завода «Серп и молот», на Павелецком вокзале. Глупый риск? Наверное. Но он хотел лично убедиться, нуждаются ли люди в правде. Рабочие брали листовки с опаской и жадностью. Наверное, он был похож на великих медиков-гуманистов, которые испытывали новые препараты на себе.

В тюремной камере он понял ошибку. Подпольные листовки стали известны самое большее нескольким десяткам человек и были уничтожены.

Уходить в подполье – непростительная ошибка. Идти в подполье – это давать возможность властям изображать тебя уголовником, чуть ли не бандитом и душить втайне от народа. Я буду выступать против нарушений законов только гласно и возможно громче. Тот, кто сейчас хочет бороться с произволом, должен уничтожить в себе страх к произволу. Должен взять свой крест и идти на Голгофу. Пусть люди видят, и тогда в них проснется желание принять участие в этом шествии».

Это – манифест. А вот – он же, переведенный на скромный язык житейской мудрости, прекрасный в своей простоте: «Надо просто работать и просто любить людей, то есть бороться против того, чего ты самому себе не желаешь».

Говоря языком войны – новая тактика и стратегия.

Генерал протестует против любого произвола властей. Пишет ходатайства, требования, протесты. Отстаивает права крымских татар, немцев из Поволжья. Вместе с группой коммунистов он направляет

⁹ В интересах истины заметим, что П. Григоренко объединил и возглавил несколько отдельно существовавших до того групп, готовых к какой-то деятельности, но не представлявших, к какой именно. Первым его помощником стал средний сын Георгий, вместе с младшим Андреем размножавший написанные генералом листовки. Их и распространяли позднее члены СБЗВЛ. Старший сын Анатолий не был вовлечен в организацию и узнал о ее существовании только после ареста, последовавшего за арестом отца. В настоящее время автор этих строк работает над книгой об истории СБЗВЛ, в которой будет более подробно освещен опыт «марксистского» подполья в коммунистической (марксистской) стране. – *Примеч. А. Г.*

ет письмо Будапештскому совещанию коммунистических и рабочих партий, призывая зарубежных коммунистов поддержать в СССР тех, кто сопротивляется возрождению сталинизма.

В дом к нему на Комсомольском проспекте – живая очередь: друзья и незнакомые, родственники арестованных и ссыльных, крымские татары, немцы из Поволжья и Казахстана, литовские католики, отказники-израильтяне, баптисты.

Был день в году, когда КГБ и МВД объявляли боеготовность номер один. Филеры всех мастей не смыкали глаз, большое количество домов в Москве, в которых жили правозащитники, окружали милиционеры с рациями, в подъездах и во дворах дежурили бесчисленные черные «Волги» с антеннами.

Это было 5 декабря – в день сталинской Конституции правозащитники отмечали нарушение конституционных прав и свобод граждан. Вечером они собирались на Пушкинской площади, снимали шапки и молча стояли. Начало было положено в середине шестидесятых годов. Вначале собиралось человек десять, потом – двадцать, тридцать, восемьдесят¹⁰.

В этот день наряды милиции выставлялись загодя прямо у дверей квартир. Но почти всегда верх одерживали правозащитники. Вначале они выходили с мусорными ведрами, в домашних тапочках, и милиция пропускала их. Ехали, переодевались у знакомых, друзей. Когда милиция раскусила, стали заночевывать накануне в чужих квартирах, съезжались на Пушкинскую из самых неожиданных мест. Перекрывали ближайшие станции метро – они выходили на остановку раньше и шли пешком. Их знали в лицо, нагло останавливали, но они шли с женами и детьми, которые крепко держали их за руки.

Они побеждали там, где победить было невозможно.

19 ноября в 7 часов утра (1968 год. – Авт.) звонок в дверь. Подхожу: «Кто!». Отвечают: «Из Ташкента». Рывок, и, отбрасывая меня с пути, 11 человек проносятся по коридору в комнату.

Обыск!

На сцену поднимается Леонид Петрович Петровский:

– *Петр Григорьевич пригласил меня в этот, день к нему домой в 8 часов утра. И вот я иду и вижу, значит, уже стоят человека два-три около дома. Поднимаюсь по лестнице, на каждом повороте – фи-*

¹⁰ Цифры, по-видимому, занижены, хотя никакой статистики о количестве участников демонстраций в те годы, естественно, не велось. – *Примеч. А. Г.*

лер. Нажимаю кнопку, открывается дверь: «Ваши пропуск». Послушайте, как об этом пишет в воспоминаниях Петр Григорьевич, у которого уже произошла стычка из-за понятых: «Звонок в дверь. Кэзэбист открывает и впускает Леню Петровского. Леня работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, и он предъявляет свой пропуск. Название учреждения в нем записано так, что в глаза бросается ЦК КПСС, а прочее мало заметно! И кэзэбист кричит из коридора: «Вот здесь товарищ из ЦК партии, может, он согласится остаться понятным!» (Впервые за весь вечер в зале – смех. На Л. Петровского – «из ЦК партии» – на самого уже было заведено оперативно-агентурное дело. – Авт.). Леня соглашается. Спрашивает моего согласия. Я «неохотно» соглашаюсь». Тут Петр Григорьевич запомнил немножко, я работал в Центральном музее Ленина, а штамп действительно стоял крупно: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС! Обыском руководил следователь Березовский. Он и некий там Врагов был – старший среди кэзэбистов. Обыск идет, стараются забрать даже работы по кибернетике, научную картотеку. И Петр Григорьевич вдруг заявляет: «Я больше в обыске участвовать не буду». – «Как так не будете?»

– «Я пойду спать». Березовский, значит, Врагов, все вокруг него разводят руками: «Петр Григорьевич! Как же так? У вас же обыск!» – «А вот так!». Книжки складывали в мешок. Бросали на пол.

Я беру протокол и на обороте пишу протест: «Считаю, что все документы, материалы, изъятые у патриота и коммуниста, являются партийными, советскими и направлены против возрождения сталинизма... Протестую против их изъятия».

Вслед за мной подошел Андрей – младший сын Петра Григорьевича, написал свой протест. Затем подошла Зинаида Михайловна, она восприняла все это довольно радостно, на подъеме и тоже написала. Затем и Петр Григорьевич поднялся, воспрянул, и тоже написал протест. В квартиру набилось уже много гостей. Наших. Всех впускали и никого не выпускали. Обстановка была приподнятая.

В этот день в Верховном суде рассматривалась кассационная жалоба осужденных за демонстрацию на Красной площади против ввода войск в Чехословакию. Ждали Григоренко. Он не пришел. Стали звонить домой – никто не отвечает. Петр Якир и Владимир Лапин подъехали к дому. Лапин отправился в квартиру. Договорились: если через пять минут не вернется, значит – обыск, надо сообщить иностранным корреспондентам.

Часа через два в квартиру потоком пошли наши друзья. Старший над кэзэбистами Врагов Алексей Дмитриевич ехидно сказал: «А ну, выворачивайте ваши карманы, выкладывайте

свой «самиздат». На что Виктор Красин ему с издевочкой ответил: «Кто же несет с собой «самиздат» в квартиру, где идет обыск».

– А откуда вы знаете, что здесь обыск!

– Что мы! Весь мир это знает. Уже и Би-би-си, и «Голос Америки», и «Немецкая волна» сообщили об этом».

Для кэбгбистов это было чудом. Они так и не поняли, как, каким образом Англия, Америка и Германия узнали, что происходит на Комсомольском проспекте в квартире, из которой никто не выходил. А наши, глядя на растерянные лица кэбгбистов, хохотали.

Правозащитники замечательно воспользовались вражеским правилом: на обыске всех впускать и никого не выпускать. В эту ночь в квартире Григоренко прятался татарин Мустафа Джемилев, скрывавшийся от ареста. Многочисленные гости перегородили подходы к кухне, Мустафа с 3-го этажа по веревке спустился во двор...

К сожалению, приземлился неудачно. Из-за сильной боли присел на левую ногу. Поза получилась, как для стрельбы с колена. Кэбгбист, наблюдавший за нашей квартирой со двора, бросился удирать.

...Так победно врываются в чужую квартиру и так уносят ноги.

ЕДВА ли не самой значительной победой в этой войне было то, что они сумели наладить выпуск собственного информационного издания.

За городом на даче, которую снимал писатель Алексей Костерин, собрались семеро. Кроме хозяина, преподаватель физики Павел Литвинов, филолог Лариса Богораз, экономист Виктор Красин, поэт, переводчик Наталья Горбаневская, сын легендарного командарма Петр Якир и, конечно, Петр Григорьевич Григоренко. Речь шла о создании информационного бюллетеня правозащитного движения.

30 апреля 1968 года вышли первые полтора десятка страниц машинописного плотного текста. На титульном листе стояло – «Хроника текущих событий». Тираж – всего несколько экземпляров, он разошелся по рукам – листы перепечатывали, переписывали от руки. Тем же путем обратно шла новая информация для новой «Хроники». По мере поступления информации, усиливающихся репрессий объем «Хроники» возрастал и увеличился до полутора сотен страниц.

В течение двух лет «Хронику» вела Наталья Горбаневская. Как она, занятая с утра до вечера, умудрялась в одиночку кормить-поить двух малолетних детей – загадка для многих. Ее арестовали, упрятали в Казанскую спецсиротницу. Арестовали и судили других

участников, распространителей, информаторов «Хроники» – Илью Габая, Габриэля Суперфина, Сергея Ковалева, Татьяну Великанову, Александра Лавута, Юрия Шихановича, а некоторых, как Людмилу Алексееву, принудили к эмиграции. Иностранцы корреспонденты много раз хоронили «Хронику». Однако всемогущий КГБ так и не смог задавить ее. Взамен арестованных приходили новые люди. Подпольная газета продержалась более 15 лет!

Сегодняшняя свободная пресса – расчетливо-свободная, угодливо-свободная, разбойничье-вольная. Когда за участие в «Хронике» Сергей Ковалев был арестован и сидел в вильнюсской тюрьме, следствие перерыло все, чтобы изобличить «Хронику» в подлоге, вранье, измышлениях. При участии Ковалева вышло семь выпусков «Хроники», в которых было около 700 самых разных сообщений. Союзный КГБ, литовский КГБ, перепроверили все под микроскопом. В свободной, независимой «Хронике» не оказалось ни одного ложного сообщения.

Был волнующий момент на вечере. Снова погас свет, в глубине сцены через диапроектор возникли кадры семьи, друзей Григоренко. Вот – Зинаида Михайловна. Не сумев приехать, она передала собравшимся теплые слова. Голос ее был записан, видимо, по телефону – расстояние от Нью-Йорка, помехи... Голос едва различим: «Дорогие мои... Вы особенные друзья. Вы мне не дали плакать, вы мне не дали упасть на колени... Это была война, и мы все-таки выиграли эту войну».

2. Смерть в рассрочку

СПЕЦИАЛЬНО не называю этих людей иностранным словом – диссиденты. Переведем, получим – несогласный, инакомыслящий. Как заметил журналист Илья Мильштейн, один из первых взявшийся за тему правозащитного движения: «У себя на кухнях диссидентами были почти все. Рабочие крыли начальство. Начальство сетовало на “бардак”. Мода на антисоветские анекдоты состязалась с модой на самиздат».

Диссидентами были у нас все без исключения генеральные секретари, они становились инакомыслящими сразу после захвата власти: Сталин, выступивший против ленинского окружения; Хрущев, восставший против Сталина; Брежнев, свергнувший Хрущева; Андропов, да и Андропов – главный душитель правозащитного движения на посту председателя КГБ, оказавшись генеральным секретарем, в одночасье увидел многие пороки системы; Горбачев оказался диссидентом по отношению к самому себе, поскольку провозглашал одно, а делал другое, бросал и коммунистов, и демократов, пока все не бросили его.

Сегодня в стране диссиденты – все: по отношению к законодательной власти, исполнительной власти, президентской власти. Все – правозащитники, все качают права. Все смелые, крикливые. Правоохранительные органы вызывают лишь ироническую улыбку. Два дела о государственных переворотах провисли и рухнули. Самого крикливого и глумливого не могут унять, где он, отчаянный, был тогда, четверть века назад? Ему было 20 лет – возраст отваги.

В ту пору на всю двухсотмиллионную страну нашлось всего несколько десятков смельчаков! Только семеро вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию¹¹!

Генрих Алтунян:

– Когда Брежнев ввел войска в Чехословакию, он весь народ взял в подельники. Во всех учреждениях проводились собрания: кто за то, что правильно ввели? Лес рук. Кто против? Никого. Вот и хорошо, весь народ «за». Однажды на кухню Петра Григорьевича пришел какой-то возбужденный человек: «Петр Григорьевич, на весь Ленинский район Москвы нашлось только три человека, которые на всех этих митингах и собраниях выступили против!» Тут встал этот громадный человек, вы помните Григоренко, и говорит: «Как всего три! Целых три человека! О которых мы не знаем! Вы представляете, на заводе Лихачева идет собрание. Кто за? Тысячи рук. Кто против? ...И человек поднимает руку. Это же герои! Как вы можете говорить всего три? Целых три человека!» Я этот эпизод запомнил на всю жизнь.

ПЕРЕД вами совсем другой портрет генерала Григоренко, он сделан в разгар травли. Вглядитесь в упрямые губы и подбородок, в затравленные глаза.

Тот, парадный, портрет в генеральской форме и с орденами, выхваченный в темноте диапроектором, возник и погас в глубине сцены, а этот стоял впереди, у занавеса весь вечер. «Посмотрите, на кого он здесь похож?», – шепнул мой сосед Игорь Рейф. (Все последние годы Игорь – врач – лечил и Петра Григорьевича, и Зинаиду Михайловну.)

И вы, читатель, взгляните, на кого? Я не вспомнил.

МОГУЧАЯ, до зубов оснащенная держава с самым мощным в мире аппаратом подавления боялась безоружного разжалованного

¹¹ Это не точно. В демонстрации приняли участие: Константин Бабицкий, лингвист, Лариса Богораз, филолог, Вадим Делоне, поэт, Владимир Дремлюга, рабочий, Павел Литвинов, физик, Виктор Файнберг, искусствовед, Наталья Горбаневская, поэт, и Татьяна Баева, служащая; кроме того, двое правозащитников – Татьяна Великанова, математик, и Решат Джемилев, инженер, по договоренности выполняли роль наблюдателей. – *Примеч. А. Г.*

генерала. Два генеральных секретаря ЦК партии, три десятилетия безраздельно правивших страной, лично занимались истреблением генерала.

Генри Резник:

– *Петр Григорьевич испытывал особую ненависть властей, ведь он же был вроде как из своих, он был единственный генерал в этом движении.*

Генрих Алтунян:

– *Я тогда преподавал в военной академии в Харькове. Естественно, поехал на Комсомольский проспект на всем нам известную квартиру, познакомился с этими замечательнейшими людьми. Первое, что они мне с Зинаидой Михайловной сказали: «Имейте в виду, за нашей квартирой следят, может, Вы не будете к нам заходить?» Ну как, почему не буду, буду, конечно. Это была прекрасная встреча. А через месяц я был уволен из армии: «Инженер-майор Алтунян, будучи в очередном отпуске в Москве, посетил квартиру командарма Якира и привез оттуда ревизионистское письмо академика Сахарова. Тем самым опозорил высокое звание офицера Советской армии». Это дословный приказ командующего ракетными войсками маршала Крылова... Вы знаете, мне потом в тюрьме довелось читать показания Петра Григорьевича обо мне. Его тоже в тюрьме допрашивали следователи по поручению моих следователей. Когда я читал этот протокол, эти показания Петра Григорьевича обо мне... это было читать невозможно... понимаете... это были немногие, самые счастливые минуты следствия. Я читал как послание друга...*

Петр Старчик:

– *В книге Сахарова есть такая фотография. Все стоят на кухне у Петра Григорьевича и смотрят куда-то вниз. Сахаров смотрит вниз, другие, и Петр Григорьевич – у него лицо просто потрясенное. И до сих пор никто из читателей книги не понимает, что же там внизу происходит. А внизу – я на коленях, и рядом, на полу – огромный двухъярусный торт, который я принес. Этот торт сделали заключенные Владимирской тюрьмы ко дню рождения Петра Григорьевича. На торте ироническая надпись – «От чекиста Пайкова». Они это сделали в условиях тюрьмы и передали на волю. Петр Григорьевич был потрясен.*

После разжалования Григоренко назначили солдатскую пенсию – 22 рубля. Он от нее отказался. Если меня признают больным, почему же лишают пенсии?» Инвалидов оставили без куска хлеба: пасынок – инвалид с детства. У Зинаиды Михайловны – астма. На войне как на войне – уничтожаются и женщины, и дети, и инвалиды. Григоренко

написал записку министру обороны маршалу Малиновскому, который когда-то так любил его и в кабинет к которому он был вхож в любое время дня и ночи.

Родион Яковлевич!

По слухам¹² я разжалован из генералов в рядовые. Прошу восстановить мои законные права. А если, вопреки закону, я разжалован, то имейте хотя бы мужество сказать мне это в глаза. Я за свою службу даже ефрейтора не разжаловал заочно.
П. Григоренко.

– Это не письмо, – сказала жена. – Это вызов на дуэль.

Писал не по адресу. Малиновский еще при Хрущеве подготовил проект постановления Совета Министров как положено по закону: увольнение в запас. Хрущев долго сидел, глядел в проект.

– Что же это получается. Он нас всячески поносил, а отделался легким испугом... Приготовьте постановление на разжалование.

Новое постановление Хрущев разглядывал так же долго. Он не мог не видеть нарушения закона. Резко поднялся, вспыхнул:

– Больно много чести мне подписывать! Подпиши! – и пододвинул бумагу Косыгину.

Когда Хрущева сняли, на дачу к нему, пенсионеру, приехал Петр Якир. Напомнил о судьбе «хорошего человека» Петра Григоренко.

– Это не я, – ответил Хрущев. – Я не подписывал. Это все они... сволочи.

Когда-то молодой Хрущев еще в Московском горкоме партии был причастен к произволу и беззаконию. Затем заклеил произвол и беззаконие – громко, на весь мир. А закончил – тем, с чего начинал.

Ирония судьбы и капризы системы, дающей человеку неограниченную власть.

КУДА мог пойти работать инвалид 2-й группы «с психическим заболеванием»?

Петр Григорьевич пытался устроиться инженером-строителем. Потом – слесарем, паровозным машинистом, плотником, каменщиком, штукатуром... Секретарь парткома ЗИЛа сказал: «Я вашу фамилию сразу узнал, а вы думаете, у рабочих память хуже? Попробуй, разъясни, как человек из рабочих вышел в генералы, а оттуда снова в рабочие».

Генерал устроился сторожем на турбазу. Но его случайно опознал турист-майор: «Это вы, товарищ генерал?» – «Нет, не я...» Воз-

¹² Постановление о разжаловании ни Григоренко, ни его жена никогда не видели. – *Примеч. авт.*

мущенные несправедливостью туристы отправились в ВЦСПС, подняли шум. Он потерял и эту работу.

Пришел в магазин «Фрукты-овощи».

– Когда сможете выйти на работу?, – спросил директор.

– Хоть завтра.

– А сегодня, сейчас не смогли бы? Сейчас начнется вечерний за-воз, а грузчиков нет.

Так генерал стал грузчиком в овощном магазине. Работал по 12 часов через день. Оклад 65 рублей. Бесплатный обед. Бракованные фрукты – тоже бесплатно.

Он устроился в два магазина и работал каждый день. По 12 часов. Без выходных. Получал 132 рубля в месяц. Петру Григорьевичу было почти шестьдесят лет.

Однажды, когда я выходил после работы из магазина, меня остановил Семен Абрамович (директор).

– Петр Григорьевич, пойдете со мной! – и он повел меня в подвал. Там взял мою хозяйственную сумку, наложил в нее фруктов и сказал: «В таком объеме можете брать всякий раз».

– Нет, Семен Абрамович, я этого делать не буду.

– Я так и думал. Ведь я знаю, кто вы такой. Но я прошу вас... Если вы не будете делать того, что делают все, вас будут считать доносчиком и жизнь ваша станет невыносимой.

– Ну, раз вы знаете, кто я, то я вам скажу, что нести мне еще опаснее. Меня не вы, а другие могут обыскать...

– Петр Григорьевич, об этом не беспокойтесь. Я всегда подтверждаю, что это выдал я, лично, в порядке премии.

Так я стал «несуном», т. е. делал то, что делают в СССР все, кто не получает достаточно на жизнь.

Потом он работал грузчиком в Ялте, куда повез Зинаиду Михайловну лечиться.

Участливое отношение к Петру Григорьевичу рабочих-грузчиков и директоров магазинов заслуживает большого уважения, потому что все они видели, как их сослуживца неотступно, открыто, нагло сопровождают филеры.

Из открытого письма Григоренко П.Г. председателю КГБ Андропову Ю.В.:

Банда пьяных филеров совершила хулиганское нападение на меня и моего гостя инженер-майора Аптуняна. Несмотря на мои неоднократные настойчивые требования – привлечь пьяных хулиганов к ответственности или хотя бы сообщить мне их фамилии и адреса, чтобы я мог сам подать в суд, – милиция уклонилась и от того, и от другого.

За моей квартирой и за людьми, приходящими в нее, ведется тщательное круглосуточное наблюдение – визуальное и

с помощью специальной аппаратуры. Для этого вашим работникам предоставлены в соседнем доме две квартиры. В этом же доме имеется, кроме того, «дежурка» для филеров. Это при нашем-то квартирном голоде!

Вы могли бы сказать точнее, во что это обходится советскому народу. Но т. к. вы этого, безусловно, не сделаете, я попробую сам, хотя бы приблизительно, подсчитать эту сумму.

Меня обслуживают четыре смены филеров, по четыре человека. Но, учитывая возможность сокращений ночных смен, буду считать только три смены, т. е. 12 человек в сутки.

В двух квартирах у аппаратуры должны дежурить как минимум по одному человеку в смену, а всего, следовательно, не менее восьми человек ежесуточно.

Почти всегда, когда я садился в такси, за мною следовала специальная машина.

Итак, 21 человек. Но ведь этому взводу нужен командир и, вероятно, заместитель. Всего получается 23 человека. Будем считать, что в среднем каждый получает 200 рублей.

Итак, $20 \times 200 = 4000$ рублей – вот стоимость месячного негласного наблюдения за мной. В год – 48 000 рублей. Наблюдение ведется без малого четыре года. Получается 200 тысяч. Куда, зачем, для чего выброшены эти деньги!! Только для того, чтобы помешать всего одному КОММУНИСТУ участвовать в политической жизни страны!

Эксперт-психиатр ссылаясь на это письмо в суде как на явное доказательство болезни Григоренко.

АРЕСТОВАТЬ Григоренко второй раз в Москве не решились. В апреле 1969 года он получил телеграмму из Ташкента, его просили приехать на процесс Мустафы Джемилева, крымского татарина – того самого, бежавшего из дома Григоренко в момент обыска¹³. Петр Григорьевич приехал в Ташкент и был арестован.

Генрих Алтунян:

– Мы сидели все на квартире у Якира и писали свои протесты. Потом за эти письма нас всех судили. Борис Цукерман написал: когда такие люди, как Григоренко, попадают под колеса закона, то не прав закон.

В сентябре 1969 года в благопристойной Москве, в самом центре ее, произошло невероятное событие, о котором страна не знала тогда

¹³ В действительности Джемилев был арестован позднее. Его и Илью Габая арестовали уже по делу Григоренко, а сам П. Г. поехал в Ташкент, чтобы выступить общественным защитником на процессе 31 активиста крымско-татарского национального движения. – *Примеч. А. Г.*

и не узнала потом. В ГУМе, на переходном мостике верхнего яруса, парень и девушка, то ли из Швеции, то ли из Норвегии приковали себя к перилам наручниками и разбрасывали листовки. Отпечатанные типографским способом, с портретом Григоренко, листовки сыпались сверху, из-под крыши, в зал и производили ошеломляющее впечатление. Гэбисты не сразу сумели оторвать от перил молодую пару, оцепили выходы из ГУМа. Народ, воспитанный в послушании, листовки отдавал. Но кто-то, наверное, и вынес, не без этого. Владимир Гершуни сохранил уникальный экземпляр: «Мы надеемся, что, прочитав это обращение, каждый поймет, что защита прав любого человека есть одновременно и защита собственных прав, и в меру своих сил, мужества и возможностей выступит на защиту Петра Григорьевича Григоренко». Подпись: «Международный комитет по защите прав человека».

Вскоре, зимой, в ЦУМе и в Театре оперетты то же самое проделали итальянец и итальянка.

Первых злоумышленников выдворили из СССР, вторых продержали в тюрьме с месяц и тоже выдворили.

В Ташкенте, как и в Москве, вынести обвинительный приговор не решились. Генерала затаскали по психиатрическим больницам.

Любого здравомыслящего можно сделать сумасшедшим. Это с успехом демонстрировали еще гитлеровцы. С тех пор медицина, психиатрическая наука ушли далеко вперед. Немецкие фашисты уродовали иноверцев, советские – соотечественников, причем лучших.

Первая комиссия под председательством академика Снежневского признала Григоренко больным еще после первого ареста – 17 апреля 1964 года: «Паранойяльное (бредовое) развитие личности... Невменяем. В спецпсихбольницу на принудление». «Болезнь» Петра Григорьевича решили продемонстрировать жене – в Лефортовской тюрьме.

После обеда вывели на прогулку. Через несколько минут мне стало плохо. Попросил увести в камеру. Пообещали, но не уводили. Чувствую, вот-вот засну на ходу. Прошу еще раз увести. Снова не уводят. По пути в камеру встречается дежурный. Объявляет: «На свидание!» Мобилизую все силы и иду. Что было на свидании, не помню. Как вернулся со свидания, тоже не знаю. Впоследствии жена рассказывала, что я гримасничал, кричал: «Рот фронт!», дергался, как марионетка, бросил ей очень неудачно записку, которая упала на пол».

Через несколько дней было новое свидание. Она спросила:

– А прошлое свидание ты помнишь?

– Нет! Я даже не знаю, было ли оно.

Тогда, в первый раз, Григоренко был изолирован на год. Вторая изоляция оказалась более жестокой, его заламывали в психиатрических больницах в Москве, Подмосковье, Черняховске...

«Хроника текущих событий»

Выпуск № 14 от 30 июня 1970 г.:

«С июня 1970 г. П.Г. Григоренко содержится в специальной психиатрической больнице в г. Черняховске. (Как и все другие СПб, она относилась к ведомству Министерства внутренних дел. – Авт.) В начале июня Петра Григорьевича Григоренко в больнице посетили двое в штатском, не назвавшие своих фамилий, предложили ему отречься от своих убеждений. П.Г. Григоренко отказался разговаривать с ними. После этого его стали выводить на прогулку с группой агрессивно настроенных больных.

Больничная палата – шестиметровая камера. В ней двое: Петр Григорьевич и его сосед, зарезавший свою жену и находящийся все время в бредовом состоянии. Свободного пространства – два шага, можно только встать и одеться.

Бумаги и карандаша Петр Григорьевич лишен.

Вынужденная неподвижность, острые боли в раненой ноге, непрерывное воздействие на психику со стороны тяжелого душевнобольного – все это вызывает серьезные опасения за жизнь 62-летнего П.Г. Григоренко. Его адрес: Калининградская обл., г. Черняховск, учреждение 216/ст-2л.»

Это те только воздействия, которые на виду, а сколько – тайных, ежедневных. Медики могли проводить на генерале любые эксперименты, больше, чем на кролике или обезьяне, потому что подопытные животные все же представляли какую-то хозяйственную, утилитарную ценность, за них кто-то отвечал. Подопытный же генерал представлял государственный вред, и за него не отвечал никто.

Выпуск № 16 от 31 октября 1970 г.:

«Последние месяцы на палату-камеру, где заключен Григоренко, навешен второй замок. Это крайне затрудняет пользование туалетом. У Григоренко обострился цистит. Мучаясь, Петр Григорьевич не спал ночами. (Когда дремал, держал ладони на горле, опасаясь соседу-убийцы. – Авт.) Только в конце октября была поставлена “утка”».

Выпуск № 18 от 5 марта 1971 г.:

«Зинаида Михайловна Григоренко, жена заключенного в Черняховской больнице-тюрьме Петра Григорьевича Григоренко, вновь обратилась с письмами в советские и международные инстанции, требуя неотложного вмешательства в судьбу ее мужа. В своих письмах она подробно рассказывает о бесчеловечном обращении, которому подвер-

гают П.Г. Григоренко в Черняховской спецбольнице. По-прежнему его кормят и водят на прогулку вместе с агрессивными больными... В январе этого года П.Г. Григоренко предстал перед очередной комиссией. Один из первых вопросов профессора:

– Петр Григорьевич, каковы ваши убеждения?

Он ответил:

– Убеждения не перчатки, их легко не меняют.

На просьбу об авторучке и бумаге получил ответ:

– Зачем вам ручка? У вас появятся мысли, вы станете их записывать, а вам это противопоказано.

Решение комиссии: «Лечение продлить: ввиду болезненного состояния»».

Генерала Григоренко продержали в Черняховской психиатрической тюрьме пять лет! Срок невыносимый! Чтобы нормального, здравомыслящего человека сделать сумасшедшим, довести до самоубийства, достаточно несколько недель.

Игорь Кондратов, сидевший в Лефортово, после медицинских обработок даже до зоны не добрался – умер.

Виктор Некипелов, медик-фармацевт, был арестован прямо в аптеке в 1973 году. Получил два года лагерей. Отказался от советского гражданства, добивался разрешения на эмиграцию и был осужден еще на семь лет лагерей и пять лет ссылки. «Мы вас выпустим, Виктор Александрович, за границу, – говорил следователь. – Но сначала мы вас уничтожим как личность. Мы вас выпустим, когда вы уже никому не будете нужны».

Так и случилось. Его выпустили в 1987 году тяжело больным, он уехал в Париж и скоро скончался.

Если смерть – неизбежная плата за жизнь, то КГБ предоставил ему иезуитскую, мучительную рассрочку.

Он писал хорошие стихи...

ВЕРНЕМСЯ в зал.

Алексей Смирнов:

– Я знал, я видел перед собой очень мощного человека, такого крепкого, который расхаживал по комнате с палкой. Говорил он решительно, и палкой стучал, и на меня, на мальчишку, это производило впечатление – такая вот решительность. ...Потом, я помню, как он был проездом из Черняховской психбольницы... КГБ разрешил встретиться с ним на вокзале. Я помню драматический такой эпизод, когда люди бегут по перрону и знают, что там, в конце, стоит Петр Григорьевич в окружении КГБ. Ему дали возможность увидеть своих друзей.

Я помню, подбежал и обнял Петра Григорьевича. Это был уже другой человек... он был все-таки сломан – в психиатрической больнице был нанесен удар по его чести, по его достоинству: признать его психбольным и так долго держать в очень тяжелых условиях – на нем это сказалось очень сильно. Он еще какое-то время был в подмосковных психбольницах...

Юрий Киселев:

– Каждый раз, когда говорят о Петре Григорьевиче, каждый раз немножко сжимает сердце. Я знал его давно, еще с квартиры Пети Якира. И вот после психушек он приехал ко мне в Коктебель вместе с супругой Зиной. Представьте себе – Крым, жаркое солнце и высокий человек идет, метр девяносто, и он идет как-то под углом и его шатает... Да, так он передвигался после психушек. Мой дом был открыт для всех, люди были разные, и все воспринимали его не то, чтобы как героя, нет, а как самого дорогого человека. Его слушали с открытым ртом. Он был художник слова, завораживал... После этого он уехал в Соединенные Штаты лечиться, и его лишили гражданства. Если вы помните, если слушали радиостанцию «Свобода» – он расплакался тогда. Так он любил эту страну.

Все-таки запас сил у генерала был невероятно велик. Сдав физически, он сохранил и ясность мысли, и логику. После отъезда в США он, обескровленный, еще сумел подняться в полный рост.

Юрий Гримм, из беседы:

Это было в 1976 году, пятого декабря мы снова стали собираться на митинг. Я с сыном, чтобы не засекли, поехал от тещи, а Соня, жена, – вместе с Петром Григорьевичем. Она уцепила его двумя руками, чтобы не оторвали. Тогда уже хватали крепко – и в милицию отвозили, и под домашний арест сажали. Минут за десять до начала Петр Григорьевич поднимается по ступенькам к памятнику Пушкину, спрашивает:

– Юра, а где Андрей Дмитриевич-то! Он должен быть здесь. Надо его немедленно найти.

А народу собралось! Никогда столько не было. Больше сотни никогда не было. А тут человек триста, больше – четыреста! Я вижу Сахарова – нет нигде. Забежал за памятник, смотрю, справа, возле кустарника – со стороны «Московских новостей» идет какая-то борьба. Вижу вдруг – это Андрей Дмитриевич и Саша Подрабинек против двух милиционеров сражаются. Я подскочил, стал помогать. Струдом, но отбились. Идем к памятнику, Андрей Дмитриевич – растерзанный весь, и пока шли ему кто-то в висок мокрым снежком засадил. Петр Григорьевич уже открыл митинг: «Друзья, сегодня мы собрались в традиционный день, в день Конституции, в которой за-

писано немало прав и свобод, но на деле эти права и свободы не соблюдаются». В огромной массе людей – шок. А среди гзбэшников – еще больший шок. В это время поднимается и встает рядом с Григоренко – Сахаров, помятый, застегивается. Они обнялись, и Петр Григорьевич спросил:

– Андрей Дмитриевич, где ж вы пропали?

И продолжил речь. Голос у него снова стал, как прежде, – командирский. Людям, наверное, боязно было слушать, жутковато. А мне было радостно. Подлетели иностранные корреспонденты. Снова, как всегда, кзгзбэшники били нас по ногам, и сыну моему – Клайду попали по кости и в ухо...

Потом Сахаров направился в сторону вашего, известинского входа, его перехватили иностранные корреспонденты: «Давайте в дипломатическую машину». И увезли. А мы с Петром Григорьевичем поехали домой на троллейбусах, с пересадками.

О том, как прочно были связаны эти люди друг с другом, какой «плотной», по словам Алексея Смирнова, была их небольшая среда, которая уплотнялась по мере давления диктатуры, обо всем этом можно писать научные трактаты, исторические исследования, литературные романы.

Я же воспроизведу стихотворение Виктора Некипелова, медика-фармацевта, изоощренно искалеченного своими же советскими коллегами, привившими ему смерть в расщочку.

Зато с мешками
мне не мучиться,
Не волочить их на спине.
Мое тюремное имущество
Все то, что есть сейчас
на мне.
Тут что ни вещь –
друзей старания,
И есть кого припоминать.
Такого пестрого собрания
Нарочно было б не собрать.
Такого ладного и ноского,
Такого теплого вдвойне.
Вот – брюки
Гриши Подьяпольского!
И – Пети Старчика кашне!

И словно весь я скроен заново,
Не сразу скажешь:
кто есть кто.
Вот – шапка
Тани Великановой,
Петра Григорьича пальто!
И вновь родные вижу лица я,
Не устаю благодарить.
Какая добрая традиция –
Одежду узникам дарить.
И – словно нету расставания,
И все они опять со мной.
Как будто всей честной компанией
Сидим мы в камере одной!

В СУДЬБАХ правозащитников прослеживаются наследственные, фамильные черты. Виктор Некипелов родился в Харбине. Вернув-

пись в Россию, семья подверглась репрессиям. Виктору было 11 лет, когда арестовали мать, больше он ее не видел.

Легендарный Владимир Гершуни, тот, что раньше всех сел и позже всех вышел, – племянник Григория Гершуни, одного из основателей партии эсеров.

Показательна судьба писателя Алексея Евграфовича Костерина, который был, без преувеличения, духовным наставником Григоренко. Вся семья Костериных – отец, мать и три сына – была большевистской: отец член партии с 1905 года, мать – с 1917-го; старший брат – с 1903-го, средний – с 1909-го и младший, сам Алексей Евграфович – с 1916-го.

Когда я познакомился с Алексеем Евграфовичем, – вспоминает Григоренко, – в живых оставался он один. Старший брат арестован и расстрелян в 1936 году, среднего брата исключили из партии, сняли с работы и над ним навис арест... он запил и умер... Мать, когда арестовали среднего сына, положила свой партийный билет... После смерти среднего сына и ареста младшего не стало и ее, не выдержало сердце.

Типичное вырождение большевистской семьи, уничтожение своих.

Алексей Евграфович, единственный уцелевший член семьи, сидел и в царской тюрьме, и в советской. Он был арестован в 1937 году. 17 лет провел на колымской каторге.

В следующем поколении никто не сидел, наверное, потому, что у Алексея Евграфовича родились три дочери. Нина Костерина, когда началась война, ушла в партизанский отряд. «Хочу действий, хочу на фронт... – писала она в дневнике, – Я должна идти туда, куда зовет меня Родина». Она была в отряде подрывников. Погибла. Дневники ее опубликовал «Новый мир». Писатель Овидий Горчаков написал о ней рассказ «Нина, Ниночка...»

А следующее поколение Костериных – снова мужское. У средней дочери, Елены, родился сын Алексей. Он становится в ряды правозащитников. И снова – арест, тюрьма, лагерь. Алексей Смирнов отбывал срок уже в восьмидесятых. Осужден был за «антисоветскую деятельность» (собирал материалы для «Хроники»), считался «особо опасным государственным преступником» – отдельный этап, отдельное сопровождение.

НАША страна всегда славилась, и об этом много писали, потомственными сталеварами, шахтерами, тружениками полей, наследными артистами и режиссерами. Потомственными же арестантами мы не гордились и об этом не писали.

– А вы знаете, что там, в лагерях – тоже свои династии: администрация, охрана? – сказал мне Юрий Grimm. – Деда и бабки, отцы и матери, сыновья и дочери – при лагерях живут и в лагерях работают. Злые, как натасканные собаки. И внуки, и внучки их – ждут, готовы встретить новые жертвы.

БОЛЕЕ шести лет, которые в общей сложности провел Григоренко в качестве подопытного¹⁴, – это фактически пожизненное заключение в психиатрическую больницу.



Вглядитесь в упрямые губы, скулы и подбородок, в затравленные глаза. Я скажу вам, на кого он похож здесь, прикройте нос и увидите – на Шукшина. Судьбы, конечно, несравнимые, несоизмеримые. Но – глаза... Этот взгляд появился у Шукшина вместе с первыми сердечными болями, когда могущественный министр внутренних дел Щелоков запретил «Калину красную», заставляя режиссера переделывать конец: убрать «самосуд».

Власть, как опытный скульптор, умела лепить людей с выражением страдания.

Петр Григорьевич умирал в Америке долго. Может быть, только советские тюремные медики знали, сколько он проживет.

3. Цена лжи

ЭТО был первый вечер памяти. Прежде они встречались только на похоронах. Конечно, это был вечер памяти их всех.

Мятежный генерал мятежного поколения.

Юрий Галансков, поэт. Погиб в заключении, в возрасте тридцати трех лет.

Анатолий Марченко, рабочий. Погиб в тюрьме. 48 лет.

Валерий Марченко, журналист. Погиб в тюрьме. 37 лет.

Василь Стус, поэт. Погиб в заключении. 47 лет.

¹⁴ П. Григоренко провел в заключении в общей сложности восемь с половиной лет: предварительное тюремное заключение плюс заключение в СПБ. – *Примеч. А. Г.*

Михаил Фурасов, кандидат технических наук. Умер в лагере. 50 лет.

Юри Кукк. Доцент Тартуского университета. Погиб на этапе. 42 года.

Илья Габай, школьный учитель, поэт. После освобождения из лагерей покончил с собой. 38 лет.

Анатолий Якобсон, литературовед. Покончил с собой. 43 года.

Эдуард Арутюнян, экономист. Умер сразу после освобождения из лагерей. 58 лет.

Виктор Некишелов, поэт. Умер вскоре после освобождения. 61 год.

Андрей Амальрик, историк, публицист. Погиб в автомобильной катастрофе. 42 года.

Ирина Каплун, филолог. Погибла в автомобильной катастрофе. 30 лет.

Мераб Костава, музыковед. Погиб в автомобильной катастрофе. 50 лет.

Цена свободы.

Я беседую с двумя людьми – Алексеем Смирновым, директором Московского исследовательского центра по правам человека, и Валерием Абрамкиным, возглавляющим общественный центр содействия реформе уголовного правосудия.

Алексей Смирнов:

– Когда Горбачев пришел к власти, он тогда же, а 1985 году, заявил на весь мир: «Политзаключенных в СССР нет». Я помню испуганные лица в зоне: «Нас нет, значит, с нами можно делать, что угодно. И чекисты поняли так: раз нет, значит, не должно быть. Страшные начались дела!.. Около десятка смертей только среди наших. Самоубийства. Душили – жестоко.

Валерий Абрамкин:

– Борьба с нами шла на полное уничтожение. Я сидел в Красноярском крае, в шестерке – ИТК номер шесть. И администрация колонии мне прямо сказала:

– Привьем тебе туберкулез.

И я вышел оттуда инвалидом.

...Ложь не бывает невинной. Если же лжет первое лицо в государстве, это особенно опасно.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ в лагерях и тюрьмах очень четко чувствовали настроение Москвы. После волны протестов на Западе кто-то из Политбюро мог сказать: «Ну что вы там, действительно, распустились?»

И пресс ослабевал. Или наоборот: «Ну что вы их там распустили?»
Снова – пресс, еще круче.

Индустрия истребления в неволе развита, изощрена. Знаменитые ШИЗО (штрафные изоляторы) – только малое звено в ней. Но, посмотрите, здесь задействованы и медицинская, и строительная, и прочие науки. Темная, холодная, сырая камера. С потолка капает. На стенах – колкий, набросанный цемент – «шуба», вода стекает по стенам и замерзает. На полу вдоль стен – лед. Сесть можно только на холодную бетонную тумбу. Голые нары окрашены жесткой нитрокраской, отчего становятся гладкими, холодными, стеклянными, днем они подняты к стене и закрыты на замок. Ночью – ни матраца, ни бушлата. Кормят по пониженным нормам.

Валерий Абрамкин:

– Там же мороз в Сибири в феврале! Стекол в окне нет. На нас – тонкое белье. На маечку пописаешь... майка замерзает, как доска, и вместо стекол в окно ее вставляешь.

Алексей Смирнов:

– По слухам, в раствор цемента кладут соль, она гигроскопична, хорошо сохраняет влагу в камере.

Валерий Абрамкин:

– При мне клали подвальную камеру. Рубероид стелили не в фундамент, под пол, чтоб не пускать дальше грунтовые воды, а... на потолок. Вся вода собиралась в камере.

Больше пятнадцати суток держать в ШИЗО не полагалось. Поэтому выпускали на день-два, а потом опять сажали. Наконец, стали добавлять срок прямо в камере.

Алексей Смирнов:

– Заходят в камеру: «У вас не подметено. Еще 10 суток». А веника нет. Издевались. Так я получил 45 суток.

Валерий Абрамкин:

– Сергей Ходорович в ШИЗО сидел 90 суток! Пятнадцать – и то тяжело, верный туберкулез.

Алексей Смирнов:

– Но рекорд поставили Иван Ковалев и Валерий Сендеров, они просидели в ШИЗО – год!

Умирали Брежнев, Андропов, Черненко, и каждый раз в зонах наступало затишье, выжидали.

Валерий Абрамкин:

– В ШИЗО ждешь выхода в зону больше, чем на волю. Когда мне в очередной раз добавили семь дней, я сказал, что объявлю голодовку. «Ну и подыхай, – говорят, – даже хоронить тебя не будем». И в это время умирает Черненко. Еще никто в стране не знал, еще не объявили,

а меня вызывает кум и говорит очень вежливо: «Какие просьбы к нам, что хотите?» Меня выпустили и целый месяц не трогали. Я ходил по зоне, как король. А потом опять посадили и до конца срока трюмовали: ШИЗО – ПКТ¹⁵ – ШИЗО... Сергею Ходоровичу после смерти Черненко тоже дали погулять и опять посадили.

Алексей Смирнов:

– У нас в зоне чекист-куратор прямо в лоб сказал Борису Ивановичу Черныху, писателю из Иркутска: «К власти пришел Горбачев, теперь вам не поздоровится».

– Откуда были такие прогнозы?

Валерий Абрамкин:

– Горбачев считался «крутым». Пришел, наконец, молодой, сильный, ставленник Андропова. Все ведь и подтвердилось. Как мне «прививали» туберкулез! Одного ШИЗО было бы достаточно. Но администрация лагеря решила сработать наверняка, и в камеру ко мне подкинули больного с открытой формой туберкулеза. Одна кружка – на двоих, самокрутка – на двоих... Потом, на воле, когда у меня началась открытая форма, мне медики записали: «Имел длительный контакт с больными туберкулезом». Только тогда я и узнал причину болезни. Сергей Ходорович, который 90 суток в ШИЗО отсидел, тоже очень тяжело заболел. Ему отрезали легкое, уже в Париже. Было полное ощущение, что, прежде чем начать «перестройку», власть хотела уничтожить всю оппозицию.

Алексей Смирнов:

– Когда меня «на исправление» отправили в Чистопольский лагерь, Толя Марченко сидел в камере напротив. Он при мне и умер. Михаил Фурасов тоже умирал при мне. Мы, оба инженеры, он – из Киева, сошлись довольно близко. Его посадили за то, что писал письма с протестами в ЦК. С ним в Киеве сделали что-то такое, что он прибыл на зону совершенно разбитым.

Из воспоминаний Льва Тимофеева: «Когда в декабре 1985 года меня привезли в лагерь, Михаил Денисович Фурасов был уже очень болен, и все понимали, что болен он безнадежно: он горстями ел снег, чтобы хоть как-то избавиться от вкуса мочи, который он постоянно ощущал во рту, – почки уже всюю отказывались работать. Это был очень тихий, очень вежливый человек. Интеллигент, кандидат технических наук... Его спокойно и верно убивали на глазах у всей зоны. И ни для кого это не было тайной. О смерти Фурасова начальство прямо не сообщило. Дежурный чин окрысился: «Ну и что, что умер, – и на воле умирают».

¹⁵ Помещение камерного типа. – Примеч. авт.

Это правда, и на воле умирают. Только в 10 раз меньше. И туберкулезом на воле тоже заболевают, только в 17 раз реже.

Анатолий Марченко был последний, кто не вернулся на волю. Он провел в заключении 20 лет. В тюрьме объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных. Голодал, пока не умер. После его гибели в 1986 году политзеков стали освобождать – из тюрем, лагерей, ссылок.

Настал день, когда президент России объявил, что политических заключенных в России больше нет. И это была правда.

Но он сказал об этом не россиянам, не вдове Марченко или туберкулезному Валерию Абрамкину. Он объявил об этом американскому президенту, американскому народу – сытому и свободному.

В ТЕ ГОДЫ ложь была не просто государственной политикой, но и единственной политикой. Теперь лжи стало больше, но она – мельче. Раньше у власти были профессионалы и лгали – профессионалы. Теперь у власти любители, их много, не умещаются в Кремле, и лгут – по-любительски, ничтожнее, с мелкой выгодой. Даже порываясь сказать иногда правду – лгут, даже желая сделать лучше – делают хуже. В оправдание задают один и тот же козырный вопрос: «Вы что же, хотите, чтобы было, как раньше?»

И лгут дальше, борясь за кресло.

Конечно, не хотим, «как раньше». И слава Богу, что по ночам к подъездам не подъезжают «воронки». Но разве Россия достойна лишь этого?

Вот – новелла.

Оратор на митинге громко заявляет:

– Дважды два – шесть!

Его слова тонут в аплодисментах.

– Неправда, дважды два – четыре!, – кричит Правдолюбец, который после этого сразу исчезает на пятнадцать лет.

Возвратившись из отдаленных мест, он снова попадает на митинг, на котором новый оратор снова под бурные аплодисменты заявляет:

– Дважды два – пять!»

– Неправда, дважды два – четыре! – кричит Правдолюбец, которого жизнь ничему не научила.

После митинга к нему подходит оратор, доверительно обнимает его и тихо говорит:

– Неужели вы хотите, чтобы дважды два снова было шесть?

...Я ищущу в сегодняшнем сумеречном дне, в непролазном болоте – Правдолюбца. Где он?

С ГРУСТНОЙ иронией Алексей Смирнов сказал:

– *А кто, собственно, такие, эти демократы? Я с ними в одной зоне не сидел.*

Кто они, откуда набежали в таком количестве и взяли власть?

И куда подевались вдруг недавние правозащитники, ведь не всех же убил и покалечил прежний режим? Почему никого из них нет среди руководителей нового режима?

Неожиданно, резко оборвалась связь времен.

Где Правдолюбец?

ОДИН из организаторов вечера памяти Александр Харнас рассказал мне, как в 1976 году он отдыхал вместе с Петром Григорьевичем Григоренко:

– Я верю, что все изменится, – жестко и как-то упрямо говорил Петр Григорьевич. – Нам бы газетку иметь, хоть такую вот, – он показал ладонь.

А на следующий год он засобирился в Америку – предстояла операция, лечение.

– Но вы меня обратно пустите? – с беспокойством спрашивал Петр Григорьевич генерала КГБ.

– Пустим, говорю вам как генерал генералу, – ответил тот, ставя как бы знак равенства между собой и разжалованным до рядового солдата Григоренко. – Пустим, – он пожал руку Петру Григорьевичу. – Только просьба: никаких там интервью.

Григоренко слово держал – никому никаких интервью, пока вдруг не узнал, что его лишили гражданства. Указ подписал Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС. Маршал. Однополчанин.

Вскоре, в 1980 году, был сослан в Горький Сахаров.

Две такие невосполнимые потери.

Они явились прологом мощной государственной акции.

– *Перед КГБ стояла задача: к 1983 году полностью очистить всю страну от диссидентов. Это мне говорили в Лефортово,* – рассказывает Алексей Смирнов.

Но как чекистам это удалось? Более четверти века держались правозащитники, несмотря на крутые времена.

– *У нас не было структурной организации, а было противостояние отдельных личностей жесткой системе. Не было, следовательно, и руководителей. Все равны, одинаковы, все, как одна семья. И в лидерах были не авторитеты, а те, кто предоставлял квартиры для сборов. Эти люди шли на многое, они знали, что в их квартирах будут ста-*

вить подслушки, за ними всюду будут следовать «Волги», к ним будут заявляться с обысками и арестами. Таких центров было несколько – Григоренко, Подъяпольский, Якиры, Великанова, отчасти – Сахаров. Люди собирались на этих квартирах, пили чай, общались через записки, передавали друг другу «самиздат». И вот чекисты стали бить по этим точкам. Лишили гражданства Григоренко, сослали Сахарова, умер Подъяпольский, «раскололся» Якир...

В Москве, где находятся дипломатические представительства и много иностранных корреспондентов, правозащитники держались дольше. По большому счету западные правительства остались сторонними наблюдателями борьбы правозащитников в СССР, огонь поддерживали лишь газетчики. Но – изменилась конъюнктура. Запад перекинулся на Афганистан.

– В хельсинкской группе было человек двадцать. Осталось трое: Каллистратова, Мейман, Боннэр. Все. Хельсинкская группа прекратила свое существование. В 1983 году, как и планировал КГБ. Я был арестован, Иван Ковалев арестован, Григорьянц арестован.

Говоря о закате движения, не назвал я причину самую обыкновенную, человеческую: они устали. Не поддержанные народом, а иногда и травимые, убиваемые от его имени, они столько лет в одиночестве подтачивали Власть, как вода камень.

СВОБОДА все-таки пришла? Значит, они победили.

Но почему-то не отпускает строка Александра Галича: «И я упаду, побежденный своею победой...»

Да нет, не их вина, что свобода оказалась такой разгульной, кровавой, окаянной и ничем не защищена.

Эти люди свое дело сделали. Они расчистили дорогу другим, тем, кто должен был прийти вслед.

...И посмотрите, кто пришел. Оглянитесь вокруг.

Вам кто больше люб – горбачевские демократы: Язов, Крючков, Пуго, Бакланов?

Или ельцинские демократы – Хасбулатов, Руцкой и иже с ними? Горбачевские предали Горбачева, ельцинские – Ельцина.

А может, вам милее второе поколение ельцинских демократов – нынешние?

...Никто, ни один из оставшихся в живых московских правозащитников не вляпался во власть. Сергей Адамович Ковалев? Ну, какая он – Власть!

И не потому не вляпались, что «когда царит порок, стыдно быть близким ко двору» (Конфуций), а потому что по природе своей далеки от всякой власти. Они занимались правозащитой и не занимались

политикой. Даже Сахаров – чистый правозащитник, политиком его можно назвать лишь как человека, глобально мыслящего.

КАК изменилось все за считанные годы. Григоренко мечтал о газетке величиной с ладонь. Теперь их сотни. Раньше идеалисты-правозащитники не стремились ни в политику, ни во власть. Нынешние практичные совмещают и политику, и коммерцию, и власть. Призывают все вместе вызволять из беды Россию, но взрослых детей своих предусмотрительно вывозят за рубеж.

Раньше политических сажали, как уголовников.

Теперь уголовников выпускают, как политических.

Григоренко, затасканный по психушкам и тюрьмам, отвергая всяческие компромиссы, требовал, чтобы его судили, ибо только открытый суд мог подтвердить его невиновность. Многие из правозащитников не принимали милость освобождения, потому что не считали себя виновными, и отказывались подписывать условие свободы: «не заниматься прежней деятельностью».

Нынешние – и амнистию приняли, и виновными себя не считают.

Потеряно понятие достоинства. Его даже нет в современном юридическом словаре. Исчезло. «Честь» – есть, «достоинство» – отсутствует.

Общество, сделавшее выбор в декабре прошлого года, потеряло не политический ориентир, а нравственный.

Теперь все – борцы, все – герои. Каждый заявляет о себе.

Знакомая дама в самом конце восьмидесятых вступила в партию. Ровно через год – выскочила. (Несчастному Григоренко, чтобы пройти этот путь, понадобилась долгая мучительная жизнь.) Вступала – тихо, вышла – шумно, с саморекламой на всю страну.

Демократы, борцы – без капли покаяния.

Мне хочется иногда, чтобы воскрес, явился Сталин. Но на один день. И чтобы никто не знал, что он явился на один день. Попыхивая трубкой, спросил бы с усмешкой: «Ну что, побаловались тут без меня?». О – как кинулись бы к его сапогам: «Прости, отец родной, прости! Бес попутал...» Очередь бы выстроилась – из России, из бывших союзных республик – миллионов на сто пятьдесят! Первыми прильнули бы к голенищу нынешние политические перевертыши.

«Борцы».

Когда у правозащитницы Ларисы Богораз спросили о ее борьбе, закончившейся тюрьмой, она ответила: «Я не боролась. Просто жила, как умела».

Никто никого не осуждает за прошлое. Большинство правозащитников относятся снисходительно даже к тем своим единоверцам,

кто раскололся в КГБ, кто отрекся. Другое дело, когда эти люди, как Гамсахурдиа, начинают снова заявлять о себе. Опять же – без всякого покаяния. Занимайтесь каждый своим скромным делом, разве это плохо.

Нашелся, кажется, единственный человек, кто осознал свою причастность к советской действительности и покаялся:

Это мой 50-летний труд вложен в то, чтобы создать тот общественный порядок, при котором преступники, истребившие 66 миллионов советских людей, не только не наказаны, но окружены почетом и сами наказывают тех, кто пытается напомнить об их преступлениях. Это я приложил руку к тому, чтобы в стране утвердилось беззаконие...

Это такие, как я, виноваты в том, что... народ объели со всех сторон и обжирают его тучи чиновной саранчи...»

Как думаете, чье это покаяние?

Петра Григорьевича Григоренко.

Ведь он долго был классическим советским генералом и уже в возрасте, когда остальные готовятся к пенсии и покою, ввязался в неравную борьбу.

И ВСЯ-ТО Россия ворвалась в свободу без покаяния, накинув на себя безо всякой примерки демократические одежды.

Собственно, что такое покаяние и почему оно так важно? Покаяние – это осознание причастности ко злу. Не осознав, зла не устранишь. А значит, и нового ничего не построишь. Покаяние – это залог того, что прошлое не вернется.

Как было?

Врач-психиатр Маргарита Феликсовна Тальце («дочь Дзержинского», как она преподносила себя подопечным), признавшая Григоренко психически больным, стала доктором медицинских наук. Тюремный следователь Григоренко подполковник КГБ Георгий Петрович Кантов за то время, что Петр Григорьевич провел в спецпсихбольнице, вырос до генерал-майора. Зато врач Семен Глузман, попытавшийся сделать независимую психиатрическую экспертизу, был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки.

Никто не был забыт, и ничто не было забыто.

Как теперь?

Затишье.

Алексей Смирнов хотел своего бывшего следователя привлечь к ответственности. 12 лет назад, когда его арестовали, он фиксировал каждое преступление следствия и писал заявление. «Это будет потом обвинительным материалом против вас». Следователь смеялся и, как

оказалось, правильно делал. В прошлом году в Мосгорпрокуратуре ознакомились с делом Смирнова. Собеседник качал головой и говорил: «Да, вы действительно можете привлечь следователя... Но он сейчас не у нас... Средств на новое следствие нет. Да и зачем вам?..»

Были и другие, тоже бесполезные попытки правозащитников привлечь своих палачей.

Все на месте, кто не на пенсии, тот по-прежнему при деле – следователи, прокуроры, судьи, врачи-психиатры. И кадры топтунов и стукачей при всех реорганизациях госбезопасности тоже не состарились, не потеряли хватки. И династии жестоких лагерных служителей ждут в постоянной готовности. И подвальные камеры ШИЗО с преступными ухищрениями строителей целы. Валерий Абрамкин готов поехать и показать такую камеру любой комиссии.

Несчастному Петру Григорьевичу провели 12 (!) психиатрических экспертиз. 10 из них не нашли у него никаких психических расстройств, и только две признали его невменяемым. Одна – под председательством А.В. Снежневского, другая – под председательством Г.В. Морозова. Снежневский скончался, Морозов жив, мнения своего по поводу Григоренко не изменил. А как он может изменить, он, Георгий Морозов, возглавлявший Институт судебной психиатрии им. Сербского с 1957 года более тридцати лет? Признаться в неправильном диагнозе, который сыграл решающую роль в судьбе Григоренко, значит, сознаться в преступлении.

Оказавшись в США, Григоренко сам попросил американцев провести психиатрическую экспертизу и опубликовать ее независимо от результатов. В 1978 году в Гарварде видные американские психиатры пришли к заключению: «Тщательно изучив заново все материалы исследования, мы не обнаружили у генерала Григоренко никаких признаков психических заболеваний... Мы не обнаружили также признаков каких-либо заболеваний в прошлом. В частности, не найдено никаких параноидных симптомов даже в самой слабой форме...»

Лишь в 1991 году после вмешательства военной коллегии Верховного суда СССР советские психиатры были вынуждены согласиться с американскими экспертами. 13 лет спустя.

На вечере памяти выступил президент независимой психиатрической ассоциации России Юрий Сергеевич Савенко:

– Генерал Григоренко наконец реабилитирован. Но не стоит обольщаться. Председатель основной советской экспертизы Георгий Морозов по сегодняшний день остается руководителем психиатрического ВАК и единственным академиком-психиатром в Академии медицинских наук. Одновременно с реабилитацией генерала Григоренко произошла и реставрация советской власти в психиатрии – за четыре месяца

до октябрьских событий 1993 года. Было воссоздано под новым именем бывшее всесоюзное общество психиатров со всем его прежним руководством и с почетным председателем во главе – Георгием Морозовым.

Вот вам и затишье.

...Как только сила пересилит силу и взорвется хрупкая тишина, тут и скажут свое слово испытанные кадры, которые, как известно, решают все.

В КОТОРЫЙ раз приблизились мы все к той же вечной теме – жертвы и палачи, а если толковать шире – добра и зла.

«Опыт диссидентства в СССР – опыт свободного существования человека в несвободной стране», – пишет исследователь правозащитного движения Илья Мильштейн.

Подобным опытом замечательно воспользовались в восточноевропейских странах: Гавел, Валенса, Желев, все – правозащитники, зеки. Мы же свой кровавый опыт забыли быстро. Не употребив на государственном уровне, мы выпустили его и из исторической памяти. В школах, институтах хорошо бы ввести, пусть факультативно, такое чтение, как «История инакомыслия в СССР» – огромная работа Людмилы Алексеевой или «Живи как все» Анатолия Марченко.

Не дай нам Бог окончательно забыть то время.

Алексей Смирнов сравнил правозащиту с иммунной системой в человеческом организме. Правозащита не только гарантирует от произвола власти, но и саму власть защищает от экстремистских настроений. Нашей же больной российской власти правозащитники нужны еще и как мера совести.

Пока же демократы много говорят о сталинских репрессиях и не замечают репрессий недавних, свидетелями или участниками которых были они сами. О давних жертвах – помним, о недавних борцах, и тоже жертвах, – нет.

Их немного осталось в живых, недоистребленных. Идеалисты, они не приспособились и к нынешней практичной жизни.

Тот же Алексей Смирнов, директор Центра по правам человека, получал до недавнего времени 35 тысяч в месяц¹⁶.

Его помощник Юрий Шлепотин – 30 тысяч.

Юрий Grimm – сторож.

Иван Чердынцев – старый зек тоже работал сторожем, теперь тяжело болен, без денег.

¹⁶ Курс доллара на тот момент равнялся 1247 руб. (см.: Новиков Б.Д. Рынок и оценка недвижимости в России М., 2000).

Феликс Серебров – мыкается с четырьмя детьми.

Мальва Ланда, у которой сожгли дом и ее же «за поджог» и посадили, работает газетным киоскером. До сих пор без квартиры.

Валерий Абрамкин, которому в зоне «привили» туберкулез, живет с женой и двумя детьми – в коммуналке. Хотя имеет право на квартиру и как репрессированный, и как больной.

Нынешние «демократы» предали их дважды – тем, что забыли их, и тем, что сделали со свободой.

ДЕЛО к концу. Осталось немного – проститься с Петром Григорьевичем.

В Америке он жил бедно¹⁷. Как рассказал на вечере памяти преподаватель Военной академии им. Фрунзе Владимир Антонович Ковалевский, генералу Григоренко предложили должность профессора в военной академии Вест Пойнта, очень приличный оклад. Но генерал сказал: «Я благодарен этой стране, которая меня приютила, в которой сделали мне операцию. Но земля России полита моей кровью, наши страны в состоянии противоборства, и я не могу свой военный опыт и знания передавать армии потенциального противника»¹⁸.

Участники вечера приняли обращение к президенту России:

вернуть награды Григоренко его семье (указом президента Петру Григорьевичу посмертно возвращено генеральское звание, но награды почему-то не возвращают);

издать труды генерала (на Западе они давно изданы);

открыть архивы П.Г. Григоренко, находящиеся в госбезопасности; на стене академии им. Фрунзе установить мемориальную доску;

помочь вернуться на Родину вдове Григоренко (Зинаида Михайловна одна осталась в Америке), вернуть ей квартиру на Комсомольском проспекте, из которой эту семью выкинули;

наконец, сам Комсомольский проспект переименовать в проспект имени генерала Григоренко.

¹⁷ Точнее бы сказать, скромно, т. е. был человеком среднего достатка. А, вообще, для многих жителей бывшего СССР даже американская бедность выглядит порой как преуспевание. Так что подобные оценки следует принимать с известной осторожностью. – *Примеч. А. Г.*

¹⁸ Эти слова, не принадлежащие самому П. Г., представляют вольное и несколько приукрашенное изложение мотивов его отказа. На самом деле в его основе лежал конфликт с присягой, принятой им в рядах Советской армии. Ни о какой пролитой крови в отказе речь не шла, просто Григоренко до конца дней оставался верен выстраданной им идее правозащиты, которая, среди всего прочего, включает в себя и право юридическое. Так что заключенная в известной поговорке мудрость «закон что дышло...» была для него неприемлема в принципе. – *Примеч. А. Г.*

Нужно не просто переименовать проспект, но и сделать все, чтобы имя Григоренко укоренилось в народном сознании, иначе переименование будет выглядеть как очередная конъюнктура властей.

Я не могу представить на проспекте имени генерала Григоренко прогуливающегося академика Морозова. Или – или. Или Григоренко – не генерал, или Морозов – не академик.

...Петр Григорьевич умирал долго и тяжело.

А когда оставалось жить считанные дни, он сказал Зинаиде Михайловне: «Упакуй ты меня в чемодан как-нибудь и отвези на Родину, ну что тебе стоит...»

«Я часто задумываюсь, почему мне так тяжело в эмиграции. Я уехал бы на Родину, даже если бы знал, что еду прямо в психиатричку».

В конце вечера зазвучал голос Галича.

Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи
– Тот старый мотив –
тот давнишний, забытый, запетый!
И я упаду,
побежденный своею победой,
И ткнусь головою,
как в пристань,
в колени твои!
Когда я вернусь.
А когда я вернусь?

Этот романс Александр Галич написал в 1977 году, незадолго до своей смерти. А Петр Григорьевич скончался десять лет спустя, действительно в феврале.

«Когда я вернусь...» В глубине сцены диaproектор высвечивал украинское кладбище под Нью-Йорком, одинокий крест.

СОБЫТИЕМ БЫЛ ОН САМ¹⁹

Любой мемуарист всегда балансирует между двумя жанровыми полюсами: повествованием и исповедью. В мемуарах советских диссидентов жанр исповеди приобретает особый смысл: это чаще всего рассказ о прозрении и (или) самоосвобождении.

Человек может изначально, с детства или юности, отвергать официальную идеологию, презирать и ненавидеть исходящие от нее ложь и лицемерие и в какой-то момент, по тем или иным причинам, переходит от «катакомбного» инакомыслия к открытому противостоянию. Но бывает и по-другому. В течение многих лет мемуарист искренне верит в то, что наша страна строит светлое будущее для всего человечества, что наш политический и общественный строй – самый справедливый и самый прогрессивный в мире, что впервые в истории нам удалось воплотить в жизнь мечту о справедливой власти. Он не слепой, он видит имеющиеся недостатки, несуразности и жестокости, но до поры до времени считает, что все это носит не системный, а случайный характер. Переоценка ценностей, когда и если она начинается, оказывается, как правило, процессом долгим, мучительным и требующим незаурядного интеллектуального мужества. Если это мужество сочетается с гражданским чувством, решительностью и интересом к общественной активности, то во второй части мемуаров мы с большой вероятностью обнаружим автора среди диссидентов. Именно к этой категории относятся воспоминания Петра Григорьевича Григоренко, комсомольца 1920-х годов, партийца в 1930–1960-е, профессионального военного.

Каким образом выпускник Академии Генштаба, элитный генерал, преподаватель Военной академии им. Фрунзе превратился в одного из самых известных правозащитников? В какой степени характер автора был сформирован двадцатью восемью годами армейской службы, а в какой – вопреки ей? Не знаю. В середине 1990-х годов мне пришлось много общаться с советскими генералами, и, боже мой, сколько среди них оказалось лгунов, трусов, людей, больше всего на

¹⁹ Вступительная статья к русскому изданию мемуаров П.Г. Григоренко, см.: Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крысы... М.: Звенья, 1997.

свете боящихся ответственности и больше всего на свете дорожащих не своим именем, а своей карьерой! Были, впрочем, и счастливые исключения, но, увы, именно исключения. Может быть, дело в том, что Петр Григорьевич принадлежал к другому поколению? Я все же думаю, что основа была чисто личностная, я бы сказал, биологическая. Ведь военная карьера и военная дисциплина – это такие вещи, которые отнюдь не способствуют развитию чувства гражданской ответственности и свободному следованию велениям собственной совести. И то, что даже на этом выжженном поле прорастают всходы, обнадеживает относительно неистребимости человеческой природы – в настоящих людях, конечно.

В первой части мемуаров, где автор описывает свою армейскую карьеру, перед читателем проходит целая портретная галерея его сослуживцев, многие из которых были или стали всенародно известными советскими военачальниками. Большинство из них выглядят вполне достойными людьми, о некоторых он пишет с презрением, как о бездарных карьеристах. Оценки и суждения Григоренко исходят, на первый взгляд, из двух критериев: профессионализм и человеческая порядочность. Постепенно начинаешь понимать, что автор не разделяет эти два понятия. Не случайно большая часть уважительных отзывов приходится на период 1941–1945 годов: вероятно, война – годы, когда многие наши сограждане чувствовали себя более свободными, чем в довоенное и послевоенное время, – дала возможность людям его профессии проявить то лучшее, что было в них заложено.

Я узнал Петра Григорьевича уже тогда, когда с его военной и партийной карьерой было покончено, а громкая диссидентская слава еще не пришла к нему в полной мере.

...9 октября 1968 года. Во двореке около здания районного суда на Серебрянической набережной – толпа. Судят участников демонстрации на Красной площади 25 августа – отчаянного протеста против вторжения Советской Армии в Чехословакию, но в зал никого, кроме родственников обвиняемых и специально подобранной публики, не пускают. До этого момента я не соприкасался плотно с тем кругом, в котором зародилось и развивалось правозащитное движение, хотя и подписал две-три петиции. Так что среди собравшихся у дверей суда у меня было мало знакомых. Однако этого человека я заметил сразу – его нельзя было не заметить. Он опирался на внушительную трость, и сам был необычайно внушителен: пожилой, высокий, мощный, с уверенными и твердыми манерами, он сразу бросался в глаза среди друзей и единомышленников подсудимых – разношерстной толпы московских интеллигентов, густо прослоенной оперативниками КГБ, изображавшими «возмущенный советский народ». С последними он

время от времени вступал в полемику, и тогда его рокоющий, спокойный баритон был слышен даже на приличном расстоянии.

Кто-то подвел меня к нему и представил нас друг другу. Я кое-что слышал и раньше об опальном генерал-майоре, отсидевшем несколько месяцев в психбольнице и разжалованном в рядовые за попытку создания подпольного «Союза борьбы за возрождение ленинизма». Вместе с Петром Григорьевичем мы отправились к какому-то должностному лицу, то ли коменданту суда, то ли кому-то из судей, объясняться: суд открытый, почему же в зал не пускают публику? Разговор, конечно, получился пустой: зал полон, мы не можем проводить судебные заседания на стадионе, да и вообще, что за событие такое, подумаешь – хулиганов судят (подсудимые обвинялись по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190-1 – «клевета на советский общественный и государственный строй» и ст. 190-3 – «действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Но после этого совместного визита мы с Петром Григорьевичем почувствовали себя как бы уже близкими знакомыми.

В тот день я перезнакомился с очень многими из тех, с кем тесно общался и работал в течение последующих лет и десятилетий. Но Петр Григорьевич был не просто первым – он стал если не одним из самых близких мне, то уж, во всяком случае, одним из самых уважаемых мною людей.

Григоренко пишет, что его участие в правозащитной деятельности лишь в нескольких случаях можно назвать «событиями». Но событием был он сам – со своей неостановимой активностью и безоглядой решительностью, с бесстрашием мысли и бескомпромиссностью в поступках. К своему гражданскому долгу, как он его понимал, Петр Григорьевич относился так, как, вероятно, перед этим относился к воинской присяге, и не пытался избежать неизбежных последствий. Конечно, характер не мог не привести его «в диссиденты», но если бы во второй половине 1960-х годов он не нашел единомышленников и друзей вне привычного для него круга общения, он, конечно же, стал бы диссидентом-одиночкой. Да он, собственно, уже и был им. Разве его выступление на партконференции в 1961 году не поступок диссидента-партийца? А его «Союз борьбы», в который вошли исключительно его сыновья и несколько близких родственников²⁰, – не акция диссидента-подпольщика? Петр Григорьевич, по-моему, прав: в подполье действительно частенько водятся крысы (хотя утверждение о том, что только крыс там и можно встретить, представляется мне

²⁰ Ковалев здесь не точен – в СБЗВЛ было действительно несколько родственников П. Григоренко, но они не составляли большинства его членов. – *Примеч. А. Г.*

публицистическим преувеличением, характерным для его страстной и беспокойной мысли). Но там, куда спускался он сам, крыс не было и быть не могло.

Выше я употребил слово «единомышленники». Я настаиваю на этом слове, хотя в конце 1960-х годов Григоренко, в отличие от большинства из нас, был еще убежденным марксистом-ленинцем. Но диссидентов объединяли не те или иные идеологические парадигмы, а нечто большее: неприятие лицемерия и лжи, господствующих в общественной жизни, и уверенность, что можно (П.Г. сказал бы: «нужно») жить и по-другому. Вопрос «Како веруеши?» не считался в этой среде чем-то очень существенным. Иное дело, что для многих наших «ленинцев» противоречие между ценностями права и свободы и учением, откровенно отрицающим свободу, а праву отводящим подчиненную и утилитарно-прикладную роль, со временем становилось нестерпимым; большинство из них в конце концов осознавали неизбежность выбора – и выбирали свободу. Так было и с Петром Григорьевичем: он перестал быть марксистом просто потому, что привык додумывать все до конца. Но это случилось позже. А тогда его коммунистические убеждения нисколько не мешали ни мне, человеку скорее антикоммунистических взглядов, ни кому бы то ни было еще из нашей компании.

Роль Григоренко в становлении общественного движения 1960–1980-х годов – прежде всего нравственная. Попав в новую для себя обстановку – нервную, напряженную, насквозь пронизанную интеллигентскими, сугубо «гражданскими» комплексами, – он остался самим собой, в полной мере сохранил присущую ему прямоту и ясность суждений, чистоту души, доходящую иногда до наивности. И это не могло не влиять на тех, кто тесно с ним общался.

В сущности, активное участие Петра Григорьевича в формировании правозащитного движения было очень недолгим: с 1967–1968 и до мая 1969 года, когда его арестовали²¹. (Я не говорю о 1974–1977 годах – от освобождения до отъезда в США; это было совсем другое время, когда правозащитная работа уже стала для многих из нас чем-то вроде профессии.) Но отпечаток его личности сохранился не только в его статьях и книгах, он и несколько подобных ему людей задал движению нравственный уровень на много лет вперед.

²¹ На самом деле П.Григоренко стоял у самых истоков правозащитного движения в СССР. Собственно его первое публичное выступление в 1961 году уже было по сути правозащитным. Сразу же после освобождения из заключения в 1965 году он активно ищет единомышленников, и его участие в демонстрации 5 декабря 1965 года, которая стала «днем рождения» правозащитного движения, отнюдь не было случайным. – *Примеч. А. Г.*

Есть все же один эпизод, в котором Петр Григорьевич сыграл не просто важную, а ключевую роль. Это – дискуссии весны 1969 года о том, должны ли правозащитники создавать свои открытые и гласно действующие общественные организации. Григоренко был яростным сторонником точки зрения, что – да, должны. Это стало его любимой идеей, и, надо сказать, он очень болезненно переживал то обстоятельство, что не все из нас были с ним согласны. Следы этой обиды читатель найдет и здесь, в его мемуарах. Кстати, меня П.Г. зачисляет в свои сторонники. Это не совсем так: я, если и поддерживал его в тех спорах, то отнюдь не безоговорочно. Скорее, можно сказать, что я не был непримиримым оппонентом этой идеи. Аберрация памяти мемуариста вполне понятна: с одной стороны, он очень хорошо относился ко мне, а с другой – ему была очень дорога идея организации. Настолько, что некоторые из его оценок, и без того страстных, доходят здесь до пристрастности, и всегдашняя его трезвая и спокойная доброжелательность отступает на задний план. В мемуарах есть еще несколько подобных оценок, излишне доброжелательных или излишне недоброжелательных, с которыми я не склонен соглашаться, – уввы, уже никогда не придется поспорить о них с автором.

Что до споров весны 1969 года, то Григоренко остался в меньшинстве; боюсь, разочарование и обида сыграли не последнюю роль, когда он принимал решение о той роковой поездке в Ташкент, где его арестовали. Впрочем, арест был, конечно, запланирован заранее и вряд ли его удалось бы избежать. Но своим арестом он добился того, чего не мог добиться аргументами: через несколько дней, 20 мая, была создана первая в нашей стране открыто действующая независимая общественная организация – Инициативная группа защиты прав человека в СССР.

Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что Петр Григорьевич оказался гораздо дальновиднее нас. Во-первых, Инициативная группа действительно позволила до некоторой степени структурировать правозащитную работу. Во-вторых, мы «явочным порядком» реализовали гарантированную Конституцией свободу ассоциаций. И, наконец, в-третьих, ИГ продемонстрировала многим, что не всякая оппозиционная гражданская деятельность – это «политика», что может существовать и неполитическая (например, правозащитная) общественная активность. Последнее, при тогдашней неприязни интеллигенции к самому слову «политика», было особенно важно. Так или иначе, именно Григоренко можно считать одним из основоположников независимой общественности в нашей стране. И одно это обеспечивает ему место в истории.

Отечественное издание книги Григоренко – это и в самом деле важное событие. Пожалуй, не следует относиться к ней как к стопроцентно надежному историческому источнику: когда Петр Григорьевич, на восьмом десятке лет, находясь в изгнании, взялся за мемуары, он был практически отрезан от документов. Поэтому в книге немало ошибок памяти, вроде неточностей в датах, биографиях, обстоятельствах. И, конечно же, на его воспоминаниях сказывается закон жанра: чем ярче личность мемуариста, тем сильнее излагаемые события окрашиваются в специфические, только данному человеку присущие тона. Я не могу с этой точки зрения судить о первой части воспоминаний, но что касается второй, «диссидентской» части, здесь у меня сомнений нет. Достаточно взглянуть на названия глав, посвященных диссидентскому периоду: «Партизанские бои», «Встречное сражение», «В осаде» ... Ясно, что подобная военно-полевая образность не могла быть близка правозащитникам, людям, в большинстве своем сугубо штатским. Отчасти – но лишь отчасти! – эта специфическая особенность мышления автора сказывается не только на лексике, но и на оценках, и на анализе событий и явлений в диссидентской среде.

И все же: самую важную задачу мемуариста – рассказать о времени и о себе и о себе во времени – Григоренко выполнил с блеском. Я уверен, что его книга войдет в золотой фонд русской мемуарной литературы и что это, малотиражное и «юбилейное» издание – не последнее. Воспоминания Григоренко еще будут изучаться и комментироваться специалистами.

И, разумеется, еще не раз будут изданы в России.

ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ²²

Мы не лукавили с тобой...

Т. Шевченко. Судьба

В своих «Воспоминаниях» Григоренко часто упоминает, как со своим другом, сыном священника, мечтал стать мостостроителем. Не довелось.

Друг выбрал мученическую профессию священника, ведь пришлось время спасать души. Григоренко тоже пошел по другому пути, точнее – другими путями, которые в конце концов привели его на путь, избранный другом. Спасая собственную душу, Григоренко вошел в движение, которое возрождало в тоталитарных условиях морально ответственную личность.

Логично, что на данном пути он в конечном итоге вернулся к христианству. Но в другой, символической, плоскости Григоренко осуществил и мечту о строительстве мостов. Мостом стала не только его правозащитная борьба, но и путь к самостоятельной Украине. И этот путь начался тогда, когда Григоренко соединил движение крымских татар с правозащитным, что увеличило силы как правозащиты, так и крымско-татарского национального движения. Правозащита вывела национальную проблему крымских татар сначала на всесоюзную, а потом и мировую арену. Для самого Григоренко эта связь стала мостом к украинскому национальному движению.

Как бы ни упрекали Григоренко за то, что он был членом не только Украинской Хельсинкской группы, но и Московской, тот факт, что он был представителем Украинской группы в Москве, имел не только прагматическое, но и политическое значение. Благодаря этому антиимперская идея вошла в демократическое правосознание России, и это облегчило в 1991 году выход Украины из Союза.

Он и здесь строил стратегический мост взаимопонимания, который, как и еврейский, и татарский, еще сыграет свою роль в ожидаю-

²² Выступление на вечере памяти Петра Григоренко в научном обществе им. Т. Шевченко в Нью-Йорке 16 октября 1992 года (перевод с украинского Андрея Григоренко).

щих нас дальнейших коллизиях, тем паче, что официальная Москва снова явно встает на империалистический путь.

Однако за всеми этими символическими мостами мне видится нечто еще более глубинное, чем именно и можно было бы очертить жизненный путь Григоренко. Хотя по отношению к нему сам оборот «жизненный путь» звучит немного фальшиво, поскольку жизнь генерала не вмещается в однолинейную формулу. И когда читаешь его воспоминания, бросается в глаза одна яркая закономерность: жизнь Григоренко словно распадается на совокупность отрезков пути, которые следуют одной и той же структуре. По каким-то обстоятельствам, исходя из своих собственных, внутренних мотивов или даже случайно, Григоренко начинает на каком-то участке, почти с нуля, учиться, овладевает специальностью, совершенствует то, чем занимается, делает успешную карьеру и вдруг... переходит на новый участок. Крестьянский ребенок, без матери и детства, слесарь, машинист, студент-инженер, студент Военной Академии, военный-сапер, офицер Генштаба, боевой офицер, военный ученый, завкафедрой военной кибернетики, политзек в психотюрьме, диссидент, политический деятель на Западе.

Еще более резки изменения в духовной и идеологической плоскости. Глубоко верующий школьник, комсомольский деятель, член ЦК ЛКСМУ, член партии и пропагандист – а дальше? Дальше: антипартийный ленинец, диссидент, христианин, украинский национал-демократ...

В советских условиях достичь генерал-майорского звания и руководства кафедрой в Военной Академии означало пройти долгий путь отречения и самоотречения, прегрешений и даже преступлений. Не с этим ли связаны резкие перемены в григоренковской биографии? Может вовсе не случайно константа изменения пути сопровождается у него рефреном-рефлексией: «случай спас от», «судьба счастливо обошлась», «Бог миловал». Бог миловал, и Григоренко случайно не принял участия в уничтожении УПА и подавлении Западной Украины. Григоренко допускает, что в то время он мог бы пойти и на это... Недаром упоминает он о своем участии в уничтожении трех церквей в Белоруссии и России. Но в те времена коммунистической ослепленности он все-таки нашел в себе силу отказаться от подобной работы. Поэтому о грехах и преступлениях коммунистического генерала можно говорить только в условной, умозрительной форме. Если бы он не оставил комсомольскую и партийную работу, если бы не ушел из армии в науку, а из военной науки в диссидентское движение, то был бы еще один генерал Громов или академик Глушков, отвоевавший в начале 1960-х годов Украине Институт кибернетики ценой

вступления в партию, к которой относился негативно, а умер членом ЦК КПУ, вице-президентом Академии наук УССР и человеком, сделавшимся препятствием на пути развития компьютерной революции в Украине (как о том свидетельствуют сотрудники Глушкова).

Эта антипараллель с Глушковым делает наглядной сущность жизненного пути Григоренко. Глушкова можно отнести к типичному технократу того времени, типу фаустовского человека, активного и талантливого, который, однако, четко и осознанно преследует земную, ограниченную цель, находит способы ее достижения, опираясь на волю и магию государства или мефистофелей, идет к ней, подминая под себя людей и обстоятельства и не обременяя себя условностями какой-либо морали. Однако, достигнув своей цели, он оказывается совсем иным человеком. Да и достигнутая цель оборачивается своей противоположностью – гнилым болотом.

В дни своей молодости Григоренко кажется именно таким: он – активный комсомолец, партиец, преобразователь себя и окружающих. Но в дальнейшем в простой, прямой путь искреннего коммуниста словно вмешивается какая-то иррациональная сила: он все время делает шаги в сторону, отклоняясь от своей генеральной линии, как только она становится столбовой дорогой партии и государства. Не сделал доноса на знакомого. Спас свое село от голода. Женится вторично на неблагоденственной женщине и тем фактически поставил крест на большой карьере. Приведу характерную для Григоренко мотивацию отказа принять высокий пост в ЦК: «Лучше пойду в Академию, чем идти недоучкой в аппарат ЦК». Благодаря этой наивно-искренней мотивации судьба расстрелянных расстреливателей, руководителей партии миновала его, и Бог спас от бесчисленных преступлений аппаратчика. Заодно свершилось одно из предсказаний цыганки, которое Григоренко так часто вспоминал в переломные моменты своей жизни: неожиданно для себя Григоренко становится военным.

Обратим внимание, что в то время Григоренко отнюдь не был значительным противником или критиком партии и ничего не имел против партийной карьеры. Противоречие было бессознательным: то, что для него было критерием непригодности, в самой партии не считалось существенным. Аппарат набирался из недоучек, а сама просвещенность, искренность и честность были скорее признаком вражеских или несознательных элементов – националистов, меньшевиков, троцкистов и т. д.

Что же собой представляет этот таинственный фактор, что же все-таки не дало Григоренко стать номенклатурным гомо советикусом и привело к диссидентству? Отвечая на телефонный вопрос журнала

«Континент» о возможности делать что-то полезное для Родины в эмиграции, Григоренко объяснил: «Меня никоим образом не прельщает перспектива быть пожизненным рабом огромной колониальной империи... С чувством огромной гордости и достоинства стал бы я носить звание гражданина значительно меньшей, но независимой и свободной Отчизны моей – Украины». «Жизнь покажет. Во всяком случае, я верю, что все, что делает человек, имея образ Божий в душе, не пропадает бесследно». Вот оно точное слово для всех тех случайностей и прихотей судьбы, которые кардинально меняли путь Григоренко таким образом, что сделали его одной из наиболее ярких фигур движения сопротивления в бывшем СССР, «ведущим деятелем» освободительной борьбы 70-х годов прошлого столетия. Это «образ Божий в душе», пронесенный им с украинского детства до смерти в чужих краях. Воспользуюсь одной из философских метафор русского структуралиста В. Топорова. Григоренко есть некий человек судьбы, человек типа Энея или Авраама. Характерным для таких людей является то, что они никогда не бывают типичными, поэтому Эней не Авраам, а Григоренко – Григоренко.

Вспоминаю, как Петр Якир однажды поздравил меня: «Ну вот, имеем одного генерала и одного академика». Больше не было: только один генерал и только один академик, так как второй – И. Шафаревич – после нескольких акций протеста возвратился в лоно российского империализма и шовинизма. С Фаустом людей судьбы роднит не только отказ от прозябания или желание судьбы. «Дай хоть злой», – умолял Бога в проклятые «Три лета» Шевченко. Судьба выбирает такого человека и, независимо от его личных намерений и целей, проводит через сотни испытаний успехом и несчастьями и приводит к самоосознанию, осознанию метасудьбы, национальной цели-судьбы.

Григоренко она провела от украинских руин 1920 года до времен возрождения украинской самоосознанности. На этом бурном пути взлетов и падений человек сам творит свою судьбу, воссоздает самого себя в этой судьбе и становится достойным этой судьбы. Диссидентский бард Александр Галич не случайно посвятил Григоренко балладу о человеке, родившемся в рубашке: в смиренной рубашке, в счастливой рубашке. Григоренко был именно таким неугомонным человеком, не рабом, а партнером, союзником судьбы. Великой и счастливой судьбы, потому что его судьба стала частью судьбы и России, и его родной Украины, которая, наконец, начала возвращаться к себе – из бреда коммунистической смиренной рубашки, возвращаться к собственной, не навязанной кем-то чужой судьбы.

ОБ ОТДЕЛЬНОЙ РОЛИ П. Г. ГРИГОРЕНКО В РАСПАДЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ

Петр Григорьевич Григоренко – одна из самых известных фигур того ненасильственного, морального сопротивления советскому режиму, которое подрывало и, наряду с другими причинами, подорвало в конце концов его основы. Именно в таком плане след жизни и деятельности Григоренко останется в истории России и Украины, в истории драматического – но все-таки не трагического – распада СССР.

Советский режим распался не потому, что проиграл холодную войну. Ни в наступательном, ни в оборонительном вооружениях, ни в расширении потенциальных плацдармов на мировой арене Советский Союз не проигрывал. Афганистан был серьезным исключением, но все же исключением. СССР проиграл эту негорячую войну, потому что был системой, для которой победа, «окончательная победа», всегда разумелась как победа идеологическая, моральная, психологическая, победа в войне за души. Но именно по этой линии он драматически проигрывал, и не Америке, а своим собственным диссидентам. Можно сказать, что режим как система постепенно потерял самый смысл своего существования. Это был конец, и тут очевидна ключевая роль таких фигур, как Григоренко.

В фундаменте советского коммунизма были заложены вера и надежда, внедряемые в каждого пропагандой и поддерживаемые в каждом насилом, с пеленок и до могилы. Были они изначально внедрены и в сознание Григоренко (как и многих других будущих диссидентов старшего поколения) Но когда он вырвался на простор свободной, критической мысли и режим применил насилие – мерзкое насилие, оно на нем споткнулось!

Как споткнулось на всем правозащитном движении. Давайте разберемся чуть детальнее, почему в начале 1990-х годов распалась советская система.

Экономика? Не сахар, но в советской истории были времена несравнимо худшие. (Кстати о сахаре. В моем деревенском детстве я всегда оставлял недососанный кусочек сахара на следующее чаепитие. А через полвека, в сибирской ссылке, я, как и все, мог купить полкило сахара по ежемесячному талону. Очевидный прогресс.)

Американская программа непробиваемой стратегической обороны? Но она не только не была осуществлена; согласно экспертам Американского физического общества, она неосуществима в случае такого суперпротивника как Россия. И это знали Советы. (Я спросил Э. Теллера на нашей единственной – частной – встрече, состоявшейся в 1986 году: «В чем смысл такой обороны, непробиваемость которой заведомо мало вероятна?» Он ответил, что даже при малой вероятности того, что ответные силы США выйдут дееспособными из первого советского удара, эта вероятность удержит Советы от его нанесения. Я считаю такую оценку не-безумности советских лидеров правильной. Но она не объясняет распада их политической системы.)

Общее технологическое отставание? Да. Но, с другой стороны, один шаг позади в технологическом прогрессе был уже давно встроен в систему, которая в соответствии со своей сутью доверяла своим шпионам гораздо больше, чем своим ученым.

Растущая, как рак, коррупция во всех эшелонах власти? Серьезное дело. Но в закрытом тоталитарном обществе коррупция внутри власти есть частное дело этой власти, между собой решаемое дело. (В 1977, в Лефортово, я узнал от сокамерников о закрытых делах по коррупции прокуроров, секретарей обкомов и т. п. Людям снаружи это было неизвестно. Но семью годами позже, в сибирской ссылке, рабочие-строители спрашивали меня, выступаем ли мы, диссиденты, против коррупции.)

Боязнь восстания? Да, и это было. Ведь уже создана была анти-советская рабочая «Солидарность» в Польше. (И спрашивал меня в 1978 году Каталиков, один из моих следователей в Лефортове: «Я читаю ваши диссидентские заявления. Они становятся все более антисоветскими и резкими. Что, следующий шаг будет призыв к оружию?» Я только ответил, что правозащитники против насилия.) Но система и в этом пункте работала четко. Местные выступления быстро, жестоко и достаточно секретно подавлялись, как это было в Новочеркасске или, скажем, в Караганде. Остальное население страны не знало об этих выступлениях.

Власти могли бы спокойно управлять и дальше без самоубийственных для их системы попыток самоулучшения. Вместо этого они вдруг объявили перестройку и (требуемую диссидентами по крайней мере 20 лет) гласность, хотя и в кастрированной интерпретации. Они начали освобождать политзаключенных!

Зачитав мне в октябре 1986 г. в Лефортово указ о лишении меня гражданства и депортации, двое в штатском сообщили мне изумительную в их устах новость: «Ожидаются перемены в вашем духе, Юрий Федорович. Не спешите ругать нас на Западе». В конце того же года,

уже в Вене, на очередном совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, где Л.М. Алексеева и я представляли общественную часть американской делегации, советский посол Ю. Кашлев открыто объявил, что с целью улучшения отношений с Западом СССР начинает освобождение заключенных по известным статьям УК. Это был прыжок в неизвестность, последствия которого развивались далее по своим собственным законам. Были освобождены, в частности, члены Украинской Хельсинкской группы, ставшей центром мирного освободительного движения в Украине. Напомню, что в октябре 1977 г. Григоренко был одним из ее отцов-основателей.

Итак, никаких срочных материальных причин для начала самоубийственной самореконструкции советской системы не существовало. В этой сфере поражения еще не было. Однако в нематериальной сфере унижительное поражение было налицо. Оказалось, что истинным гарантом существования этой утопической системы был не ее ядерно-ракетный арсенал и даже не свирепая служба «безопасности», а ее агрессивно отмываемый и подпудриваемый образ – в мире, в стране, и в мозгах самих ее вождей. И вот однажды все, включая короля, обнаружили, что король просто гол.

Тут мы и подошли к отдельной роли П.Г. Григоренко в распаде советской системы. Я говорю «отдельной роли», потому что одновременно действовали и другие выдающиеся фигуры мирного сопротивления советскому тоталитаризму. Были «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» А. Сахарова, был «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына и была громадная четвертьвековая работа большого множества других диссидентов – правозащитников, политических диссидентов, национальных диссидентов, религиозных диссидентов и так далее, и так далее. Множество имен можно найти, конечно, и в замечательных мемуарах самого Григоренко. Каждый диссидент-правозащитник был костью в пропагандистском горле советской системы, но Григоренко как личность был особая кость. Его влияние на людей внутри страны – а с ним сталкивалось исключительно много народа на всех уровнях общества – вытекало из его «простого» происхождения, высокого генеральского положения, его богатой биографии как ветерана Отечественной войны и безусловного патриота и его общительного характера. Прибавим его известные профессиональные качества как военного и инженера, его здравый ум, умение четко формулировать и просто объяснять, а также очевидную честность и открытость. Его исключительную смелость там, где обычные генералы трусят, опасаясь конфликтовать с властью. Наконец, его презирающую палачей стойкость перед лицом психиатрических пыток. Все это привлекало к нему людей самого

разного толка и самых разных убеждений. В отличие от многих других замечательных правозащитников, он ни в коей мере не был далек от народа. Отсюда особая реакция режима на появление в оппозиции такого человека, как генерал Григоренко.

Надо также иметь в виду, что где-то, не позже 1970-х годов, уже сравнительно большая масса народа была готова слушать критику режима не донося. Это хорошо видно из воспоминаний Григоренко «В подполье можно встретить только крыс...» Я знаю это и по своему опыту.

Григоренко прекрасный публицист. Его политические убеждения – всегда на стороне бедных – можно было бы назвать левыми и даже социалистическими, если бы не было там так много простого глубокого сочувствия к людям. Что означает, что он был на самом деле правозащитник от природы.

На мою первую встречу с Петром Григорьевичем в 1974 году меня подтолкнул Игорь Шафаревич. П.Г. только что вернулся в Москву из последней психушки. «Почему, выпустив столько сильных заявлений в защиту Плюща, Вы не сделали ничего подобного в защиту генерала Григоренко», – спросил меня Шафаревич. Это был ужасный упрек. Я пробормотал, что сам только чуть больше года как из административной, де-факто, ссылки. Но он это знал. На следующий день я попросил, кажется Алика Гинзбурга, захватить меня и мою жену Ирину в гости к Григоренкам. После этого я бывал у них довольно часто, иногда с Ириной. Мне запомнилось, что там всегда было много народу, почти как у Сахаровых, а, впрочем, как и в нескольких других «диссидентских» домах. Было всегда несколько таких центров, образующихся вокруг еще не арестованных или уже не арестованных фигур. Это зависело также и от жилищных условий этих фигур, и от территориального местоположения домов. Были собрания организованные – прессконференции, собрания групп, скажем, Международной Амнистии или Московской Хельсинкской группы (называвшейся тогда по-другому), неофициальные домашние семинары и т. п. Например, на квартире Григоренко было объявлено о создании Украинской Хельсинкской Группы, на моей квартире было объявлено о создании Литовской Хельсинкской Группы. Но в большинстве это были просто неорганизованные появления «на огонек». Мы, диссиденты разных направлений, виделись друг с другом, делились неофициальными новостями, часто с помощью только записочек, иногда дискутировали, хотя это было не очень продуктивно в обстановке тотального прослушивания, а также составляли открытые обращения и собирали подписи под ними в защиту незаконно репрессированных.

Конечно, наиболее важная для меня часть правозащитной деятельности, и, в частности, совместной работы с П.Г. Григоренко, была связана с Московской Хельсинкской группой, которую я организовал в мае 1976 года и которая существует и активна по сию пору. Как вспоминает П.Г., в марте 1976 года я начал убеждать правозащитников и, в частности, его, что следует использовать Хельсинкские соглашения в наших правозащитных целях. Вначале он не поддерживал эту идею и согласился дать свое имя, важное с точки зрения общественного резонанса публикуемых Группой документов, лишь в последний момент, накануне моего заявления о ее создании. (Это заявление я сделал на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова и при его содействии. На моей квартире телефон был давно обрезан.) По инициативе Петра Григорьевича первый документ Группы информировал главы правительств, подписавших Хельсинкский заключительный акт, о нарушениях этого Акта во время суда над Мустафой Джемилевым и в других действиях властей против активистов крымско-татарского движения. (Все документы МХГ догорбачевского периода, их 195, теперь изданы и переизданы в Москве и могут быть прочитаны.)

Этот первый, можно назвать его «григоренковский», документ МХГ был представлен зарубежным корреспондентам 15 мая 1976 года. (Мы иногда приглашали и советских корреспондентов, но они никогда не являлись.) Так Группа начала работать. Кроме Григоренко, в первый состав группы вошли и другие известные «ассы» правозащитного движения – А. Марченко, А. Гинзбург, Л. Алексеева (теперешний президент МХГ), А. Щаранский, Е. Боннэр, М. Ланда и мало известные тогда В. Рубин, М. Бернштам, А. Корчак.

Я в это время был задержан и сидел в подвале своего районного КГБ. Но в это же самое время ТАСС сообщало, но только гражданам Запада, что Орлов – старый антисоветчик (что было правдой), что он давно забросил науку (что было клеветой), что группа антиконституционна (что было, между прочим, тоже правдой – вспомните, какие были статьи в той, советской, конституции) и что Орлов предупрежден о том, что дело будет передано в прокуратуру, если его Группа начнет работу.

Этим громким официальным заявлением, направленным западным странам-участницам Хельсинкских соглашений, советский режим сам определил ту высокую международную планку, по которой отныне оценивалась работа Московской Хельсинкской группы.

«Только это заявление ТАСС открыло мне глаза, – пишет в своих мемуарах Григоренко. – Я понял, что создание группы – это гениальная находка правозащиты».

Что касается открытия глаз, то П.Г., очевидно, имеет в виду наши предыдущие расхождения в оценке потенциальной эффективности группы по наблюдению за выполнением советской стороной соглашений, заключенных по ее же инициативе. Действительно, мы все понимали, что «Хельсинское совещание – это “фокус”, трюк советской дипломатии», – как пишет Григоренко в той же книге. Расхождение наше состояло лишь в том, что трюку я предлагал противопоставить «трюк», а он вначале считал это бесполезным.

У меня были глубокие основания надеяться, что создание «Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР», как я ее назвал, окажется для советского режима серьезной проблемой именно потому, что режим сам инициировал эти соглашения, и мир знал об этом. Я говорил (и написал позже в одном из документов Группы), что при тогдашней нестабильности в отношениях с Китаем, СССР очень нуждался в Хельсинкских соглашениях, несмотря на правозащитные обязательства, так как эти соглашения были эквивалентом Европейского мирного договора в части фиксации послевоенных западных границ. Но в этом и был советский трюк, говорил и позже писал Григоренко. Настоящий мирный договор зафиксировал бы сроки вывода советских войск из Восточной Европы и, кроме того, как указывали и многие другие диссиденты, пересмотрел бы включение Прибалтики в состав СССР. То, что Запад согласился на советский вариант соглашений о взаимной безопасности, советские правозащитники считали предательством Запада по отношению к оккупированным народам Восточной Европы.

Все же, говорил я, в Хельсинкских соглашениях Запад связал международную безопасность с некоторыми совершенно невыносимыми для СССР обязательствами по правам человека. Очевидно, чтобы сохранить важные для него другие статьи соглашений, Брежнев был вынужден формально согласиться на правозащитные статьи. Теперь от нас, правозащитников, зависит, будет ли Запад требовать их выполнения. Без нас этого точно не произойдет хотя бы потому, что у Запада не будет доказательств нарушений этих статей.

Кроме того, я напоминал, что концепция глубокой связи между правами человека и международным миром и безопасностью, поставленная Западом в основу Хельсинкских соглашений, это также и наша идея, к которой советские правозащитники, начиная с Сахарова, пришли независимо. В этой части Хельсинкские соглашения идейно близки нам. В декларации об образовании Группы я указал на эту связь между правами человека и международной безопасностью.

Петр Григорьевич вскоре полностью согласился со мной. Затем он и сам помог организовать Украинскую Хельсинкскую группу.

В своих оценках эффективности западного давления на советский режим, сделанных им до его распада, Григоренко был довольно пессимистичен. Мы не знаем, что бы он сказал теперь, когда этот распад произошел. Но он бы не забыл, как забывают теперь многие из диссидентов, полагающих, что «ничего не изменилось», что в результате распада СССР появилась, например, независимая Украина. Я думаю, что он был бы этим счастлив.

*Итака, Нью-Йорк
2007 год*

НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВООЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА ГРИГОРЕНКО²³

Тридцать три года своей жизни Григоренко отдал Советской армии и только последних 16 лет правозащитному движению. Но, несмотря на блистательные успехи военной карьеры (это признают друзья и недруги бывшего генерала), фигура Петра Григоренко выделяется в первую очередь в контексте 1960–1970-х годов, периода его инакомыслия, защиты прав крымско-татарского народа, участия в создании Московской и Украинской Хельсинских групп, в его упорном и небезуспешном пробивании национальных проблем на международном уровне. Драматичную историю генерала можно было бы назвать возвращением блудного сына. Как честный и порядочный человек, он, конечно, всегда имел Украину в своем сердце – и это не просто красивые слова.

Вот примера. Прожив три четверти жизни в русскоговорящей среде, женатый на русской, генерал разговаривал по-русски, конечно же, не только на службе и на улице, но и дома. При этом он научил своего сына родному языку – и присутствующий здесь Андрей, который никогда не учился ни в одной украинской школе, не только свободно общается с нами по-украински, но и проблемы Украины принимает близко к сердцу, как свои собственные.

Второй пример. Когда в 1985 году у него случился инсульт во время поездки в Денвер, он был в иноязычной среде (английским он не овладел, как и я). Тогда ему нашли какого-то русскоговорящего для необходимой коммуникации²⁴. Но общения не получилось, хотя он

²³ Выступление на Четвертых ежегодных Григоренковских чтениях в Колумбийском университете. Нью-Йорк, 16 февраля 2005 г. (перевод с украинского Андрея Григоренко).

²⁴ Тут Надя не совсем точно передает события. Во первых, инсульт случился у П.Г. в Канзас-Сити. Во вторых, вылетев практически сразу после того, как мне позвонили из университета, в котором во время лекции у отца случился инсульт, я оказался около его постели через несколько часов, когда он еще не успел прийти в сознание. Придя же в себя, он действительно говорил со мной по-украински, но для него это было совершенно нормально: мы очень часто общались с ним по-украински на протяжении всей моей жизни. Когда же на другой день прилетел, что бы мне помочь, Миша

все время говорил что-то. Думали, что больной бредит. Однако впоследствии оказалось, что его не понимали, потому что он говорил на украинском языке – первой вернулась материнская речь.

Конечно, все это можно воспринимать как лирические детали заикленных на языковом пункте украинцев. Но можно усмотреть здесь и проявление феноменальной нестандартности генерала Григоренко, который до конца жизни так и остался генералом, хотя и был разжалован в рядовые, после того как восстал против режима в начале 1961 года. Но его, патриарха правозащитного движения в СССР, считали генералом и на мирных фронтах правозащиты. Неудивительно, что в случае украинских правозащитников он – предтеча нынешней оранжевой революции в Украине, равно как для крымских татар Григоренко – их национальный герой.

Важность борьбы за национальные права угнетаемых народов Петро Григоренко осознал еще в 1960-х годах, и в дальнейшем до конца жизни эти проблемы были сердцевиной его правозащитной деятельности.

Неоднократно он сталкивался с непониманием своей позиции. Некоторые из его российских коллег считали эти проблемы надуманными, узкими для демократического движения. С другой стороны, многие украинские националисты корили его за распыление национальной проблемы, оттесняемой борьбой за права человека, против парткратического режима бывшего СССР и т. д.

Григоренко был по-генеральски тверд в своих убеждениях. Впервые выступив перед крымскими татарами в Москве на праздновании 72-ой годовщины их защитника Алексея Костерина 17 марта 1967 года, он четко заявил: «Принадлежащего по праву, не просят, а требуют. Начинайте требовать. И требуйте не лоскутков, не кусочков, а всего, что у вас незаконно отобрали»²⁵. После этого он стал лидером крымско-татарского движения и заплатил за свою твердость годами самой страшной психиатрической неволи.

Украинские правозащитники прибегали к Григоренко, как к своему защитнику, постоянно, начиная с первой половины 1960-х годов. А в 1976 году он вполне естественно и логично стал членом-основателем Украинской Хельсинкской группы.

Мы с Петром Григорьевичем встретились только в Америке, в ноябре 1978 года, и в том же самом месяце вместе приняли участие в самом высоком форуме украинской диаспоры – съезде Всемирного

Макаренко, отец мог говорить с ним и по-русски. Полная же утрата русского у него действительно произошла, но позднее, после второго инсульта. – *Примеч. А. Г.*

²⁵ Текст этого выступления в приложении. – *Примеч. А. Г.*

Конгресса свободных украинцев. Помню, какую волну недовольства какой-то части делегатов вызывало то место в выступлении Григоренко, где он отметил: «Конечно, я хочу, чтобы Украина была самостоятельным независимым государством, но мне совсем не безразлично, какой она будет – демократической или фашистской».

Тогда же, в конце 1978 года, он основал зарубежное представительство Украинской Хельсинкской группы с официальным названием «Права Человека в XX веке». В 1974 году в Вашингтоне проходило Сахаровское слушание. Оно было весьма насыщенным, но Григоренко настоял на том, чтобы в повестку Сахаровских слушаний включили отдельный доклад о национальных проблемах в Советском Союзе. И добился. Правда, определенная часть участников после доклада атаковала генерала, заявляя что, мол, он унижает русских и умаляет их проблемы (дискуссия происходила в значительно более острой форме).

Григоренко выстрадал свои убеждения, в частности, и в отношении национальных проблем, и твердо их отстаивал на различных форумах.

Ситуация в Украине была темой многих заявлений и выступлений Петра Григоренко, в частности, на Мадридском совещании по безопасности и сотрудничеству на Европейском континенте в 1982 году, во время его многочисленных встреч с руководителями европейских государств. Петро Григорьевич не дожил не только до оранжевых событий в Украине, всколыхнувших весь мир, но и до свержения советской системы. И, не смотря ни на что, идеи, которые он исповедовал, – идеи человеческой ответственности, свободы и ценности каждого человека – проросли в выступлениях оранжевой молодежи Украины.

Мне кажется, что сейчас сделались достаточно размытыми такие терминологические понятия, как национальный, националистический, народный. Этими терминами достаточно произвольно пользуются и в журналистике, и в политике. Мне трудно понять, например, недавнее выступление перед одесситами государственного секретаря Украины Александра Зинченко, в котором он подчеркивал необходимость новой общенациональной идеи. Но в многонациональной Украине говорить надо, наверное, не о национальном, а о всенародном единстве. Это только один из примеров.

Среди молодых хозяев современной Украины еще много брожения и неопределенности – пожалуй, это естественные признаки национального становления. И все же я очень хочу надеяться, что эта молодежь сумеет отстоять свою победу, особенно если изучит трудный жизненный опыт своих предшественников, в частности, таких, как генерал правозащиты Петро Григоренко.

Я ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО МНЕ СТЫДНО БЫТЬ РУССКИМ

Из книги «Записки диссидента»²⁶

С 1968 года инакомыслящие, хотя и не всегда четко, делились на «политиков» и «моралистов»: на тех, кто думал о Движении как о зародыше политической партии и хотел выработать программу политических и социально-экономических преобразований, и на тех, кто хотел стоять на позициях морального непризнания и неучастия в зле режима. Деление условно, поскольку каждый на какую-то долю был моралист и на какую-то – политик. Даже Сахаров, в своих обращениях к властям предлагая программу социально-экономических изменений и критикуя разрядку, выступал в роли политика.

Дебатировался также вопрос, можно и нужно ли придать возникающему движению какие-то организационные формы. Красин сказал, что стоит организовать какой-нибудь комитет, он тут же в полном составе будет арестован, я ответил, что власти скорее всего будут его игнорировать, и только постепенно его члены окажутся в тюрьме под разными предлогами – я оказался прав. Для обсуждения этого Петр Григоренко, Лариса Богораз, Анатолий Марченко, Павел Литвинов, Виктор Красин, Петр Якир и я в начале июля поехали на дачу к Алексею Костерину.

Я предложил создать Комитет защиты советской конституции – лицезмерная «сталинская конституция» содержала статьи о свободе слова, собраний, демонстраций и т. д. и могла служить юридическим прикрытием для комитета; идея использования «снизу» того, что «наверху» рассматривалось как не более чем декоративное украшение суровой действительности, была реализована семь лет спустя путем создания Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Я предлагал далее структуру трехслойного пирога: средний слой – наиболее известные участники Движения, такие как Григоренко или Литвинов, вошли бы в Комитет; верхний слой – те академики, писатели, режиссеры, кто относился к нам с симпатией и еще не

²⁶ Амальрик А. Записки диссидента. М.: Слово. 1991.

был напуган, поддерживали бы Комитет своим авторитетом; нижний слой – неизвестные участники Движения выполняли бы значительную часть практической работы и дублировали бы членов Комитета в случае их ареста. Все это было лишь формализацией реального положения дел, но ставило задачу выработки и объявления программы. После долгих споров никакого решения принято не было – трудно было преодолеть воспитанный советским режимом страх перед словом «организация».

Алексей Евграфович Костерин провел в тюрьмах и лагерях больший срок, чем Марченко, он начал еще до революции, вступив в большевистскую партию, но главным образом сидел при Сталине. После реабилитации он много сил тратил на борьбу за права малых народов, через него установилась связь и с крымскими татарами. Он оказал большое влияние на Петра Григоренко, и оба они обращались неоднократно и в ЦК КПСС, и к международным коммунистическим совещаниям – всегда без ответа. К совещанию компартий в Будапеште они написали огромное письмо и еще каждый по маленькому от себя лично, в которых представляли друг друга в выражениях самых трогательных: «Костерин – это замечательный человек, честный, сердечный» и т. д., а Костерин то же самое о Григоренко, но такой уж в Будапеште собрался твердокаменный народ, что их сердца это не тронуло.

В конце июля Костерин, Писарев, Григоренко, Яхимович и Павленчук – пять коммунистов, первый из которых вступил в партию в 1916, а последний в 1963 году – сделали заявление, что они приветствуют развитие событий в Чехословакии и считают советскую интервенцию невозможной. Конечно, Петр Григорьевич как бывший генерал считал интервенцию вполне возможной, но рассчитывал на сопротивление чехословаков. «Я знаю наших, – говорил он, – они попрут напрямик через горы, и тут их можно будет надолго задержать». Увы, все оказалось не так. Григоренко и приехавший из Латвии Яхимович решили передать это заявление в посольство Чехословакии, но мы с Гюзель сделали плакат с надписями по-русски и по-чешски, похожий на лопату для расчистки снега, но наш связной подвел нас, и они вошли в посольство без плаката, зато генерал при всех орденах. Как и я, советник посольства принял его за сталиниста: «Не беспокойтесь, ЧССР останется коммунистической и верной дружбе с СССР», – на что Петр Григоренко ответил: «Не беспокойтесь вы тоже, мы за вас». Обрадованный советник взял их заявление и открытое письмо Анатолия Марченко, и оба вышли из посольства беспрепятственно, сфотографированные при выходе Карелом Ван хет Реве на фоне вы-

саженных у братского посольства деревьев. За деревьями уже ходило несколько людей, носящих свои неприметные костюмы, как будто это театральные реквизиты.

В начале 1968 года наибольшее внимание привлекали Павел Литвинов, Лариса Богораз, Петр Григоренко и Петр Якир. Красин, оказавшийся как бы на вторых ролях, был уязвлен этим, был он вообще человек, склонный уязвляться.

До того, как переписка Павла была поставлена под наблюдение, он получал много писем от советских слушателей: как за (примерно $\frac{3}{4}$), так и против (примерно $\frac{1}{4}$), часть писем пришла не по почте, а была кем-то брошена в ящик. Вскоре КГБ спохватился: не только стали изымать в почтовых отделениях письма известным диссидентам, но и справочные бюро получили указание не давать их адресов.

25 августа вечером Голос Америки сообщил, что группа неизвестных пыталась устроить демонстрацию на Красной площади и была тут же арестована. Я не сомневался, что это демонстрация, о которой говорил Павел, но почему же «неизвестных», ведь многие диссиденты были хорошо известны, о каждом заявлении того же Литвинова Голос Америки оповещал подробно и многозначительно.

На следующее утро мы выехали в Москву. Я узнал, что в демонстрации участвовало семь человек, Лариса Богораз предупредила корреспондентов, что демонстрация начнется в одиннадцать, но все собрались у Лобного места только к двенадцати, когда корреспонденты разошлись, только один задержался и увидел, как на другом конце площади группа людей развернула плакаты и тут же была смята милицией и агентами в штатском. Агенты изображали возмущенную толпу, на суде большинство оказалось служащими одного и того же подразделения внутренних войск. Отпустили только Горбаневскую, у которой было двое маленьких детей, она рассказала, что на них бросились с криком: «Это все жида, бей их!» Плакаты были по-чешски и по-русски, один со старым лозунгом: «За нашу и вашу свободу!» У Лобного места было еще несколько человек, шедших на демонстрацию, но они не решились подойти, Петр Якир уверял, что был задержан в метро – Павел Литвинов позднее говорил мне, что это неправда, что Якир просто испугался. Через несколько минут после того, как арестованных увезли, из Кремля выехала чехословацкая делегация во главе с Дубчеком.

Мне казалось тогда, что демонстрация была ошибкой, во всяком случае, тактической. Я считал, что если Движение сосредоточится на внутренних вопросах, то сможет найти все более широкую поддержку, властям все труднее будет представлять нас в виде кучки отщеп-

пенцев. Но если выступить в защиту Чехословакии, то это останется непонятым, а власти арестуют всех демонстрантов и лишат движение руководителей и активных участников, что сможет на несколько лет привести к его распаду. Помню, как мы спорили об этом с Петром Григоренко, он вместе с Виктором Красиным был в Крыму²⁷ во время демонстрации, иначе одним из первых появился бы на Красной площади, размахивая палкой.

Думаю теперь, что я был неправ. Было бы очень печально, если бы из самой России не раздался этот слабый и отчаянный крик протеста. Исторически было необходимо – и это важнее тактических соображений, – чтобы было сказано «нет» советскому империализму. Быть может, в конечном счете решительное «нет» семи человек на Лобном месте оказалось весомее, чем равнодушное «да» семидесяти миллионов на «собраниях трудящихся».

10 ноября 1968 года умер Алексей Евграфович Костерин. Помню короткое прощанье в больничном морге и шоферов, приговаривающих: «Скорей! Скорей!», они должны были везти в крематорий. Под это «скорей, скорей» проходит весь обряд советских похорон. Рядом лежал молодой человек, по виду рабочий, в окружении старух в черном – с ними уже совсем не церемонились, и я слышал, как корреспондент «Рейтера» сказал кому-то: «Вот что значит умереть по-русски». Неожиданно Союз писателей, исключивший Костерина за полмесяца до смерти, арендовал автобусы для похорон, тут же суетился распорядитель. Гроб был поставлен в первый автобус, туда же сели родственники и близкие друзья, а мы все – во второй, и в середине дороги Красин обнаружил, что нас везут в другую сторону. Поднялся крик, начали стучать в окна – и шофер, испугавшись, повернул к крематорию; ССП счет за автобусы оплатить отказался.

В мрачном зале крематория, навсегда связанном у меня с похоронами матери, тоже было нечто вроде очереди, не скажу «живой очереди», потому что речь шла все-таки о покойниках. Костерина положили справа при входе, за колоннами, а в центре зала еще шла чья-то панихида, и слышно было, как коллега покойного все время повторял «закончил, закончил»: тогда-то окончил школу, тогда-то службу в армии, тогда-то институт, тогда-то докторскую диссертацию и, наконец,

²⁷ 25 августа в Крыму Красина не было. Он появился в Ялте вместе с Юрием Мальцевым только 26 августа, объяснив нам с отцом, что был вынужден скрыться из Москвы после советского вторжения в Чехословакию, дабы избежать ареста. – *Примеч. А. Г.*

закончил свою славную жизнь. На этом и сам оратор закончил – и наступила наша очередь.

Большой зал был полон: собрались не только московские диссиденты и родственники Костерина, но и писатели, крымские татары, чеченцы, ингуши, просто сочувствующие, а также иностранные корреспонденты и гэбисты – из расчета десять на одного корреспондента. Произошло некоторое замешательство: наши девушки стали раздавать черно-красные ленточки на булавах, обходя стукачей, так что овцы были явно отделены от козлиц. Все теперь смотрели не в лицо друг другу, а на грудь – приколоты ли траурная ленточка.

Органист – лысый еврей с усталым и безразличным лицом – заиграл Баха, и когда он кончил, на трибуну поднялся Петр Григорьевич. «Товарищи!» – сказал он, и в этот момент микрофон отключили, но у Григоренко был достаточно громкий, генеральский голос. Он начал с теплых личных слов о Костерине, как много Костерин для него значил, как он из бунтаря превратил его в борца, и заговорил о его борьбе: «Разрушение бюрократической машины – это прежде всего революция в умах, в сознании людей... Важнейшая задача сегодняшнего дня – бескомпромиссная борьба против тоталитаризма, скрывающегося под маской так называемой социалистической демократии. Этому он и отдавал все свои силы!»²⁸

Гюзель смотрела на музыканта и видела, как меняется его лицо. Сначала он, видимо, просто не слушал, потом лицо его стало вытягиваться, челюсть отвисла, взгляд выражал величайшее недоумение. Ничего подобного он не слышал за всю свою, вероятно, долгую работу в крематории. Впрочем, никто ничего подобного не слышал несколько десятилетий: в Москве совершенно открыто при стечении нескольких сот человек была произнесена политическая речь. Гэбисты были в растерянности: броситься ли им, опрокидывая гроб, на возвышение и стащить Петра Григорьевича или же слушать до конца. «Ваше время истекло!», – дважды прерывал его голос, на этот раз через микрофон, но Григоренко продолжал говорить и закончил: «Не спи, Алешка! Воюй, Алешка Костерин! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя! Свобода будет! Демократия будет!»

Смерть Костерина была тяжелым ударом для Григоренко; когда он сказал мне, что Алексей Евграфович умер, я слышал слезы в его голосе. Они совсем недавно открыли друг друга: найти единомышленника и друга для того, чтоб тут же его потерять, – достаточно тяжело.

²⁸ Полный текст этого выступления содержится в приложении.

Большинство участников Движения довольно кисло смотрели на коммунизм и марксизм, и единственный, с кем Петр Григорьевич по всем вопросам находил общий язык, был Иван Яхимович. Григоренко даже имел его доверенность на подпись: когда Ян Палах сжег себя, мы написали обращение, которое он за себя и Яхимовича подписал. Самосожжение Яна Палаха потрясло меня больше, чем ввод войск – я первый раз почувствовал, что мне стыдно быть русским. Я все-таки был неправ в разговоре с Павлом: чехи оказали сопротивление.

Течение, к которому принадлежали Яхимович, Григоренко и другие оппозиционные марксисты, имело своим аналогом восточноевропейский ревизионизм, но я думаю, что они сами с таким определением не согласились бы, считая, что это Сталин ревизовал марксизм-ленинизм, а они хотят возвратиться к «истинному ленинизму». В этом движении был заложен некий парадокс. Большевизм и в теории, и на практике был шире ленинизма – только постепенно ленинизм победил внутри большевизма и получил логическое развитие в сталинизме. И хотя наши «истинные ленинисты» при каждом удобном и неудобном случае клялись Лениным – и вполне искренне, – в действительности они пытались возродить неленинское течение в большевизме, более демократичное, чем нечаевско-ткачевский ленинизм. Однако насколько вообще в истории возможно движение назад и восстановление того, что историей было отвергнуто, – увы, история часто отвергает лучшее ради худшего? Даже если такое возражение возможно, то только после анализа – почему Ленин победил в большевизме. Поскольку этот вопрос не поднимается, «истинный ленинизм» остается бесплоден.

Можно говорить о большевизме и меньшевизме не только как о политических доктринах, но и как о политических темпераментах. С этой точки зрения, Валерий Чалидзе и Павел Литвинов, с их правовым доктринерством, и Рой и Жорес Медведевы, с их марксистским доктринерством, – типичные меньшевики, а Александр Солженицын и Петр Григоренко – большевики. Боюсь, что и я скорее попадаю в их компанию, поскольку при всем своем либерализме не лишен пугачевских замашек.

Григоренко предложил организовать комитет в защиту Яхимовича. Я сначала поддержал его, надеясь, что это будет первым шагом для преодоления психологического барьера, о котором писал уже, – страха перед самим словом «организация». Красин и Якир, однако, сильно сомневались, нужно ли создавать комитет, исходя из частного случая, уж если, мол, начинать, то с Комитета защиты прав человека, и я согласился с ними. Некоторую оппозицию идея Григоренко

встретила и потому, что он предложил комитет в защиту коммуниста – как же так, в защиту Марченко не создавали, в защиту Литвинова не создавали, а посадили коммуниста – и сразу комитет. Однако упрек это был неверен, Григоренко как раз после ареста Марченко писал нам из Крыма, что необходимо не ограничиться заявлением, но создать комитет в его защиту. На этот раз он составил уже список возможных членов и проект обращения и созвал совещание у себя дома. Просматривая список, Красин, сам полуеврей, насмешливо сказал: «Это не комитет, а жидовский кагал во главе с русским генералом!» Мнения разделились. Большинство считало: будет комитет – так будет, а не будет – так не будет. Красину, Якиру и мне удалось, однако, убедить всех ограничиться заявлением в защиту Яхимовича, но Петр Григорьевич надолго был на нас за это обижен.

На совещание пригласили Бориса Цукермана, чтоб он объяснил юридически сторону создания комитета, но чем больше он объяснял, тем менее понятно все становилось. Физик по образованию, он был, наряду с Валерием Чалидзе и Александром Есениным-Вольпиным, одним из трех экспертов Движения в юридических вопросах. Выраженный тип тихого упряма, говоривший медленно и занудливо, но если вы его перебивали, возобновлял объяснения с того же слова, он затевал и вел множество кляузных дел против разных государственных организаций. Когда стали применять выталкивание за границу как прием борьбы с диссидентами, Чалидзе, Вольпина и Цукермана вытолкнули одними из первых – лучшее признание важности их деятельности. «Нам Цукерман много палок в колеса ставил», – говорил нам потом майор КГБ Пустяков, специалист по диссидентам. По Цукерману выходило, что самое легальное – это создание профсоюза. Оставалось неясно, по какому профессиональному признаку можем мы его создавать. Идея оказалась плодотворной только в 1978 году, когда открытое недовольство среди рабочих привело к созданию первого независимого профсоюза по образцу диссидентских групп.

Я предложил иной план. Как своего рода номиналист, я считаю, что для того, чтобы явление существовало, его надо назвать. Я предложил создать Советское Демократическое Движение, сокращенно СДД, изложить кратко его основные цели и методы и объявить, что каждый, кто их разделяет, может считать себя участником движения. Я полагал, что если такое обращение будет широко распространено, оно позволит многим людям – сейчас изолированным – идентифицировать себя с Движением, и это создаст для него широкую базу. Я даже составил проект обращения на одном листке. Красин уклончиво сказал, что над ним можно подумать, но реакция остальных,

особенно Григоренко, была отрицательная: аббревиатура СДД уже напоминала политическую партию, текст содержал претензию на идеологию, а как я говорил, большинство хотело оставаться «правозащитным движением». В сущности, и цели СДД были правозащитными, но понятыми более широко, чем просто защита того, кто сел в тюрьму за то, что защищал севшего до него, хождение по сужающемуся кругу замыкало Движение на себя.

Вопрос решился летом 1969 года, когда пятнадцать человек организовали инициативную группу по защите прав человека в СССР и обратились с письмом в ООН. При создании Группы меня не было в Москве, была она в значительной степени детищем Якира и Красина – Литвинов позднее говорил мне, что некоторых включили в группу, даже не спрашивая их согласия, ни от кого из членов Группы я таких жалоб не слышал. Как я предвидел, они не были арестованы сразу и власти не организовали процесса-монстра: они делали вид, что игнорируют Группу, но постепенно десять из пятнадцати ее членов были или осуждены, или помещены в психушки, а сейчас почти все в эмиграции. Но психологический барьер был преодолен, и затем в рамках Движения создавались группы и комитеты.

Трудно описать все унижение обыска. Я пережил их много: и личных, и общих, и в тюрьме, и в лагере, и на этапе, но самые мучительные – это у вас дома, вы чувствуете, нет никакого дома, ничего вашего. Впрочем, уже визит милиционеров, которые могут вытащить вас из кровати, дает это чувство – мы годами жили с сознанием, что в любой момент тебя могут схватить, и сам дом растворится, как туман.

Как было сказано в протоколе, обыск проводился «с целью отыскания и изъятия вещей, документов и ценностей, имеющих значение для дела». Следователь пояснил, что это дело Григоренко, но не ответил, арестован он сам или нет. Формально вел обыск старший следователь Московской прокуратуры Полянов, человек лет пятидесяти, весьма чиновного вида и, как кажется, к результатам обыска безразличный. Остальные себя не назвали и никаких документов не предъявили, один – постарше – указывал Полянову, что изымать. Хорошо внешне помню Полянова, но этого совершенно не помню.

В протоколе также были указаны фамилии и адреса двух понятых – по закону, они должны быть приглашены со стороны, «*присутствовать при всех действиях следователя... и удостоверить факт, содержание и результат обыска*». При политических делах – за редким исключением – понятые это сотрудники КГБ. Виктор Красин рассказывал, как во время обыска у него следователь и поня-

тые делали вид, что не знают друг друга, поехали потом обыскивать квартиру его матери и, завидев знакомую машину на перекрестке, понятия обрадовано закричали: «Иван Иванович, наши едут!» Следователь только сокрушенно головой покачал: «Учишь их, учишь, а толку нет!»

Ничего, относящегося к Григоренко, у меня не было, изымали мои рукописи, изданные за границей книги, пишущие машинки, чеки Внешторгбанка, которые Гюзель получила за картины – не зря у нас, значит, побывал ценитель живописи с предложением купить «все картины». Полянов достал из стола пачку советских рублей, приготовленных для жизни в деревне, и спросил: «Сколько здесь?» «Считайте», – ответил я, но Полянов молча положил пачку на место. Впоследствии стали изымать все деньги: при аресте Гинзбурга в 1977 году его жене и двум маленьким детям оставили несколько копеек. Самое обидное было, что забрали начатую мной рукопись «Доживет ли СССР до 1984?» – не ради нее ли и обыск затевали?

Генерал был арестован утром в Ташкенте, одновременно проведено несколько обысков в Москве, но его дело было для них только предлогом. Мы планировали сначала, что на процесс крымских татар в Ташкенте выеду я, с той же ролью «офицера связи», что и во время суда над Галансковым и Гинзбургом. Петр Григорьевич, однако, сам захотел ехать. Был он дисциплинированным участником Движения, может быть, как раз потому, что он был генерал: мы приносили ему воззвания на подпись, он читал, морщился, говорил, что совсем оно ему не нравится, но раз принято решение, чтоб он подписал, он, конечно, подписывает. В деле же с крымскими татарами, сколько мы не настаивали, чтоб он не ехал, он был неумолим: власти предупредили его, что он будет арестован в Ташкенте, и он не хотел уступать шантажу. Из Ташкента ему позвонили, что его друг срочно просит его вылететь, оказалось, никто из друзей не звонил. Суд откладывался, Петру Григорьевичу, тяжело заболевшему, взяли обратный билет в Москву – за день до вылета он был арестован.

КГБ заманил его в Ташкент, чтобы не судить в Москве: затем часто стали применять такую тактику. Григоренко провел несколько месяцев в подвале Ташкентского КГБ, был, как при Хрущеве, признан психически невменяемым и до июня 1974 года пробыл сначала несколько лет в тюремной, а затем несколько месяцев в общей психбольнице. Я увидел его снова летом 1975 года – он сохранил свой здравый ум, но с трудом говорил, едва мог читать и почти не мог писать.

«Как вы, получая ежемесячно восемьсот рублей в военной академии, стали писать эти бумажки и теперь как грузчик зарабатываете восемьдесят?», – спросил психиатр у Петра Григоренко. «Мне дышать было нечем!», – ответил он и увидел, как радостно загорелись глаза у врача: точно сумасшедший! Удалось власти воспитать «нового человека», все понимание которого – на уровне желудочных интересов. «Маленький человек» – любимое дитя печальной русской литературы – стал «большим начальником», сохранив всю мелкость своих интересов.

О «ДЕЛЕ» П. ГРИГОРЕНКО, И. ЯХИМОВИЧА И ДР.

Фрагмент фонограммы кинофильма «Блаженны изгнанные»²⁹

Каллистратова: Я защищала генерала Григоренко... Приехала, когда еще заканчивалось предварительное следствие. И когда следователь Березовский мне сказал, что я два дня с ним не увижусь, потому что он – невменяемый, то я ему ответила: «Вы плохо знаете закон. Я с генералом увижусь, а без свидания с ним я вам ни одной бумаги не подпишу». И меня привели в подвальное помещение следственного изолятора КГБ – там, в городе Ташкенте. И туда московский конвой ввел генерала Григоренко, и генерал Григоренко на глазах изумленной публики сгреб меня в объятия, начал целовать. Конвой растерялся и не знал, что делать. Вот с этого и началось. Я сидела там месяц и делала выписки. Они у меня были в деле, эти выписки. Я только дала подписку, что их никому не буду разглашать.

Кустов: Что представляло собой это дело?

Каллистратова: Это дело представляло двадцать один том, в котором было бог знает что. Там чего только было не наворочено. Но меня интересовали совершенно определенные моменты... Я сидела над этим делом месяц. И в течение этого времени каждый раз с боем я получала свидания с генералом Григоренко. Мы с ним общались... Так вот, в моих записях были такие пометки: том такой-то, лист дела такой-то. Значит, здесь идет выписка из материалов подлинного следственного дела. Так Слава (Глузман. – *Сост.*) и ссылался на подлинное следственное дело. По этим выпискам и писал: том 20-й, лист дела 172-й. И так далее. Поэтому тут все было совершенно ясно. И пусть Слава не думает, что я уж так рисковала головой. До этого я рисковала головой уже очень много раз. И еще до этого у меня было два обыска.

Кустов: А сколько их было потом?

Каллистратова: Всего их было пять.

Мне сказали, что есть психиатр, который сможет это разработать. А я-то ведь не психиатр. Правда, я психиатрию знаю в объеме курса

²⁹ Публикуется по книге: Заступница. Адвокат Каллистратова. М., Звенья, 1997.

университета по судебной психиатрии, которая преподавалась на юридическом факультете. И у меня был большой опыт общения с людьми, признанными невменяемыми. И у меня глаз наметанный, хотя я и не могу разобраться в тонкостях диагноза. Но все-таки человека безусловно здорового от человека безусловно больного я отличу.

Кустов: И чем ташкентский процесс над Григоренко отличался от других процессов?

Каллистратова: Первым был процесс латвийского председателя колхоза Ивана Яхимовича. Я вам должна сказать, что бывают разные люди, бывают люди со странностями, но более нормального, более спокойного, более уравновешенного человека, чем Иван Яхимович, я не видела. Он был признан невменяемым. Причем в самом постановлении о признании его невменяемым совершенно анекдотические вещи написаны, совершенно анекдотические. Например, в этом постановлении говорится так: «Заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идее борьбы за коммунистический строй, за социализм, но только с тем условием, чтобы многие, не соответствующие высокому званию коммуниста люди, находящиеся в настоящее время в партии, были удалены из партии с тем, чтобы с ними была в дальнейшем проведена воспитательная работа, направленная на изменение их мировоззрения. Считает, что политических заключенных не надо лишать свободы, на них надо действовать методом убеждения, разъяснениями и наглядной агитацией. Прекрасно владеет произведениями классиков марксизма-ленинизма, отлично знает труды многих философов и политических деятелей». Я вам читаю только маленькие выдержки.

Кустов: Откуда выдержки?

Каллистратова: Из заключения экспертизы, в которой Яхимович признан невменяемым. Написано: «Со стороны центральной нервной системы патологических органических признаков не обнаружено».

Кустов: А кто подписал, кто эксперты?

Каллистратова: А-а, вы хотите знать, кто эксперты...

Кустов: Хочу.

Каллистратова: Это я могу вам сказать. Это четыре латвийских, рижских психиатра: Русинов, Мартис, Красноярский, Каснянский. Послушайте, что они дальше говорят: «Во время бесед с врачом – любезен, бредовых идей и галлюцинаторных переживаний не обнаруживает, память достаточная». Это в заключении, в котором он признан больным психически. А больным он признан только потому, что считает, что его идейный и политический долг, равно как и общественный, стоит значительно выше его долга перед семьей, уверен, что он и ему подобные лица исполняют значительную миссию перед лицом своего народа, и разубеждению не поддается. Поэтому псих.

Глузман: Да, это самое главное.

Кустов: Понятно. А были у вас подзащитные, изначально здоровые и пошедшие не в психушку, а в лагерь? Коротко, если можно.

Каллистратова: Пожалуйста, сколько угодно. Это все подзащитные по делу о демонстрации на Красной площади. Это все крымские татары, которых я защищала, которых обвинили в том, что они клеветают на советскую власть. Это рабочий Хаустов, которого осудили за то, что выступал на митинге, участвовал в демонстрации на площади Пушкина в защиту Гинзбурга, Добровольского и Галанскова. Да сколько угодно! Но тут они выбирали что, вот этого Яхимовича почему решили сделать сумасшедшим? Он ушел с педагогической работы на колхозную, и первое, что он заявил, – до тех пор, пока я не могу колхозникам выплатить за трудодень хоть что-нибудь, я ограничиваю свою зарплату по партмаксимуму. А остальным-то как?

Кустов: Яхимович сам разрешил себе получать лишь тридцать рублей?

Каллистратова: Да, да. Партмаксимум. А что остальным председателям колхозов делать, которые получают по тысяче двести? Сумасшедшим надо его признать.

Кустов: Нормальный человек так не поступает.

Каллистратова: Да, нормальный человек так не поступает. Он, рискуя своей шкурой, продал ненужный для колхоза запас бревен и как-то выдал колхозникам, которые до этого десятилетиями не получали ни копейки, по сколько-то рублей на трудодень. Ненормальный...

Кустов: Софья Васильевна, Яхимович – это особое дело...

Каллистратова: Да... 6 апреля 1970 года суд признал неменяемой Наталью Горбаневскую, признал, что у нее вялотекущая шизофрения. А когда в суде выступал профессор Лунц, я у него спросила: «Скажите, эксперт, какие признаки вялотекущей шизофрении вы отмечаете у Горбаневской?» И он мне ответил: «Вялотекущая шизофрения, как правило, никаких симптомов не дает». Ясно вам? Во-первых, она смелая – она с трехмесячным ребенком ходила на эту демонстрацию на Красной площади. Во-вторых, она издавала «Хронику текущих событий». Это был человек, которого надо было скомпрометировать. Поэт, переводчик, разумный человек, который живет и работает уже сколько лет в Париже, произведения которой печатают, – вот взяли и написали, что она сумасшедшая. Что она неменяемая.

Кустов: Ахматова считала ее очень талантливой.

Каллистратова: Да.

Кустов: А Лунц...

Каллистратова: А Лунц считал ее психом. Теперь – чем отличается процесс Григоренко. Прежде всего тем, что по этому процессу

было две экспертизы. Первая экспертиза, так называемая амбулаторная, в которой участвовали главный психиатр военного округа Коган и профессор Детенгоф. Очень известный психиатр...

Кустов: Ныне покойный Федор Федорович Детенгоф³⁰.

Каллистратова: Да, да, да. И они дали заключение: «Сознание ясное, правильно ориентирован, в беседе держится вполне упорядоченно, естествен, легко доступен к контакту, речь связная, целенаправленная, несколько обстоятельная». И пришли к выводу: психическим заболеванием не страдает, не нуждается в стационарном обследовании. Стационарное обследование может в настоящее время не расширить представление о нем, а наоборот, учитывая возраст и резко отрицательное отношение его к пребыванию в психиатрическом стационаре, привести к неправильным выводам. Так что же сделал генерал? Генерал – его весь мир знает, ну как же его судить-то открытым судом? Надо сделать его сумасшедшим. И следователь Березовский при наличии такой экспертизы сажает его в самолет, сам лично, под своим конвоем, везет в Москву в Институт Сербского и сдает туда на экспертизу. А в Институте Сербского рады стараться: сумасшедший, невменяем, переоценивает свою личность, убежден в своей правоте, разубеждению не подлежит. Паранойя. В суде обе эти экспертизы. Я говорю в суде: «Вызовите генерала Григоренко в судебное заседание. Товарищи судьи, посмотрите на него сами. Вы же имеете две совершенно разные экспертизы, вы же не можете разобраться, какая из этих экспертиз правильная». Нет, отвечают, вызывать психически больного человека в суд негуманно, в ходатайстве адвоката отказать. Обращаюсь к Детенгофу, – он тут же сидит рядом с Лунцем, – и говорю ему: «В промежуток времени между тем, как вы давали заключение о вменяемости Григоренко, и сегодняшним днем вы его видели?» «Нет, не видел». «Были какие-нибудь новые медицинские документы о нем? Вы их видели?» «Нет, не видел». «Вы какими-нибудь новыми данными располагаете?» «Нет, не располагаю». «Почему же вы теперь даете заключение диаметрально противоположное своему первому заключению?» «Мы ошиблись, коллеги из Москвы нас поправили».

³⁰ Детенгоф Ф.Ф. (1898–1973) – врач-психиатр, ученик П. Б. Ганнушкина, с 1940 года заведовал кафедрой психиатрии Ташкентского медицинского института. В 1969 году в Ташкенте вместе с возглавляемой им экспертной комиссией пришел к выводу о психическом здоровье арестованного по делу крымских татар генерала П.Г. Григоренко, вопреки вынесенному ранее заключению судебно-психиатрической экспертизы Института им. Сербского во главе с академиком А.В. Снежневским и проф. Д.Р. Лунцем. Однако под давлением органов госбезопасности на суде отказался от своего объективного заключения, о чем впоследствии глубоко сожалел.

Кустов: Он тоже подписал?

Каллистратова: Он подписал первое заключение. О том, что Григоренко вменяем. Его и вызвали в судебное заседание как одного из авторов первого заключения, для того, чтобы решить вопрос, какая экспертиза правильна. А он в суде отказался от прежнего заключения и присоединился к Лунцу. Тогда я говорю: «Давайте вызовем Когана, давайте послушаем еще одного человека». Нет, отвечают, нам достаточно.

Кустов: А что суд? Где он проходил?

Каллистратова: В Ташкенте.

Кустов: Кто были зрители? Сколько было зрителей?

Каллистратова: По узбекскому кодексу дела о невменяемых слушают в закрытом судебном заседании. Сам Григоренко доставлен не был. Поэтому среди зрителей не было даже конвоиров, я говорила перед судьями, перед пустыми стульями в зале. Я говорила перед судьями, из которых одна заседательница спала, другой ковырял в носу, а председательствующий все время смотрел на часы.

Кустов: И родственников тоже не было?

Каллистратова: Нет. Никого не пустили в зал. Ни одного человека. Этим тоже отличается процесс Григоренко от процессов Горбаневской и Яхимовича. Правда, у Яхимовича и у Горбаневской была подобрана публика. Но туда все-таки родственники просочились. Некоторые из друзей просочились. А здесь никого не было.

Кустов: Что в заключении экспертов было основным признаком психической болезни у Петра Григорьевича?

Каллистратова: Преувеличение своей роли. То есть мания величия. Хотя это ничем не было подтверждено в материалах дела. Наоборот, скорей там были какие-то данные, чтобы говорить о мании преследования. Потому что он все время говорил, что за ним следят...

...Вот эти три человека, о которых я вам говорила, – Яхимович, Горбаневская и Григоренко, – никакие эксперты в мире не убедят меня в том, что они психически больные. Это здоровые люди. Допрашивали на суде сестру Григоренко, родную сестру. Она украинка, говорила по-русски, но с украинским акцентом. Судья ее спрашивает, так ваш брат болен? Да нет, он здоровый. Так тогда, значит, он враг нашей партии? Да нет, он коммунист. Так если он коммунист, а такие вещи пишет, значит, он больной? Да здоровый он, что вы меня пытаете?

Ни одного же свидетельского показания не было, которое говорило бы о его психической болезни. Нет, я говорю, никакие эксперты в мире меня не могут убедить в том, что эти люди психически больные. Они здоровы, а утверждение об их болезни достигалось только одним способом: «Если все нормы УПК соблюдать, как сказал мне

один член областного суда по другому делу, – так ни одного виновного не осудят». Итак, я написала жалобу на это определение, на это признание Григоренко виновным. В жалобе указала 49 пунктов нарушений Уголовно-процессуального кодекса. И эту жалобу меня заставили подать через спецчасть адвокатуры. Вызвали к заместителю Генерального прокурора Малярову заместителя председателя Президиума городской коллегии адвокатов и сказали: «Передайте адвокату Каллистратовой – ее жалоба по делу Григоренко получена, ответа не будет». А вы говорите, как это совмещалось с законом. Да никак не совмещалось!

ИЗ ПРЕДИСТОРИИ ИГ

ИГ... многим ли сегодня что-то говорит эта аббревиатура? Четверть с лишним века назад слова «Инициативная группа» внезапно вошли и утвердились в сознании оппозиционной интеллигенции. «Инициативная группа по защите прав человека в СССР» – таково было ее полное название – стала праматерью всех наших правозащитных ассоциаций. Смелостью открытого противостояния произволу Группа сразу же вызвала к себе неподдельные симпатии и уважение, а достоверностью сообщений и точностью нравственных оценок быстро завоевала непререкаемый авторитет. И когда мы узнавали о новом заявлении или обращении «ИГ», – нам не надо было объяснять, что означают эти буквы.

Что я помню о начале? Май 1969 года. Неполный год, как я вошел в круг диссидентов. Месяц начался для нас тревожно. 7 мая в Ташкенте был арестован Петр Григорьевич Григоренко, разжалованный генерал-правдоискатель. Я познакомился с ним и стал бывать в его доме в конце зимы. Брал у него читать какой-то самиздат, мы говорили, помнится, о тогда еще не вполне покоренной Чехословакии, об отчаянном самосожжении Яна Палаха. В последний мой приезд, в первые дни мая, Зинаида Михайловна, жена Григоренко, сказала мне, что Петра Григорьевича нет дома, что он улетел в Ташкент, где начинается суд над десятью активистами крымско-татарского движения за возвращение на родину. И добавила шепотом: «Возможен арест».

И вот на днях арестован молодой педагог Илья Габай. Я встречал его в доме другого видного диссидента – Петра Ионовича Якира, но был тогда лишь шапочно знаком с Ильей. Хотя давно знал некоторые его стихи, ходившие в Самиздате. И помнил, что он был одним из авторов Обращения «К деятелям науки, искусства и культуры», предупреждавшего об опасности реставрации сталинизма и призывавшего не допустить «новый 37-й год».

... Я на «Автомобильной», на квартире Петра Ионовича. В то время я бывал там очень часто, и уже не помню, зачем заехал в тот вечер. Самого хозяина нет дома. Кто-то дает мне прочесть незнакомую бумагу. Это – Обращение в комитет прав человека ООН, совсем свежий, вчера-позавчера появившийся документ. Читаю: в письме говорится о нарастании преследований за убеждения в нашей стране, рассказы-

вается о политических процессах последних лет и о недавних арестах П. Григоренко и И. Габая. Письмо призывает ООН осудить политические преследования в Советском Союзе.

Как серьезно и аргументировано составлено письмо! И адресовано прямо в ООН, такого, помнится, еще не было. Кто-то, может быть, спросит, – допустимо, оправдано ли выносить сор из избы, искать за рубежом защиту от произвола отечественных властей? Но что остается делать, если советские чинуши не хотят нас слушать и на мирные петиции отвечают репрессиями?! Дата под письмом – 20 мая 1969 года. И подписи – 15 фамилий по алфавиту.

Но перед этим списком я вижу тогда впервые мной прочитанные и навсегда впечатавшиеся в память слова: «Инициативная группа».

«Неужели?!», – кажется, я даже вздрогнул, и мое сердце забилося чаще, в голове вразной прыгали мысли: «Конечно, это смело и благородно, но оправдан ли этот дерзкий вызов? Неужели учредители не понимают, что всех их перехватывают за три дня, максимум – за неделю?!» Десятилетиями в СССР действует неписанный, но железный закон: любая самодеятельная, неподконтрольная властям организация должна быть мгновенно и безжалостно раздавлена. А тут – открытая оппозиция. Под своими фамилиями. Приходите – и берите.

Еще подписи – «поддержавшие», так сказать – второй эшелон. Вдруг – что за наваждение? В списке «поддержавших» мне бросается в глаза мое имя. Но я в глаза не видел Обращения! И даже ничего не слышал о нем!

Что делать? Протестовать? Потребовать снять свою подпись? Но разве я не согласен с письмом? И ведь оно – мне сказали – уже отдано иностранным корреспондентам. Мыслимо ли компрометировать столь важное начинание?

Промолчать? И смириться с вопиющим, возмутительным безобразием? С пренебрежительным манипулированием мной и моим именем? Решаю: подпись свою оставляю. Но сразу же говорю – это первый и последний раз. Недопустимо ничего решать за других без их ведома.

Мне не возражают, даже соглашаются, – действительно, нельзя. Но Обращение нужно было срочно везти «коррам», и просто не осталось времени «согласовать» все подписи.

...Только много лет спустя я узнал, что в еще более трудном, унижительно-беспомощном и оттого мучительном положении оказались накануне многие из членов будущей ИГ. Они собрались, как было договорено, на «Автозаводской», чтобы составить и подписать Обращение в ООН. А также еще раз обсудить целесообразность создания открыто объявленной организации, от имени которой и будет

отправлено в ООН предполагаемое Обращение. Якира и его товарища Виктора Красина на «Автозаводской» почему-то не оказалось. Кто-то пояснил, что они поехали на срочную встречу с «коррами». Само по себе это было в порядке вещей, но сегодня? Обсуждение письма в ООН продолжалось без них. Обговаривался вновь и вопрос создания легальной организации, состав которой еще не был окончательно установлен и которая еще не имела названия. Наконец, часов в 8–9 вечера, взволнованные и несколько смущенные, появились Якир и Красин: «Ну, все. Мы отдали “коррам” Обращение. Оно подписано: “Инициативная группа”».

Это явилось новостью почти для всех. Как смели Якир и Красин отдать «коррам» несогласованный документ? Объявить о создании несформированной группы? Самочинно назначить ее состав? На возмущенные упреки сотоварищей (впрочем, высказанные обиняками, поскольку квартира наверняка прослушивалась) приятели отвечали: «Так сложились обстоятельства. Да, в чем-то мы поступили неправильно, но это – чистая формальность. Те, кто названы в составе ИГ, – они же одобряли идею обращения в ООН, – кто же они, если не инициаторы письма? И, в сущности, это даже не организация. А потом – ничего не отрезано, мы никого не держим, мы договорились с “коррами”, что еще позвоним им и все уточним и исправим. “Поддержавшие”? – такая идея тоже проговаривалась, мы внесли в этот список тех, кто не откажется. А главное – ждать дольше было нельзя. Григоренко и Габая арестовали, если мы сейчас не дадим отпор, не сплотимся, – перехватывают всех. Через неделю было бы поздно».

Эти объяснения далеко не удовлетворили собравшихся. Явственно повеяло духом Петруши Верховенского из «Бесов». И естественная мысль: не следует ли сразу выйти из группы?

Но уход был невозможен морально. Он не только стал бы тяжелым ударом по остающимся, но и перечеркнул бы Обращение, писавшееся в защиту арестованных и осужденных. Он мог надолго похоронить саму идею легальной организации для защиты жертв политических репрессий. Да и просто слишком смахивал бы на трусливое бегство. В итоге, несмотря на возмущение самочинством Якира и Красина, никто тогда не покинул ИГ.

Иной принципиальный читатель убежденно скажет: «Все равно недопустимо было ни дня оставаться вместе с нечистоплотными обманщиками, объявившими о рождении еще не созданной группы и своевольно назначившими ее состав. Разве не ясно, что подобные честолюбцы и авантюристы подведут всех при серьезной опасности?» Легко быть провидцем задним числом! Ведь сегодня мы доподлинно знаем, что спустя 4 года те же два приятеля на следствии в тюрьме

«расколются», предадут и оговорят сотоварищей, едва не похоронив своей изменой все «движение». Насколько трудней было отыскать верное решение самим участникам той памятной встречи! Слишком многое приходилось учитывать и взвешивать. Начать с того, что хотя в диссидентском движении не существовало должностей и рангов, положение Якира и Красина было все же особым. Оба были политзеками – еще сталинских времен, вновь обретшими свободу только в годы хрущевской «оттепели». «Не мне судить Иова», – писал Илья Габай в посвященном Петру Якиру стихотворении. Что-то схожее чувствовали и члены ИГ, не считая себя, не сидевших, вправе сурово судить старых лагерников.

Но дело было даже не столько в этом. Еще весомей было ощущение долга перед друзьями, уже потерявшими свободу ради своих убеждений и еще вчера призывавших объединиться для противостояния беззакониям. Это было – как выполнение завещания. И речь тут идет в первую очередь о Петре Григоренко.

Как все на свете, ИГ имела свою предысторию. Я не был ее непосредственным свидетелем, но знаю о ней по многим рассказам. Группа возникла не вдруг и не на пустом месте. Идея некоего объединения для противостояния произволу советских властей носилась в воздухе. Ее горячим сторонником был П. Григоренко. Еще ранней весной 1969 года он предлагал создать Комитет защиты недавно арестованного в Латвийской ССР коммуниста-диссидента Ивана Яхимовича. Желательность такого объединения обсуждалась неоднократно и у самого Петра Григорьевича, и на квартирах других диссидентов. В этих обсуждениях участвовали многие из будущих членов ИГ. Твердыми сторонниками такого объединения, кроме самого Григоренко, были Анатолий Якобсон и Юлиус Телесин. Но были и противники. Стоит отметить, что Якир и Красин в то время были против создания такой организации. Дело временно застопорилось. Но Петр Григорьевич не оставлял усилий для его осуществления.

Разумеется, КГБ знал об этих планах. И всячески стремился воспрепятствовать им. Быть может, арест П. Григоренко, основного сторонника создания ИГ, был упреждающим ударом КГБ, желавшего предотвратить создание организации. Но как часто даже все просчитывающие умники не видят дальше собственного носа и не способны предугадать ближайших последствий своих действий! Результатом ареста Петра Григоренко стало рождение Инициативной группы.

Авантюрное провозглашение насильно вытолкнуло ИГ на свет и стало ее первым испытанием на жизнестойкость. Обман мог обойтись очень дорого. Он был способен не только повредить репутации группы, но и дать властям и КГБ удобный повод для шантажа. Мно-

гообещающее начинание легко могло закончиться немедленным и позорным крахом. Поэтому, решившись разделить ответственность и удочерить новорожденную, члены ИГ договорились не разглашать до поры сомнительных обстоятельств ее появления.

Признаемся сегодня: ИГ явилась на свет незаконнорожденной. Но что из того?! Несмотря на все преследования, начавшиеся буквально на следующий день, группа выжила, выстояла и вросла в нашу новейшую историю. А следовательно, – победила. ИГ выпала трудная, но почетная и по-своему завидная участь: торить дорогу для тех, кто будет идти следом.

ЗАМЕТКИ СВЯЗНОГО³¹

Мое первое знакомство с генералом Григоренко организовало... радио «Свобода», которое донесло весть об этой замечательной личности жаждущему правды юноше. Сегодня трудно уже вспомнить, в каком именно контексте услышал я тогда об этом человеке, но имя Григоренко приковало мое внимание уже самым своим звучанием.

Во-первых, оно особым образом легитимизировало диссидентское движение сопротивления: если за критику советской власти принимаются уже генералы, имеющие возможность пользоваться всеми ее благами, то что-то здесь не так с самой системой. И если против нее восстают высокие военные чины и даже сами создатели ее оборонного щита – водородной бомбы (Андрей Сахаров), то будущего она, по-видимому, не имеет.

Во-вторых, казалось особенно примечательным, что в лице Григоренко выступает не один из штабных прихлебателей, льнущих к властному сапогу, а хлебнувший военного лиха боевой генерал. В этом как бы была гарантия, что Солдат с большой буквы, смело смотревший в глаза смерти, не станет отводить взгляд от опасной правды.

В-третьих, от фамилии генерала веяло родным мне украинством. Для меня это был еще один земляк, душа которого не смирилась с обманом и несправедливостью. Хотя и жил он в Москве, а Украина была для него скорее воспоминанием детства, чем живой реальностью. Поэтому сразу – задолго до нашего личного знакомства – я почувствовал в нем дух побратимства.

В то время фигура Петра Григоренко ассоциировалась прежде всего с судьбой крымско-татарского народа, пострадавшего в силу бредовой сталинской идеи коллективной вины. Решение генерала открыто поддержать право крымских татар на реабилитацию и возвращение на малую родину было совершенно в русле лучшей традиции московских диссидентов, светившим, словно маяки, рассеянной по всему Союзу армии одиночек-правдоискателей. Однако мне кажется, что тут, может быть, еще неосознанно заговорила в нем и его украинская природа, в результате чего идея справедливости, как это

³¹ Название дано составителями (перевод с украинского Андрея Григоренко).

часто бывает у лиц угнетаемой национальности, возобладали у него над идеей государственнической.

А, между тем, именно в Украине идея эта получила в те годы свое наиболее полное воплощение. В самом деле, потенциально опасный мусульманский фактор был нейтрализован; севастопольская слава русского оружия окончательно утверждена; территория Крыма «зачищена» под кремлевские дачи и всесоюзные здравницы – разве мог бы возражать против этого истинный государственник? Но моральное чувство генерала говорило ему: «Это несправедливо!», и голос гражданской совести стал для него императивом всех его дальнейших действий и поступков.

Так что весть о вхождении Петра Григоренко в Московскую группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений не представлялась мне неожиданностью. Наоборот, это был логический шаг в том противостоянии власти, которое не оставляло человеку другого выбора, кроме моральной капитуляции. Однако в случае Григоренко немаловажно и то, что он одновременно вошел в Украинскую Хельсинкскую группу (УХГ), в этом его шаге сказалось, конечно, и чувство тревоги за судьбу украинских правозащитников-камикадзе, находившихся в намного худших условиях, нежели их коллеги в Москве. Но была в этом решении Григоренко и дань его национальному чувству, которое в тогдашних условиях довольно быстро начало завоевывать его сознание. Речь не идет, конечно, о чувстве национального превосходства, особенно типичном для этнонеофитов. Нет, скорее это возвращение к украинству чем-то напоминало его интерес к крымско-татарскому движению: в обоих случаях главным мотивом было сопереживание любой форме национального притеснения. Думаю, что случись ему жить среди племен Центральной Африки, то и там он встал бы на сторону обиженного племени, поскольку первичным в нем все же было этическое, нежели этническое чувство.

В подтверждение этой его особой чувствительности к любым проявлениям национального притеснения приведу один характерный случай из жизни генерала. Однажды он послал телеграмму кому-то из своих киевских знакомых-украинцев. Написал ее по-украински, но так как это не отвечало тогдашним правилам, транслитерировал слова буквами российской кириллицы. Однако на почте посланную им телеграмму самочинно перевели с украинского на русский. Узнав об этом от своего адресата, он подал письменную жалобу, заставив почтовых работников произвести специальное расследование этого ничтожного по тем временам инцидента и принести ему сквозь зубы свои извинения.

Контакты членов УХГ с Петром Григоренко велись в основном через главу Группы Мыколу Руденко. Но однажды поручение съездить в Москву и встретиться с генералом получил и я, 28-летний, тогда самый молодой член УХГ. В то время (это было в январе 1977 года) меня уже выгнали с работы, а потому свободного времени было хоть отбавляй.

Москва встретила меня пронизывающим холодом как в прямом, так и в переносном смысле. В этой великодержавной столице я не мог чувствовать себя обыкновенным туристом. Мороз пробирал до костей при одной мысли, что ты немощная «букашка», осмелившаяся бросить вызов этой исполинской государственной машине. И трудно было отделаться от мысли, что где-то рядом, в кремлевских сейфах, хранятся ключи от украинской судьбы.

Но все же я ощущал некоторую гордость от сознания, что мне выпала честь быть причастным к маленькой группе «отщепенцев», не побоявшихся выступить против этой грозной силы. А, вместе с тем, я не мог не думать и о дистанции другого рода: ведь в квартиру Петра Григорьевича входил робкий провинциал, хорошо сознающий, что в голове у него полная мировоззренческая каша и что титул члена УХГ – это скорее почетный аванс.

Эта моя тогдашняя незрелость обнаружила себя с первых же минут нашего разговора. Петро Григоревич, отнесшийся ко мне радушно и с полным доверием, дал мне прочитать несколько машинописных страничек, лежавших у него на столе. В них говорилось о паспортной системе как атрибуте полицейского государства. «Но разве может существовать государство без паспортной системы?», – наивно спросил я. Петро Григоревич улыбнулся и тут же прочитал мне коротенькую лекцию об основах демократии. Не помню уже сути сказанного, но больше всего впечатлило меня то, что он ни словом, ни жестом не дал мне понять наивности моего вопроса, не дал почувствовать себя неучем, рвущимся в правозащитники. Для меня это был как бы двойной урок – теории демократии и бережного отношения к достоинству человека, который сам Петро Григоревич тогда едва ли заметил.

Главной целью моего визита было ознакомить хозяина с проектом очередного Меморандума УХГ, что я, конечно, и сделал. С трудом преодолевая свое смущение, я кратко рассказал ему о ситуации в Группе, прекрасно сознавая, что он – рупор этой Группы, чей голос услышат и в Москве, и в мире – через аккредитованных здесь зарубежных журналистов и дипломатов.

После Москвы я планировал съездить в Тарусу, маленький городок в ста километрах от столицы, где в то время находилась в ссылке другой член нашей группы – Нина Строката, которую также следова-

ло ознакомить с текстом Меморандума, и мы с Петром Григоровичем обсудили мой маршрут туда и обратно.

Квартира семьи Григоренко была скромной, явно не «генеральской». Плотная фигура хозяина как бы заполняла собой весь дом, хотя был он там не один: в тот день я познакомился с женой Петра Григоровича Зинаидой Михайловной, ее сыном от первого брака Олегом, а также с крымской татаркой Айше Сейтмуратовой. Зинаида Михайловна оказалась на редкость радушной хозяйкой, чья приветливость покоряла и завораживала. Вообще, сердечность хозяев дома уже через несколько минут создавала впечатление, будто мы знакомы давным-давно. Интересно, что и Зинаида Михайловна после той единственной встречи сохранила ко мне теплое чувство на всю жизнь, о чем она не раз признавалась мне по телефону во время моих наездов в Америку, когда Петра Григоровича уже не было в живых.

Зато с Айше у нас разговор не получился. Хотя я и испытывал к ней искреннюю симпатию, но все-таки опасался задеть болезненную крымскую тему, в которой тогда слабо ориентировался. В свою очередь, все внимание Айше было приковано к хозяину дома. Ее любовь и восхищение Петром Григоровичем проявлялась в каждом жесте и в каждом взгляде. И это ее к нему отношение стало для меня на тот момент символическим. Позднее, когда в лагере я слышал рассказы о любви крымских татар к Григоренко, для которых он стал чем-то вроде национального героя, в моей памяти сразу же всплывала фигура Айше. Я не запомнил черт ее лица, но твердо запомнил те знаки уважения и любви, которыми она окружала Петра Григоровича.

Мое пребывание в этом гостеприимном доме было недолгим: короткий деловой разговор, продолженный уже за обеденным столом, и – в дорогу. Как это часто бывает, прощаясь, я не догадывался, что вижу с хозяином в первый и последний раз. Кремлевская метла, которая заботливо «зачищала» жизненное пространство для более удачливых и благополучных сограждан, «вымела» нас в разные стороны: меня – в лагерь на Урал, Петра Григоренко и Зинаиду Михайловну – в Америку, где они, лишенные советского гражданства, вынуждены были доживать свой век вдали от родины. Об их печальной эмигрантской судьбе мне впоследствии много рассказывала Надия Свитлычная, горячо любившая Петра Григоровича и его семью и поддерживавшая с ними регулярные контакты. Именно от нее я получил несколько последних фотографий состарившегося генерала, сделанных уже в конце его земного пути. А умер он как раз в тот год, когда я вернулся домой из казахстанской ссылки. На его могиле в Баунд-Бруке я помолился в самом начале 1990-х годов при моем первом посещении Америки.

На этом мои воспоминания об одной-единственной встрече с генералом Григоренко можно было бы и закончить, если бы не одно письмо, хранящееся у моего бывшего армейского друга Геннадия Плоткина, уже давно живущего в Америке. В 1977 году, еще находясь дома, в Дрогобыче, Геннадий предпринял несколько безуспешных попыток со мной связаться, пока однажды по радио «Свобода» не услышал о моем аресте. Но даже эмигрировав в Соединенные Штаты, он не прекращал поисков и в конце концов вышел на Петра Григоровича, который ему ответил. Текст этого письма настолько хорошо передает дух той полузабытой эпохи, что я с разрешения Геннадия хочу его здесь впервые опубликовать.

20.08.1982

Уважаемый Геннадий!

Мирослава Мариновича я, конечно, знаю. Я член Украинской Хельсинкской группы, а с момента высылки из СССР – представитель этой группы на Западе.

Когда Вы разыскивали Мариновича (летом 1977 г.), он уже был под арестом, а я еще был в Москве и боролся за освобождение арестованных членов группы, в том числе Мирослава. Осудили его на 7 лет заключения и 5 ссылки. По последним данным, он в Чистопольской тюрьме (далее следует адрес, однако информация эта была ошибочной: в Чистопольской тюрьме я не сидел. – М. М.).

Вы спрашиваете, существует ли возможность почтовой связи с ним. Почему же нет? Мы с Вами, слава Богу, живем в свободной стране, в которой связь не ограничена ничем. А эта страна состоит в договорных отношениях с СССР по почтовым связям. И должна принимать и доставлять своим гражданам письма, полученные от американской почты. Но поскольку СССР может нарушать любые договора, американская почта рекомендует своим гражданам письма и открытки посылать с подтверждением о вручении, а посылки и бандероли, кроме того, страховать. В этих случаях за недоставленные отправления можно взыскать.

Я не знаю Ваши материальные возможности, но если они имеются, жене можно послать посылку и бандероль. Писать надо, помня, что будет цензура, поэтому самое «беспартийное» (как Вы разыскивали его, о том, что послали письмо его жене и т. п.). Говоря о том, как нашли, не ссылайтесь на радио «Свобода». Лучше приплетите случайность. Познакомились с земляком, а он, оказалось, знает Мариновича. Если по ходу потребуется имя земляка, назовите мое имя-отчество (не фамилию) в украинской транслитерации (Петро Григорович).

Желаю Вам успеха. Связавшись, Вы сделаете благородное дело. Подбодрите дух хорошего человека, хотя он и без этого

держится великолепно. Мужественно вел себя на суде и так же ведет себя в заключении. Участвовал в создании и работе Украинской Хельсинкской группы.

Пусть Господь хранит Вас и семью. Привет от меня и Зинаиды Михайловны.

С уважением П. Г.

Излишне говорить, как дорого мне это письмо. Однако прочитал я его уж тогда, когда Петро Григорович ушел в мир иной. И было оно будто привет от него из тех мест, где нет «ни горестей, ни печалей», а еще – шмонов и психушек, партийного беспредела и гэбистской дьявольщины.

Генералу Григоренко выпала нелегкая участь вести войну сразу с двумя тоталитарными режимами двадцатого века. И, как человек чести и совести, он не побоялся назвать оба эти режима преступными. То есть сделал то, чего и до сих пор не решаются сделать многочисленные его собратья по оружию – советские ветераны Второй мировой войны. Они – формальные победители – все еще находятся в плену идеологических иллюзий. Григоренко же – преследуемый властью и приговоренный к принудительному психиатрическому лечению – дважды победил зло, и дух его остался свободным. Думаю, что с таким «послужным списком» ему не страшно было предстать и перед Последним Судом, который не страшен для таких, как он, праведников.

Львов, 2007 год

ОН БЫЛ БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГОМ ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА

В течение уже более двух десятков лет граждане бывшего СССР, во всяком случае, значительная часть людей этого бывшего государства могут открыто, не опасаясь репрессий, высказывать и даже публиковать свои мысли и взгляды, то есть пользоваться своим естественным, данным им Всевышним правом – правом на свободу слова и мысли. Но мы еще не так далеко ушли от тех лет, когда это могли позволить себе лишь немногие, потому что за свободное выражение мысли надо было расплачиваться годами лишения свободы в тюрьмах и лагерях, в страшных психиатрических «лечебницах» МВД, а зачастую и самой жизнью. Такая цена могла быть доступна только тем, чье человеческое достоинство было сильнее страха за свою жизнь, за личное благополучие, для людей с очень чуткой совестью.

Есть на Востоке пословица: «Больше всего за свою шкуру трясется тот, чья шкура ничего не стоит». Петро Григоренко принадлежал к когорте людей, для которых исполнение своего нравственного и гражданского долга было превыше всего.

О многогранной жизни и деятельности Григоренко можно писать много. Я ограничусь здесь лишь той ее стороной, которая была связана с крымско-татарской проблемой, основываясь на своих личных с ним контактах.

Крымско-татарское национальное движение в силу своего ненасильственного и демократического характера привлекало внимание и симпатии многих прекрасных людей разной национальности, которые оказывали нам посильную помощь. С риском для своей свободы они распространяли информацию о беззакониях властей против крымско-татарского народа, документы и обращения национального движения, подписывали обращения к мировой общественности в поддержку нашей борьбы. И особое место среди этих людей занимает наш друг и брат Петро Григорьевич Григоренко.

17 марта 1968 года представители крымских татар в Москве решили торжественно отметить 72-летие со дня рождения русского писателя Алексея Костерина, узника сталинских лагерей, много сделавшего для распространения правды о нашем национальном движении и о тех препятствиях, которые чинились властями на пути к возвраще-

нию нашего народа на землю предков. Но, к сожалению, из-за случившегося накануне инфаркта приехать на встречу с нами Костерин не смог. Приехала супруга писателя, несколько известных московских диссидентов и высокий пожилой мужчина, военный ученый и опальный генерал Григоренко, уже отсидевший к тому времени полторагодичный срок в спецситушке МВД за критику советского режима.

Мы выступили с благодарственными речами в адрес Костерина, в которых звучала наша глубокая признательность за ту помощь, которую он оказывал крымским татарам и другим репрессированным народам. После этого от имени писателя взял слово генерал Григоренко. Он произнес незабываемую речь, которую потом публиковали в зарубежной печати, зачитывали западные радиостанции и в тысячах экземплярах распространяли среди крымских татар на всех наших собраниях и митингах. С этого момента Григоренко как-то сразу стал известен всему нашему народу и до конца своей жизни он был с нами и душой и сердцем.

Эта знаменитая речь³² оказала большое влияние на характер крымско-татарского национального движения и его радикализацию. Григоренко предложил коренным образом изменить стратегию и тактику движения, прекратить обращаться с просьбами о справедливости в ЦК и к правительству, а переходить к решительным требованиям. Ибо, как сказал он, «то, что положено по праву, не просят, а требуют».

Конечно, и до выступления Григоренко в нашем национальном движении почти с самого его зарождения существовало достаточно радикальное крыло, которое исходило из того, что нечего ждать милосердия и справедливости от преступных кремлевских вождей и что только мобилизуя широкую мировую общественность можно заставить их уважать наши права. Но бесспорно и то, что именно после тесных контактов активистов нашего движения с диссидентскими кругами, и, в первую очередь, с Григоренко, это радикальное крыло очень скоро стало основным и доминирующим.

Соответственно изменили свою тактику и карательные органы. Если раньше они обрушивали репрессии даже против тех, кто подписывал просительные петиции в адрес ЦК КПСС, то теперь свой основной удар они направили против тех, кто поддерживал контакты с диссидентами других национальностей и апеллировал в своих обращениях к международной общественности. Для внесения раскола в крымско-татарское национальное движение они стали создавать некие «течения» и группировки, придерживавшиеся просительного тона во взаимоотношениях с властью и отвергавшие необходимость

³² Ее текст содержится в приложении.

вовлечения крымско-татарских активистов в общедиссидентское движение. Некоторые из таких лояльных к режиму группировок были использованы и против опального генерала – они выступали с заявлениями, что, мол, установление отношений с антисоветчиками типа Григоренко, Солженицына и Сахарова наносит ущерб крымско-татарскому национальному движению, дискредитирует наш народ в глазах советской общественности и отдаляет решение крымско-татарского национального вопроса.

В то время квартира самого Петра Григорьевича была под постоянным наблюдением – все прослушивалось, просматривалось, почта тщательно перлюстрировалась. Он не мог даже пойти в магазин за продуктами без того, чтобы за ним не увязались несколько гэбистских филеров. Но арестовать его власти долгое время не решались – мешала его огромная популярность в стране, а также широкая известность на Западе.

Создавалась парадоксальная ситуация. Если у рядового человека во время обыска обнаруживали статьи Григоренко и особенно знаменитую речь на вечере 17 марта 1968 года, то это было достаточным основанием для его ареста по обвинению в хранении и распространении документов, порочащих советский строй. Например, 21 апреля 1968 г. в Чирчике близ Ташкента были избиты и разогнаны несколько тысяч крымских татар, собравшихся отмечать свой национальный праздник «Дервизу», а несколько человек были арестованы и преданы суду. И основной причиной этой жестокости было то, что по оперативным данным КГБ активисты национального движения собирались зачитать на этом празднике речь Григоренко. А вот сам автор этой речи продолжал находиться на свободе. То же самое происходило и с сочинениями Солженицына и Сахарова. Объяснялось это тем, что органы действовали по принципу шакалов: хватать очень сильных они побаивались, а ограничивались только отдельными гнусными провокациями, пытаясь создать вокруг них общественный вакуум.

В свою очередь, крымские татары, опасаясь расправы с генералом с помощью какого-нибудь провокатора из-за угла, тоже были вынуждены принять меры в защиту своего друга. Из Узбекистана в Москву была отряжена специальная группа молодых ребят во главе с Кязимом Сейтумеровым, которые должны были вести негласное наблюдение за квартирой Григоренко и сопровождать его во время поездок по городу, чтобы оградить его от подосланных гэбистских провокаторов.

Сам Петро Григорьевич об этом долгое время ничего не знал и однажды мне пожаловался, что стал в последнее время замечать возле

дома и во время прогулок филеров нерусской национальности. «Вот на их-то помощь вы как раз можете рассчитывать», – отвечал я ему. Он посмотрел на меня с недоумением, а потом сердечно расхохотался. Пожал мне руку, но одновременно и пожурил за то, что мы «нерационально тратим свои силы».

После вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968 г. репрессии против диссидентов резко усилились. Один за другим были арестованы и десять активистов нашего национального движения. Пришли гебисты и ко мне домой в Ташкенте, но мне удалось благополучно выпрыгнуть из окна и бежать с частью нашего архива, а затем в течение двух месяцев находиться практически на нелегальном положении.

10 ноября 1968 года скончался Алексей Костерин. Его похороны превратились в грандиозную по тем временам демонстрацию инакомыслящих. Приехали на похороны и делегации крымских татар, чеченцев и ингушей, за права которых долгие годы боролся Костерин. А возглавил эту демонстрацию его друг – генерал Григоренко, произнесший на его похоронах замечательную речь, вызвавшую громкий общественный резонанс.

Через несколько дней после похорон в квартире у Григоренко состоялся обыск. Пришли рано – часов в шесть-семь утра. В тот день я как раз ночевал у него дома. Раздался звонок, Григоренко подошел к дверям, спросил «кто там?». Из-за двери ответили: «Крымские татары из Узбекистана». Подобные слова действовали на Григоренко магически, он сразу открыл дверь, но в квартиру ввалилось более десятка гебистов во главе со следователем по особо важным делам прокуратуры Узбекистана Б. Березовским. Формально обыск проводился по делу десяти арестованных крымских татар по постановлению прокурора Узбекистана.

Увидев в квартире и меня, они чрезвычайно обрадовались. Березовский сразу же позвонил куда-то и сообщил, что Джемилев, бежавший во время обыска в Ташкенте, тоже здесь и скоро будет «доставлен».

«Быть доставленным» в мои ближайшие планы никак не входило. Через пару часов после начала обыска, пользуясь создавшейся суматохой, я предпринял новую попытку побега. Но на этот раз неудачно. Прыгая из окна квартиры Григоренко, расположенной на третьем этаже, я сломал ногу, был схвачен и доставлен сперва в отделение УВД, а потом в институт Склифосовского, где мне наложили гипс. Арестовывать они меня тогда не стали. Во-первых, об обыске в квартире Григоренко и инциденте с моим неудачным прыжком ментально передали многие западные радиостанции, а во-вторых, им явно не хотелось арестовывать меня в Москве. Видимо, они решили,

что со сломанной ногой я далеко не уйду, вернусь к себе в Узбекистан, и там они меня спокойно заберут.

Через два дня в институте Склифосовского врачи сказали, что меня выписывают, так как у меня нет московской прописки, и что дальше мне надо лечиться по месту жительства в Узбекистане. Но, выйдя на костылях из больницы, я неожиданно увидел нескольких встречавших меня диссидентов – среди них Виктора Красина и Петра Якира, – которые посадили меня в машину и привезли на квартиру Григоренко. Там я пробыл с гипсом нескольких месяцев, стал как бы членом их семьи и отчасти сделался чем-то вроде референта Григоренко – занимался его бумагами, перепиской, делал для него обзор прессы, принимал отдельных посетителей и т. д.

Месяцы, проведенные в этой прекрасной семье, были очень бурными и самыми интересными в моей жизни, ибо я находился в самом эпицентре правозащитного движения: встречи с виднейшими диссидентами того времени, огромное количество самиздатовской и эмигрантской литературы, которую едва успевал прочитывать, и, главное, долгие беседы с самим Петром Григорьевичем. Он острее, чем мы сами, воспринимал все беззакония, творимые властями против крымских татар. Мы как-то уже притерпелись, привыкли к тому, что кого-то арестовывают, что сносят в Крыму бульдозерами купленные на последние сбережения дома, а самих людей под конвоем выдворяют за пределы полуострова и т. д. А Петро Григорьевич не мог успокоиться, пока что-то не сделает в поддержку пострадавших. Помню, как он растолкал меня рано утром со словами: «Вот ты спишь, а там в Крыму Энвер Аметов уже седьмые сутки держит голодовку протеста против разрушения его дома. Надо же что-то делать...»

Когда моя нога зажила, Петро Григорьевич своим именным кинжалом разрезал гипс и я, хотя и с палочкой, стал делать пробные вылазки за пределы его квартиры. Однажды выехал в город и, прежде чем вернуться обратно, позвонил домой, чтобы спросить, не нужно ли купить какие-нибудь продукты. Трубку снял Петро Григорьевич и взволнованно сообщил: «Только что получено известие, что час назад у Боровицких ворот Кремля стреляли в Брежнева и что вроде бы стрелял крымский татарин. Если это так, то начнут хватать всех крымских татар без разбора. Решай сам, что делать!»

Это было что-то невероятное, во-первых, потому, что подобные методы были совершенно чужды для нашего национального движения. А, во-вторых, я знал всех крымских татар, находившихся в то время в Москве, – они часто навещали меня в квартире Григоренко, и если бы намечалось что-то подобное, мне хотя бы намекнули. Я сразу решил, что это провокация, а Петру Григорьевичу ответил, что в

таком случае сегодня домой не вернусь, а свой адрес сообщу позже. Купил билет в сторону Кавказа и перед отходом своего поезда снова позвонил Григоренко, чтобы попрощаться. От него я узнал, что стрелял вовсе не крымский татарин, а какой-то лейтенант Ильин, причем перепутал машины и вместо машины Брежнева открыл стрельбу из двух пистолетов в следовавшую за ней вторую машину, в которой находился только что вернувшийся из космоса полковник Береговой, ранив не то водителя, не то одного из телохранителей. «Так что возвращайся», – закончил Петро Григорьевич. Но я ответил, что поскольку все равно в ближайшие дни собирался уезжать, то лучше это сделать сейчас. И я уехал в Краснодарский край, а связь с Петром Григорьевичем мы продолжали поддерживать через наших спецкурьеров.

Тем временем в Ташкенте готовился процесс над десятью активистами крымско-татарского движения. Григоренко выразил желание выступить на этом процессе в качестве общественного защитника, и очень скоро было собрано около двух тысяч подписей крымских татар с требованием допустить его на этот процесс. Процесс был назначен на начало мая, и Петро Григорьевич вылетел в Ташкент. Одновременно поездом из Краснодара выехал туда и я.

В Ташкенте узнал, что процесс откладывается и что Григоренко намерен вернуться в Москву. Мне сообщили адрес квартиры крымского татарина Дильшата Ильясова, где он остановился. Когда я приехал туда, то нашел его больным, в постели и с высокой температурой. Но уже был куплен обратный билет в Москву на вечер того же дня, и Петро Григорьевич обязательно хотел улететь.

Прошло не более часа с момента, когда я вошел в квартиру, когда вдруг раздался звонок. Я машинально выглянул в окно и увидел, что весь дом окружен милиционерами и солдатами, словно здесь находилась вооруженная банда, а не пожилой человек, чьим единственным оружием было слово.

Я крикнул хозяевам: «Подождите открывать дверь!» в надежде, что успею уничтожить кое-какие бумаги, пока пришедшие будут ломиться в квартиру. Но было уже поздно. В квартиру вошло более десятка милиционеров, солдат и штатских во главе с тем же Березовским.

Начался тщательный обыск, после которого Петру Григорьевичу предъявили ордер на арест по статье 190-1 УК РСФСР. Ознакомившись с ордером, он с улыбкой сказал мне, что ничего, мол, страшного, через три года увидимся. Я выразил надежду на то, что, быть может, увидимся раньше, и поблагодарил его за все, что он сделал для нас, крымских татар.

Петра Григорьевича увели. Это было 7 мая 1969 года. Но увиделись мы с ним намного раньше, чем он думал, – всего через несколько месяцев. Правда, случилось это не на свободе, а в подвалах ташкентского КГБ...

Я ожидал, что меня тоже арестуют в тот же день, но этого не произошло. У меня отобрали все имевшиеся при мне бумаги и документы, приставили ко мне двух милиционеров, наказав им, чтобы не разрешали мне выходить из комнаты и звонить по телефону, и уехали. Я решил, что Березовский поехал выписывать ордер на мой арест. Но примерно через час милиционерам позвонили и приказали покинуть квартиру.

Позже мне удалось выяснить причину задержки с моим арестом. Оказывается, располагая сведениями о том, что я будто бы привез из Краснодарского края несколько чемоданов с нашим архивом, они хотели выяснить, где их спрятал. Вот и решили установить за мной плотную слежку, чтобы вместе со мной накрыть и архив. Однако мне удалось оторваться от слежки и снова выехать в Москву.

Здесь, 20 мая 1969 года, на одном из диссидентских собраний, проведенном в связи с арестом генерала Григоренко, было составлено обращение в Комитет по правам человека ООН, сообщавшее о грубейших беззакониях советских властей, и сформирована Инициативная группа по защите прав человека в СССР в составе 15 человек. От крымских татар в эту группу был включен и я. Это была первая в Советском Союзе официальная правозащитная организация, открыто заявившая о своей оппозиционности режиму.

А еще через несколько дней – 6 июня 1969 года, в день открытия в Москве международного совещания коммунистических и рабочих партий – группа крымских татар в составе Решата Джемилева, Айдера Зейтуллаева, Ибрагима Холапова, Энвера Аметова и Зампиры Асановой устроила демонстрацию на площади Маяковского. Подняв транспаранты с надписью «Свободу генералу Григоренко!» и «Коммунисты, верните Крым крымским татарам», они разбросали среди москвичей машинописные листовки. Демонстрация длилась всего 6 минут. На них набросились милиционеры, избили и отправили в отделение милиции.

Одного за другим начали арестовывать и членов только что созданной Инициативной группы. В конечном счете из пятнадцати ее членов на свободе остались только трое: две женщины – Татьяна Ходорович и Татьяна Великанова, – а также Григорий Подьяпольский. Шестеро были осуждены по статьям 190-1 и 70 УК РСФСР, четверо отправлены на долгие годы в спецпсихлечебницы, двоих заставили эмигрировать.

Меня арестовали в Москве на следующий день после демонстрации крымских татар и доставили в Ташкент. Там, перед подписанием постановления о привлечении к уголовной ответственности, мне сделали гнусное предложение написать заявление с осуждением Петра Григоренко и с отказом от правозащитной деятельности («антисоветской» и «националистической», как они выразились), за что обещали свободу и даже квартиру в любом районе Крыма.

Уголовное дело против меня, Григоренко и арестованного в Москве и также доставленного в Ташкент поэта и педагога Ильи Габая было объединено в одно общее дело. Но вскоре дело против Григоренко было выделено в отдельное производство. Его решили не судить, а направить в психушку – кара намного более страшная, чем любой лагерь.

Отсидев три года в лагерях, я и Илья Габай вышли на свободу. Но увы – вскоре после освобождения Илья Габай покончил жизнь самоубийством, выбросившись с двенадцатого этажа своей московской квартиры. А я после лагеря жил в небольшом узбекском городке под гласным административным надзором, поскольку был освобожден со справкой-ориентировкой, где говорилось, что «на путь исправления» я не встал и своих «преступных связей с антисоветчиками» не порвал.

После завершения следствия, экспертизы и закрытого суда Григоренко отправили в спецпсихбольницу г. Черняховска, одну из самых страшных в Советском Союзе. А по прошествии тяжелейших для него трех с половиной лет, под мощным давлением Запада его перевели в обычную психбольницу в с. Троицкое, в нескольких десятках километров от Москвы.

К этому времени у меня кончился срок административного надзора, и я получил возможность выезжать за пределы городка, назначенного мне для поселения. И тогда, взяв рабочий отпуск, я вылетел в Москву, где сразу же навестил жену генерала Зинаиду Михайловну. Вместе с ней мы отправились к нему больницу, и это была наша последняя встреча. Потому что за неделю до его окончательного освобождения 26 июня 1974 года меня снова арестовали.

Ни физические, ни нравственные пытки и лишения, которые перенес Григоренко в тюрьме КГБ Ташкента и в спецпсихушке Черняховска, – ничто не сломило волю этого мужественного человека. И выйдя на свободу, он снова включился в активную правозащитную деятельность, возобновил связи со старыми и новыми влившимися в их ряды диссидентами, стал выступать против преследований по политическим мотивам, в том числе и в защиту активистов крымско-татарского движения.

В середине мая 1976 года вместе с Еленой Боннэр, Анатолием Марченко, Юрием Орловым и другими известными правозащитниками Петро Григорьевич создает Московскую Хельсинскую группу, призванную следить за соблюдением прав человека в СССР. И первое заявление, сделанное этой группой, имело непосредственное отношение к проблеме крымско-татарского народа. А чуть позднее, 9 ноября 1976 года, вместе с лидерами украинского правозащитного движения – Миколой Руденко, Иваном Кандыбой, Левко Лукьяненко, Мирославом Мариновичем и другими он создает Украинскую Хельсинскую группу.

В конце ноября 1977 года, за месяц до моего освобождения из дальневосточных лагерей, Петро Григорьевич вылетел в США по приглашению находившегося там младшего сына. Ему необходима была срочная урологическая операция, пойти на которую в условиях советской больницы он по понятным причинам опасался. Перед вылетом у него состоялся разговор с ответственными чинами КГБ. Он объявил им, что вылетит в Америку только в том случае, если ему будет дана гарантия, что он сможет вернуться в Советский Союз. Его заверили, что непременно впустят обратно, если он, со своей стороны, даст обещание не выступать там ни с какими политическими заявлениями, порочащими советскую власть.

В аэропорту Нью-Йорка его встречали сотни проживающих там крымских татар, украинцев, представители различных организаций, десятки корреспондентов. Но Григоренко сразу же заявил репортерам, что хотел бы после лечения вернуться домой, а потому, в соответствии с данным им обещанием, никаких заявлений политического характера делать не будет. А всем, кто действительно интересуется положением с правами человека в СССР, он предложил самим приехать в страну и увидеть все своими глазами.

Тем не менее 10 марта 1978 года появился вероломный указ Президиума Верховного Совета СССР за подписью Брежнева о лишении П.Г. Григоренко советского гражданства (как позже выяснилось, принятый еще 13 февраля того же года).

К тому времени я уже более двух месяцев находился на свободе, жил в Ташкенте под административным надзором. Через день после опубликования указа о лишении Григоренко советского гражданства мне позвонили из Нью-Йорка. Звонил проживавший там мой родственник, президент Национального центра крымских татар в США Фикрет Юртер. Поздоровавшись и обменявшись приветственными репликами, он передал трубку Петру Григорьевичу, который дрожащим голосом стал говорить о своей ситуации, а потом послышались рыдания. Безуспешно пытался я его успокоить, заверяя, что мы сде-

лаем все возможное для восстановления его гражданства, что кремлевские гниды вряд ли долго продержатся у власти, но сам слабо верил своим словам.

Да, мы действительно писали протесты, собирали подписи, протестовали и многие другие как в СССР, так и за его пределами, но это не принесло результатов. А рыдал Григоренко, разумеется, не от того, что ему было плохо в Америке. Вот что он сам писал в опубликованных позднее мемуарах об этой стране:

...Америка предоставила нам политическое убежище, кров и пищу. Мы ей за это предельно благодарны. Мы многим восхищаемся в этой стране. И наверно восхищались бы больше, если бы была возможность в любой момент покинуть ее и возвратиться к своим друзьям. Америка страна чудес. Я не перестаю поражаться ее изобилием и организованностью. Здесь все в избытке... В общем, мы попали не в другое государство, а на иную планету. «Догнать Америку» – это глупый лозунг. Догнать нельзя. Сегодняшняя Америка – результат многолетней свободы... Я полюбил эту страну и ее добрый и гордый народ...

У Петра Григорьевича были прекрасные отношения и с высшими государственными деятелями США. Осенью 1990 года, когда я посетил его квартиру в Нью-Йорке, его жена Зинаида Михайловна рассказала о трогательном письме, полученном ими от тогдашнего госсекретаря США Генри Киссенджера. Не помню дословно, но примерный смысл был такой: «Я знаю, что Вы тщательно выбираете своих друзей, но прошу Вас считать и меня другом Вашей семьи и разрешить иногда навещать Вас...»

Так что плакал Григоренко, потому что, будучи сыном своей страны, своего народа, хотел жить у себя на родине, несмотря на всю ее нищету, тюрьмы и психушки, на тупых и наглых чиновников, и быть вместе со своими друзьями и единомышленниками. Но и находясь в Америке, он сумел сделать многое для торжества нашего общего дела.

Вскоре меня снова арестовали и сослали на 4 года в Якутию. А после годичного перерыва и жизни на свободе последовал новый арест и на этот раз лагерь строгого режима на Колыме. В ноябре 1986 года, когда истекал мой очередной срок заключения, против меня было возбуждено новое уголовное дело по так называемой андроповской статье – за неподчинение требованиям лагерного начальства, предусматривающей добавление срока еще на пять лет. И тут, после комедии закрытого лагерного суда с подставными свидетелями-провокаторами, признавшего меня виновным, мне вдруг сообщили,

что я освобождаюсь из-под стражи. Оказывается, «учитывая гуманность советского суда» и наличие у меня «несовершеннолетних детей» (так было сказано в приговоре), меня решили приговорить к трем годам условно с 5-летним испытательным сроком. Я был поражен, так как готовился к совершенно другому. Откуда вдруг свалилась эта гуманность, да и несовершеннолетние дети, которых у меня вроде бы не было?

Позднее я узнал, что, наряду с различными заявлениями, протестами и демонстрациями, прошедшими за рубежом с требованием моего освобождения, решающую роль сыграло обращение Петра Григоренко и его супруги Зинаиды Михайловны к президенту Рейгану с просьбой оказать давление на Советы и добиться моей свободы. Впоследствии Зинаида Михайловна рассказала мне, что помимо их совместного обращения к президенту, опубликованного в западной прессе, было и другое письмо Петра Григорьевича, в котором были слова: «Господин президент, я умираю, и ничего меня спасти не сможет. Но я прошу Вас сделать все возможное для спасения другого человека...»

Так, за несколько недель до смерти, страдающий и прикованный к постели, этот человек продолжал думать о других. А 21 февраля 1987 года его не стало...

Когда-то, выступая на похоронах своего друга писателя Костерина, Петро Григорьевич сказал: «Далеко не каждый наделен таким качеством, как гражданское мужество... На моих глазах совершались героические воинские подвиги. Совершали их многие... Но даже многие из тех, кто были настоящими героями в бою, отступали, когда нужно проявить мужество гражданское. Чтобы совершить подвиг гражданственности, надо очень любить людей, ненавидеть зло и беззаконие и верить, верить беззаветно в победу правого дела. Алексею Костерину все это было присуще. И тем тяжелее нам сегодня...»

Всей своей жизнью Григоренко поднял понятие гражданского мужества на новую высоту.

В 1990 году, когда я впервые приехал в США и навестил его могилу, привратник кладбища, увидев, куда я возлагаю цветы, спросил: «Вы знали этого человека? На его похоронах было так много людей, как ни у кого из всех здесь похороненных за все годы моей работы на этом кладбище».

* * *

Как известно, крымские татары, возвращаясь на свою родину, при отказе властей выделить им земельные участки сами начинают занимать эти участки и самовольно приступать к строительству. Один из

таких самостроев возник в августе 1989 года в селе Заланкой Бахчисарайского района, переименованном после депортации 1944 года в Холмовку. Власти попытались выдворить оттуда крымских татар и силой, и угрозами, но не получилось. И после долгих проволочек земельные участки были все же узаконены. Выросло новое красивое селение с двумя улицами, одну из которых жители решили назвать в честь Петра Григоренко, а другую – в честь Исмаила Гаспринского, нашего величайшего просветителя-гуманиста прошлого века. Против Гаспринского власти не возражали, хотя и не знали толком, о ком идет речь. Но, видимо, решили, что раз имя татарское, значит, это какая-то национальная знаменитость, ну и Бог с ним. Но в отношении Григоренко они категорически выступили против, заявив, что улица будет называться «Фруктовая». Но крымские татары стояли на своем: никаких «фруктовых» или «овощных», улица будет названа именем Петра Григоренко. И это противостояние длилось больше года. Людей не прописывали, потому что они не хотели жить на «Фруктовой», а из-за неоформленных документов нельзя было ни устроиться на работу, ни даже зарегистрировать брак. В конце концов они все-таки добились своего, и улица в Заланкое получила имя Григоренко. Позднее оно было присвоено и другим улицам крымско-татарских поселений Ялты и Симферополя.

А в 1999 году крымские татары решили установить в центре Симферополя на Советской площади памятник П. Григоренко. На официальное разрешение рассчитывать не приходилось, поскольку большинство в городском совете составляли коммунисты и пророссийские шовинисты. Поэтому решили устанавливать памятник явочным порядком, то есть безо всяких разрешений. Коммунисты вместе с активистами пророссийских организаций предупредили, что ни в коем случае этого не допустят, а если памятник будет установлен, его снесут. Одновременно они предприняли попытку заложить на том же месте камень под будущий памятник Екатерине Второй. Возведение постамента для памятника Григоренко проводилось под охраной группы крымских татар, не обходилось без стычек с местными шовинистами. В конце концов мы были вынуждены выступить с заявлением, что памятник П. Григоренко обязательно будет установлен, а в случае его сноса мы немедленно приступим к демонтажу по всему Крыму многочисленных памятников Ленину и другим российским деятелям, известным своими злодеяниями против крымско-татарского народа. Председатель Бахчисарайского меджлиса Ильми Умеров даже приготовил заранее трактор и трос, чтобы снести огромный памятник Ленину на площади возле бахчисарайского горисполкома. Позднее, в рамках мероприятий, связанных с годовщиной де-

портации нашего народа, нам удалось с помощью созданного для их проведения государственного оргкомитета не только узаконить уже установленный памятник, но и переименовать место, где он сооружен, в сквер имени Петра Григоренко.

К столетию со дня рождения П. Григоренко я подготовил для Верховной Рады Украины проект постановления о проведении мероприятий к юбилею легендарного правозащитника. Но учитывая неоднозначное отношение к нему со стороны различных политических сил, решил в интересах лучшей «проходимости» этого постановления включить в качестве соавторов представителей других парламентских фракций – известного правозащитника, соратника Григоренко, депутата от фракции «Блок Юлии Тимошенко» Левко Лукьяненко и депутата от партии регионов Н. Карпачеву, занимавшую пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Сумма голосов трех фракций – «Нашей Украины», «Блока Тимошенко» и партии регионов – составляло весомое большинство, и у меня почти не было сомнений, что постановление будет принято. Однако оптимизм оказался преждевременным.

Мое выступление с трибуны было встречено злобными выкриками коммунистов, особенно когда я заговорил о заслугах Григоренко в борьбе с советским тоталитарным режимом. Свое выступление я закончил словами: «Очень надеюсь, что подавляющее большинство депутатов поддержат это постановление. У нас могут быть разные политические взгляды, но в вопросе оказания должных почестей людям, которые ценой своей свободы и жизни служили своему народу, полагаю, мы должны быть едины». Но большинство депутатов, как оказалось, думало иначе.

Еще во время моего выступления заместитель главы фракции «Партия регионов», бывший спикер Рады В. Киселев ходил по рядам своих однопартийцев, убеждая их ни в коем случае не голосовать за постановление о Григоренко, поскольку коммунисты решительно против, а если «регионалы» проголосуют «за», то может развалиться «антикризисная коалиция».

После меня в поддержку моего проекта выступили В. Яворивский (Блок Тимошенко) и Рефат Чубаров. Лукьяненко в тот день отсутствовал, а другой мой «соавтор» – Карпачева выступить не решилась, чтобы не раздражать своих союзников-коммунистов.

И вот объявляется поименное голосование. Табло показывает 193 «за» (а для принятия постановления необходимо было как минимум 226 голосов), двое «против», двое воздержались. «Не голосовали» 208 депутатов. Таким образом, за принятие постановления проголосовали почти все присутствовавшие в зале депутаты фракций «Наша

Украина» и «Блок Юлии Тимошенко», а также 10 депутатов от партии регионов. Социалисты не дали ни одного голоса, а коммунисты все как один повытаскивали свои карточки и сделали вид, что их не было в зале. То есть большинство Верховной Рады отказало в посмертных почестях человеку, так много сделавшему для ликвидации советского тоталитарного режима и тем самым проложившего путь к независимости Украины, депутатами которой все они стали.

Позднее состоялась моя встреча с президентом Виктором Ющенко. Я рассказал ему о том, как принималось Верховной Радой постановление о юбилейных мероприятиях в связи со 100-летием Григоренко, и попросил его оформить это постановление в виде Указа президента страны. И Ющенко не только согласился подписать такой Указ, но и поблагодарил нас за нашу инициативу.

Указ президента был подписан 5 марта 2007 года. Правда, кое-каких пунктов из нашего проекта в нем не оказалось – в частности, пунктов об установлении памятника Григоренко в Симферополе и Киеве, об учреждении стипендии имени П. Григоренко, о присвоении его имени одному из учебных военных заведений страны и т. д.

И все-таки рано было торжествовать победу. И хотя Указом президента кабинету министров предписывалось в течение одного месяца разработать совместно с Академией наук, Украинской Хельсинкской группой и Обществом политзаключенных план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея генерала П. Григоренко, но прошло несколько месяцев, а ничего предпринято не было. А на запрос главы секретариата президента В. Балогой из кабинета министров сообщили, что Указ президента признан Минюстом неконституционным, поскольку предусматривает материальные расходы, не заложенные в бюджет страны на 2007 год. Как будто у нас нет резервного фонда и как будто речь идет о каких-то ощутимых в масштабах страны расходах. В конце концов все же было принято решение создать организационную группу под председательством замминистра юстиции И. Богословской и выполнить те статьи Указа президента, в которых бюджетные расходы не предусмотрены. Но все самые существенные меры по увековечению памяти П. Григоренко были тем самым исключены.

В 1987 году номер издающегося в Бостоне крымско-татарского журнала на английском языке «Crimean Review» («Крымское обозрение») вышел в траурном оформлении с портретом Григоренко на обложке и надписью: «Он был больше чем другом для крымско-татарского народа». А в некрологе, напечатанном в этом же номере, редактор журнала Мубейин Бату Алтан написал от имени всей крымско-татарской диаспоры в США:

...Мы говорим тебе «прошай», дорогой друг. Мы говорим тебе «прощай» и заверяем, что твои жертвы были не напрасны... Будь уверен, что наши дети, внуки и будущие поколения крымских татар будут помнить все, что ты сделал для нас. Мы поделимся с тобой тем подарком, который ты привез нам, когда приехал в Соединенные Штаты – горстью крымской земли. Пусть эта земля будет всегда вместе с тобой!

И горстью крымской земли, которую он привез с собой в США и подарил Объединению крымских татар в Нью-Йорке, наши соотечественники во время похорон посыпали его могилу на украинском кладбище в штате Нью-Джерси.

Конечно, благодарный крымско-татарский народ всегда будет помнить своего верного друга и без государственных мер по увековечению его памяти. Но очень важно, чтобы таких людей знала и помнила вся страна, весь народ Украины и народы бывшего СССР, ради свободы которых он вступил в борьбу с жестоким и бесчеловечным режимом.

2007 год, октябрь

ПО ЖИВОМУ СЛЕДУ

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражений от победы
Ты сам не должен отличать.

Борис Пастернак

ОН ПРИНИМАЛ СВОЮ СУДЬБУ СТОИЧЕСКИ³³

Наша первая встреча произошла где-то в 1964 году в Ленинградской ССП (далее ЛСПБ). Скорее всего нас транспортировали в ЛСПБ приблизительно в то же самое время, так как мы встретились в 1-м корпусе, куда направляли всех вновь прибывших, подлежащих обязательному строгому наблюдению. Нас поместили в разные отделения, которые находились на разных этажах – меня на первом, а Петра Григорьевича на втором.

Эти отделения назывались «наблюдательными». Заключенным этих отделений не позволялось ходить по коридорам, все они были заперты в своих камерах. Только во время вывода в туалет и на прогулку, которая длилась не более получаса, заключенные оказывались за пределами своих камер. Насколько я помню, нам удалось договориться через общего знакомого о короткой встрече во время вывода в туалет. Этот общий знакомый был этапирован в ЛСПБ значительно раньше нас и к нашему прибытию уже был переведен из наблюдательного отделения в отделение с более легким режимом. Он каким-то образом добился определенного доверия у персонала и работал в команде уборщиков. Ему удалось организовать так, что бы меня и П.Г. вывели в туалет одновременно. Когда мы проходили мимо лестницы, я глянул вверх, а Петро Григорьевич вниз. Это был лишь очень короткий момент, достаточный только чтобы кивнуть друг другу головой. Мы не смогли обменяться даже единственным словом в ту нашу первую встречу.

Позднее мы смогли повторить наш эксперимент и обменяться несколькими словами. Ничего существенного, только что-то общее вроде «как дела» или что-то подобное.

Затем я был переведен в 4 корпус, в 10 отделение, которое было своего рода санаторием, где большинство пациентов были вполне здоровыми (в большинстве – политические заключенные), или находились в стадии выздоровления. Петро Григорьевич, однако, был переведен в другой корпус с более жестким режимом из гэбэшных

³³ Перевод с английского Андрея Григоренко. (Статья написана по-английски по моей просьбе. – А. Г.)

соображений безопасности (власти не хотели, чтобы он находился вместе с другими политзаключенными).

Я был освобожден в феврале 1965 года, и опять же помог наш общий приятель: он был тоже освобожден и поддерживал контакт с нами обоими. Через пару недель после освобождения мы с этим общим знакомым пришли в григоренковскую квартиру на Комсомольском проспекте. Мы жили не так далеко друг от друга, поэтому я стал довольно часто бывать в этом доме. Как известно, П.Г. был лишен воинского звания, а следовательно, и пенсии. Он смог устроиться на работу в качестве строительного рабочего. Он также был ветераном Второй мировой войны, на фронтах которой был неоднократно ранен. Я помню, как он однажды заметил: «Тот факт, что бывший генерал работает как обычный рабочий является приемлемым, даже нормальным. Однако то, что инвалид войны должен зарабатывать себе на жизнь таким образом, нормальным назвать никак невозможно». Хотя, вообще-то, он принимал свою судьбу стоически, никогда не жалуясь на жизненные трудности.

Хотя он принадлежал к поколению моего отца, это не являлось препятствием для нашей дружбы, возможно, потому что у меня всегда были друзья гораздо старше, чем я (Алик Вольпин, Петя Якир, позднее – Милован Джилас, Авторханов, Боб Конквест). Гораздо более сложным для меня было принять его марксистско-ленинские убеждения. С одной стороны, я питал к нему огромное уважение за его честность и мужество. Но, с другой, всегда относился с глубочайшим презрением к марксизму как к некой бессмысленной псевдонауке, этакому интеллектуально неразборчивому предмету суеверного поклонения. Мои предыдущие встречи с коммунистами были довольно неприятны, большинство из них оказывались на поверку просто лицемерами и службистами. В то же время я соприкоснулся с еще одним честным коммунистом – Сергеем Петровичем Писаревым. Здесь у меня вновь возникала неразрешимая дилемма: я не мог не испытывать к Сергею Петровичу ничего, кроме глубокого уважения за его стойкость, позволившую ему перенести ужасные НКВДэшные пытки и при этом не сломиться духовно. И, тем не менее, он тоже был марксистом-ленинцем, более того, деятельным членом партии и постоянно находился либо в процессе изгнания из нее, либо в процессе восстановления.

Сергей Петрович всегда пытался убедить нас, молодых антикоммунистов, вступать в партию, чтобы изменить ее изнутри. Тошка Якобсон, с его резким остроумием, немедленно прокомментировал: «Это все равно как пытаться излечить девушку, инфицированную венерической болезнью, спя с нею. Излечить ее не излечишь, но сам, вероятнее всего, заразишься».

Естественно, я пытался убедить как Петра Григорьевича, так и Сергея Петровича в их неправоте, но мне всегда приходилось сдерживать себя: мне было как-то неудобно спорить о таких очевидных вещах с двумя людьми, к которым я испытывал столько уважения. Как же они не видят того, что я ясно увидел в 16 лет: Сталин и сталинизм является прямым результатом марксистско-ленинской идеологии? Я надеялся, что им потребуется просто больше времени, что бы оправиться от этой болезни. Главное, они оба были честными, порядочными людьми и рано или поздно должны прийти к правильному заключению. Между тем, нам были нужны все союзники в нашем безнадежном деле.

Писарев жил на одной из улиц, перпендикулярно отходящих от улицы Горького, в доме, который когда-то, до октябрьского переворота, был гостиницей. В наше время каждый этаж этого дома был превращен в огромную коммунальную квартиру с десятком комнат по обе стороны коридора, общей кухней и туалетом. Маленькая комната Писарева была полностью забита пачками газеты «Правда» (как он с гордостью объяснил – с самого первого номера!). Он даже спал на газетах. Мы с Петром Григорьевичем с трудом смогли найти место, чтобы сесть. Очень скоро разговор моих старших друзей ушел в такие глубины марксистской премудрости, что я потерял нить и спокойно покинул их, углубленных в интересную для них тему. Покидая квартиру Писарева, я терялся в догадках, приведет ли моя инициатива к чему-либо хорошему. Но мне не стоило беспокоиться: эта моя инициатива, несомненно, оказалась одним из самых удачных решений в моей жизни.

До этой встречи с Григоренко Писарев считал вполне оправданным для коммуниста только борьбу внутри партии и никогда не обращался к широкой общественности (не говоря уже об общественности западной), расценивая это как «игру на руку классового врага». Но Петро Григорьевич убедил его в обратном цитатой из малоизвестного письма Ленина, что «в интересах пролетариата коммунист может использовать “буржуазную печать”». Эта новая находка марксистской мысли быстро распространилась в кругу мыслящих подобно Писареву людей, совершив тотальную революцию и высвободив энергию значительного числа наших новых союзников. Результат оказался абсолютно непредсказуемым и даже озадачил меня – кампания в поддержку крымских татар «за право на возвращение в Крым»! Поди, знай...

А вскоре высокая фигура генерала с тростью стала постоянной достопримечательностью наших демонстраций и пикетов перед закрытыми дверями «открытых судов» над нашими коллегами.

Последний раз мы разговаривали в Москве накануне демонстрации (и моего ареста) в январе 1967 года. Он был против этой демонстрации, потому что мы уже и так потеряли слишком много людей в последней волне арестов. «Мы не должны больше истощать наши ряды», – сказал он. «Но если позиция необороняема, нам необходимо атаковать», – заметил я. «Или отступить», – возразил он.

По какой-то причине наш разговор тогда шел в военной терминологии. Являлось ли это следствием его привычки в напряженной ситуации переключаться на язык военных терминов или это были мои попытки убедить его, пользуясь языком и понятиями, хорошо ему знакомыми? Не могу сказать. Я не знал, как объяснить ему, что в «идеологической войне» нет отступления, есть только поражение.

Наконец, мы договорились, что я буду продолжать демонстрации, а он организует кампанию поддержки после нашего ареста. Расстались мы на печальной ноте, как будто зная, что не увидим друг друга в течении очень долгого времени. Действительно, когда я был выпущен три года спустя он был уже в СПб, на этот раз – в Черняховске. Время от времени я получал письма от него (всегда с вырезками из партийных газет и журналов, которые он тщательно изучал, подчеркивая некоторые абзацы цветным карандашом). Я же был слишком занят зарабатыванием моего следующего тюремного срока, чтобы уделить им должное внимание. Так я должно быть пропустил последнюю разработку марксистской мысли.

Этот год, 1970, был невероятным годом. Я не религиозный человек, по любым меркам, но я навсегда запомнил этот год, когда рука Бога была на моем плече. Я был на пике моей юности (мне было 27), бояться мне, казалось, нечего после трех арестов и почти пяти лет в заключении. Я считал себя абсолютно непобедимым, армией одного человека. Кроме того Фортуна тоже улыбалась мне, как это нередко бывает в беспечной юности. Что бы я не начал в тот момент, это неизбежно работало. Казалось, что вся моя предыдущая жизнь только и готовила меня к этому моменту. Не исключено, что именно поэтому я взялся за совершенно безнадежную проблему – репрессивную психиатрию. По крайней мере, так это выглядело тогда. Действительно, каким образом непрофессионал докажет всему миру, что некоторые неизвестные им лица в далекой стране далеко не душевнобольные, вопреки мнению профессиональных психиатров, профессоров и академиков? Но Петро Григорьевич был постоянно у меня на уме. Я знал, что в его возрасте и с его здоровьем необходимо действительно чудо для того, чтобы он мог выжить. И чудо произошло: неожиданно кампания, которую я начал, вызвала огромный резонанс в мире. Я не знал о ней в то время, так как находился в тюрьме за «клевету на

советскую психиатрию», но взрыв, вызванный этой кампанией, был настолько сильным, что мы все были выброшены из страны, включая и меня.

Когда мы встретились снова, Петро Григорьевич был в Нью-Йорке, где он и Зина Михайловна окончательно обосновались. 10 лет прошло со времени нашей последней встречи в Москве. И вскоре после этого мы оказались вместе в Италии по приглашению итальянской католической молодежной организации «Movemento Populare». Петру Григорьевичу было заметно трудно ходить, сказывались его старые раны, а также недавно приобретенный Паркинсон (несомненно, подарок советской психиатрии). Его сопровождал своего рода адъютант, огромный американец украинского происхождения – Роман Купчинский. Нас также сопровождал переводчик Марио Корти, наш старый друг. Красивый город, большие дружественные аудитории молодых итальянцев, вопросы и ответы, словом мы были в знакомой обычной рутине. И вдруг неожиданное приключение.

Иржи Пеликан, чешский диссидент 1968 года, который жил в Италии и даже стал итальянским сенатором, обратился к нам с предложением от «красных бригад» (известной левой террористической организации) для выступления на конференции ее «политического крыла». Я колебался, Марио тоже, но Петро Григорьевич немедленно согласился. «Они должны знать, что такое реальный социализм гораздо больше, чем католическая молодежь», – сказал он. Это заставило меня забеспокоиться еще больше. Если он начнет говорить все, что он думает о реальном социализме этим головорезам, то дай нам Бог унести ноги, спасая наши жизни. А как мы сможем убежать, если наш генерал едва может ходить? Итак, я созвал военный совет. «Роман, ты как самый крупный и решительный среди нас, будешь прикрывать наш отход, а Марио и я подхватим генерала под руки и быстро, насколько возможно, удаляемся из аудитории». Роман был не слишком доволен заданием, но возражать не стал.

Я сейчас не помню, в каком городе это происходило, но в назначенное время мы пришли к современного вида университетскому зданию. Зал был полон, люди сидели даже на ступеньках. Мы были немного напряженны, не зная, чего ожидать. Но мы не должны были беспокоиться: представленный Пеликаном, наш генерал произнес зажигательную речь, сопровождавшуюся бурной овацией!

С 1982 по 1986 год я жил в Калифорнии, работая в Стэнфордском университете, но довольно часто посещал восточное побережье. Это дало мне возможность видеться с Петром Григорьевичем и Зиной Михайловной гораздо чаще. Конечно, наиболее запомнившейся была встреча в связи с его 75-летием. Само собой разумеется, я не мог про-

пустить такую дату. Но что я должен привезти в подарок? Я никак не мог появиться с пустыми руками, не так ли? После некоторого раздумья, я решил подарить бутылку коньяка того же возраста, что и Петро Григорьевич. Но где я могу найти такой коньяк в Калифорнии? Правда, это винодельческая часть страны, но их коньяк довольно примитивен, и идея сохранения его на протяжении десятилетий еще не проникла в калифорнийское сознание. Ну что с них взять... американцы ...

Я просмотрел телефонный справочник «Желтые страницы» и, к своему изумлению, обнаружил общество любителей коньяка. И сразу же подумал, что это шанс. На мой телефонный звонок ответил кто-то с явным британским акцентом, что вселило в меня большую надежду. Да, сказал он, в нашем обществе есть члены с большой коллекцией старых французских коньяков. Что вы ищете, старина? Я объяснил. Нет проблем, сказал он, я найду вам кого-нибудь. И, действительно, он нашел! Мы договорились встретиться в университетском баре. Поджарый мужчина спортивного вида, лет 60, как мне показалось, подошел ко мне в назначенный час. «Не Вы ли тот парень, который ищет старый коньяк?», – спросил он. Мое сердце упало, он был явно американцем. «Почему вы хотите, чтобы коньяк был конкретного года?» «Я хочу подарить его на день рождения моего старого друга такого же возраста», – ответил я. «Расскажите мне, кто ваш друг? Я должен быть уверен, что эта бутылка попадет в достойные руки». Я закатил такую речь, что генерал смог бы получить Нобелевскую премию мира, если бы я произнес ее в Осло. Он слушал с большим вниманием, не прерывая меня, пока я рассказывал о Второй мировой войне и диссидентской деятельности генерала, пока я не подошел, наконец, к тому, что я сел в тюрьму, ради того чтобы добиться его освобождения. Тут неожиданно его серые глаза стали стальными, и он прервал меня. «Ну что ж, вы можете получить бутылку», – сказал он и вынул ее из своего портфеля. «Просто заплатите...», – и он назвал невероятно низкую цену, что-то вроде 100 долларов. «И скажите своему другу, что он еще очень молодой человек», – добавил он. «Мне 85. Мы приобрели с моим братом два ящика этого коньяка в начале 1930-х годов в Париже. С тех пор я всегда выпиваю стаканчик или два в день. Очень полезно для здоровья». Вот тебе и американец...

Естественно, я рассказал эту историю генералу, его семье и всем другим, кто был готов ее выслушать на праздновании в Нью-Йорке. Громадный зал в подвале дома, где жил генерал (этот дом принадлежал кому-то из нью-йоркских крымских татар), арендованный по этому случаю, был заполнен гостями. Зина Михайловна танцевала, как будто ей было 20 лет.

Бутылку, разумеется, мы выпили тихонько на троих, генерал, Андрей и я, без особой рекламы. Коньяк оказался чертовски хорош. Заканчивая бутылку, я задал вопрос, который крутился у меня на языке в течение долгого времени: «Ну, скажите мне, Петро Григорьевич, вы до сих пор марксист-ленинец?». Он улыбнулся мне улыбкой старого, мудрого человека, улыбкой, которую я так любил. «О, нет. Я окончательно вылечился. Я вернулся к вере моих предков»³⁴.

Он умер пять лет спустя.

*Кембридж, Великобритания
2007 год*

³⁴ Генерал окончательно порвал с марксизмом и вернулся в лоно Церкви ещё до изгнания из СССР, в середине 70-х годов прошлого века. Супруги Григоренко тогда же венчались церковным браком – Примеч. А.Г.

Наум Коржавин

В ЗАЩИТУ БАНАЛЬНЫХ ИСТИН

(Над страницами жизни Петра Григоренко)

Некоторое время тому назад ко мне обратился Андрей Григоренко с просьбой написать небольшой очерк-воспоминание к 100-летию со дня рождения его отца. Поскольку с Андреем мы были знакомы еще в Москве, то он считал, что я также был знаком и с покойным генералом еще с диссидентских времен. На самом деле Андрей ошибся. Я, естественно, много слышал о бунтовщике-генерале и даже присутствовал на похоронах Алексея Костерина, где Петр Григорьевич произнес свою знаменитую теперь речь, но лично знаком с ним не был. Мы познакомились только в Америке. По странному стечению обстоятельств это произошло в тот день, когда генерала лишили советского гражданства.

Поскольку наше знакомство с Петром Григорьевичем было достаточно недолгим и о нем я знаю в основном по книге его воспоминаний, то я предложил Андрею включить в сборник мою рецензию на эту книгу, написанную вскоре после выхода книги в свет. Конечно, многое изменилось за двадцать с лишним лет после написания моей рецензии. В частности, исчез Советский Союз. Таким образом, когда в рецензии я говорю «наша страна», то надо понимать, что я имею в виду все страны, образовавшиеся на его месте. Я говорю о нашей общей истории и общих проблемах как прошлого, так и настоящего. То, что я говорил тогда, остается справедливым и сегодня.

Наум Коржавин

Бостон, 10 июня 2007 года

Если судить по названию книги П.Г. Григоренко «В подполье можно встретить только крысы», – то это еще одна книга о проблемах диссидентского движения. Между тем, это движение не занимает большого места в этой книге. Это прежде всего рассказ о том, как один честный, талантливый и умный человек начал служить, почти всю свою жизнь честно, даже идя на конфликты, прослужил, а потом перестал служить советской власти. Название явно уводит в сторону.

Правда, сам автор дает ему особое истолкование. Он исходит из того, что подполье – это не вообще нелегальность, а только заговор группы лиц, имеющий целью захват и удержание власти над всеми остальными. А поскольку автор всю жизнь служил именно таким крысам, получается, что название это вполне уместно. Но, во-первых, эти объяснения – устные, а во-вторых, плохо, что название вообще требует объяснения и вызывает семантические споры. Так или иначе, но по названию о сути книги догадаться трудно. И многих оно может оттолкнуть или не заинтересовать. А жаль. Эта книга нужна всем.

Кстати говоря, проблем подполья П.Г. Григоренко почти не касается. Даже на последних двухстах страницах, собственно и посвященных участию автора в правозащитном движении.

На этих страницах тоже есть много интересного. Особенно, когда автор рассказывает о своем пребывании в закрытых психиатрических больницах – «психушках», то есть в самой уже бездне советского бесправия, где у человека вполне официально отнято право на личность. «Больной, не возбуждайтесь!», – змеиным шепотом шипели на него сестры этого заведения, когда он серьезно возражал, заступаясь за других несчастных. Это был одновременно и намек на то, что они вправе к любым его словам относиться как к бреду сумасшедшего, а при случае могут его и «успокоить». Такого торжества ублюдков над высоким интеллектом и духом вряд ли когда-нибудь знала история. В сущности, ублюдочная власть так же относится ко всему народу, заставляя его делать вид, что внушаемая ею бессмыслица есть членораздельная речь, а тех, кто отказывается делать такой вид, – «успокаивая». Обстановка, которая вырвала когда-то у Григоровича знаменитую фразу «Вся Россия – палата 6?» – по сравнению с этой рай земной. Не говоря уже о том, что и тогда эта фраза была преувеличением. Но думаю, что если сказать: «Весь СССР – спецпсихбольница МВД!» – преувеличения не будет. Думаю, что так, как П.Г. Григоренко прошел через эти испытания, – мало кому бы удалось пройти. Он не только вошел, но и вышел из этой больницы, сохраняя здравость ума и души. Но это уже потому, что он – человек незаурядный, что этих качеств у него не только достаточно, но и в избытке, что сила его духа и интеллекта редкостны. В принципе, такие испытания человека должны сломить. Ведь это же пять лет таких издевательств, мелких, ежедневных, ежечасных, непрерывных... Это было так тяжело, что и сегодня Петр Григорьевич избегает слишком много об этом рассказывать, переживать это снова.

Но он сохраняет способность относиться к этому факту широко, обобщенно. Он видит в нем угрозу не только жителям тоталитарного мира, но и всем людям на земле. Ибо это дурной пример. Ибо впервые

доказано, что психиатрию можно в широких масштабах использовать против человека. От себя добавлю, что довольно медленная реакция мировой психиатрической общественности на компрометацию своей профессии подтверждает основательность тревоги П.Г. Григоренко. Но он вообще склонен рассматривать проблемы широко, а не только с поверхностно-правозащитной точки зрения. Это значит, что для него все проблемы бытия вовсе не сводятся к защите прав, хотя правам он придает большое значение. Это очень интересно сказало на том, как он, например, воспринял жизнь в родной деревне, куда приехал отдохнуть после психушки. Многое его обрадовало. В глазах людей исчез страх. Иностранцы передачи на русском языке слушали открыто, не таясь от соседей. Мальчишки преследовали сексотов, пытавшихся следить за опальным земляком. «Шпиены приехали!», – орала она на всю улицу. Всему этому Григоренко радуется, без этого нельзя. Но в голову ему приходят и совсем не правозащитные мысли. «Избавление от страха, это именно то, что нужно нашему народу прежде всего, – признает он. – Но этим все не исчерпывается. Что придет на смену этому чувству? Какой духовный мир займет его место? Это вопрос, во всяком случае, не менее важный. Но ответа на него пока нет. И даже не намечается». И действительно, коммунистическую пропаганду народ не приемлет, церковью почти нет, а западные радиостанции, даже «Свобода», не создают программ, способствующих формированию внутреннего мира человека. «Что же будет с не знающей страха, но пустой душой? Пока что пустоту эту заливают самогоном или домашним вином. А что будет дальше?», – тревожится он. И тревога его – существенна. Ибо вопросы эти перед ним стоят, и о них нельзя забывать, они ведь все равно себя покажут. И человека, способного так свободно, четко и широко мыслить, в нашей стране объявили сумасшедшим.

Тем не менее, все-таки я считаю, что последние двести страниц лучше было бы в эту книгу вообще не включать, их надо было либо издать отдельно, либо включить в какую-нибудь другую книгу – в дополнение к написанному о диссидентском движении другими авторами и самим П.Г. Григоренко.

Ценность же этой книги, и ценность непреходящая, в другом – в том, что она есть историко-психологическое свидетельство первостепенной важности.

Это свидетельство человека, прошедшего с советской властью весь ее путь до сегодняшнего дня, путь рядового представителя тех кадров, которые, по выражению Сталина, решают все. И которые действительно все решили. Путь человека, втянувшегося, как и многие, в этот слой – незаметно, но полностью. Но, в отличие от многих,

вырвавшегося из этого слоя и поэтому способного взглянуть на свой жизненный путь как бы со стороны. (Самосознание – не относится к сильным сторонам этого слоя.)

Когда он выходил в жизнь – советская власть только начиналась, была подростком, как и он. Вместе с ней он мужал, креп, входил в возраст, старел. Только вот в старческий маразм он вместе с ней не впал. Отошел. При наиболее благоприятных карьерных перспективах. Притом что от него лично эта карьера особых подлостей не требовала. (Он занимался военно-техническими и военно-историческими исследованиями.) И для тех, кто жил в это время в СССР и кто помнит, как и чем мы все жили, совсем неважно, что поначалу его отход объяснялся увиденным несоответствием реальной власти «настоящему и творческому ленинизму». Констатация несоответствия между догмами (вернее, внушенным образом) ленинизма и сущностью тогдашней (и нынешней) власти – существенный шаг для начала самосознания. Это – первый шаг. Понимание, что, тем не менее, истинный ленинизм и его сегодняшнее воплощение очень родственны, что одно вытекает из другого почти автоматически, приходит потом – если этот первый шаг сделан. Конечно, я говорю о поколениях, которые были под обаянием того и другого. Не только о П.Г. Григоренко, но и о себе – хотя я на 18 лет младше его. Более младшие поколения получили это преодоление коммунизма готовым из наших рук, но само это – не ценность. И само по себе это отнюдь не уберегает их от заболевания другими болезнями духа, иногда даже сходными. (Если опыт нашего соблазна только отвергнут, но не понят.) Но речь сейчас не об этом.

Конечно, личность человека определяется не только (да и не обязательно) категорией, не только социальным или иным слоем, к которым мы его относим, не только общностью происхождения и биографии, а и личными особенностями. Например, семьей. Многое в личности Петра Григорьевича определяется тем, что он, как говорится, человек из хорошей семьи. Обыкновенно это выражение относят к семьям дворянским, купеческим, вообще интеллигентным. Я же отношу его здесь к семье крестьянской. Но это была именно хорошая семья – с устоями, традициями, с чувством собственного достоинства, с большой и разумной любовью к земле, к знаниям, в том числе и практическим, применяемым к той же земле. Конечно, люди есть люди, и в этой семье тоже случалось всякое. Например, бабка автора, человек во всех остальных обстоятельствах добрый и заботливый, вынудила уйти из семьи беззащитную и очень добрую женщину – мачеху автора, бесприданницу, – причем, когда отец был в солдатах, и эта мачеха оставалась одна с детьми. Эта история до сих пор отзывается болью

и стыдом в душе автора – может быть, именно потому, что она резко противоречит всему, что он видел в своей семье, что в нем было заложено с детства. Ему повезло. И не только с семьей. Он испытал все благотворное влияние редкостного духовного наставника – православного священника о. Владимира Донского, человека высокого духа, ума и фундаментальных знаний, миссионера-бессребренника, проведшего лет тридцать в Африке и под конец обосновавшегося в их деревне. Влияние о. Владимира не убергло автора этой книги от многих соблазнов времени, от большевизма и безбожия, но – вместе с заложеным в семье – все равно от многого убергло, ибо составляло костяк его личности, как бы он внешне далеко подчас не отходил от этого и как бы преданно не служил новому строю.

Встречаясь на страницах этой книги с самим автором и некоторыми его товарищами, узнавая в них хороших и достойных людей, легко соблазниться, решить, что поскольку хорошие люди встречаются везде и всегда, то к таким понятиям, как «коммунизм», «новый строй», «партийность» и тому подобное – надо относиться терпимее. Это ошибка. Конечно, хорошие люди – хорошие люди, и лучше, где бы то ни было, иметь дело с ними, чем с другими. Но когда эти слова внедряются в сознание насильно, то они начинают – книга показывает и это – влиять не только на поведение людей, но даже на формирование их внутреннего мира, определяют использование их самых лучших качеств. Порядочный человек начинает истово служить оголтелой непорядочности. Особенно это опасно, если человек по природе активен.

П.Г. Григоренко судит себя самого достаточно жестко. Не только за свои прямые прегрешения, их не так уж много. Наивное кощунство, совершенное в восторге комсомольского неопитства, особенно горькое тем, что он оскорбил этим о. Владимира Донского – человека, которого всегда любил и уважал, который так много сделал для него – для его просвещения и становления. Правда, пристыженный священником, он потом дома в одиночестве забрался в сарай, упал на сено и горько заплакал от стыда и потрясения. И хоть, как он сам говорит, с тех пор он принес еще много зла своему народу, но кощунства и святотатства больше не допускал никогда. И еще один грех – в качестве начальника штаба отдельного саперного батальона и талантливого инженера, «виртуозно» взорвал по приказу начальства три православных храма, среди них замечательный собор в Витебске. Но все же это уже выполнение приказа, и к тому же эта «работа» начала быстро ему претить, и он при первой возможности перепоручил ее другим. Выход не блистательный, но другого – для тогдашнего П.Г. Григоренко – не было. Однако судит он себя не только за то, что делал,

но и за то, что делалось без него, но при его косвенном соучастии, за то, что не хотел видеть и понимать, – короче, за все, чем была и что делала партия, в которую он добровольно вступил и против которой сознательно выступил гораздо позже, чем, по его мнению, надо было это сделать. Впрочем, почти никто из людей его биографии этого не сделал до сих пор. А он это сделал в расцвете своей карьеры, когда его практически никто не трогал и он мог работать, непосредственно не совершая подлостей. Даже те неприятности, которые обычно, особенно в СССР, выпадают на долю всякого талантливого и самостоятельного человека, были у него уже, в основном, позади – таким было его положение. И вот в один день он сам своими руками все разрушил, отказался от того, за что все вокруг держались зубами, не только руками.

Впрочем, если бы этого не было, не было бы и того Петра Григорьевича Григоренко, которого мы знаем, а был бы просто талантливый военный (инженер, кибернетик, военный мыслитель и организатор) – генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии и даже маршал. И, как он сам говорит, возможно, сегодня душил бы Эфиопию не Василий Иванович Петров, а Петр Григорьевич Григоренко – пусть при этом, добавлю от себя, не очень уважая пославшее его туда начальство. А с ним – в глубине души – и самого себя.

Но этого не произошло. Нет маршала Григоренко, а есть правозащитная деятельность, злобная и жестокая месть за нее «с использованием» психиатрии, эмиграция и, наконец, эта книга. В каком-то смысле я считаю эту книгу венцом и наивысшим достижением всей жизни этого незаурядного человека.

Значение этой книги переоценить трудно. Без нее просто невозможно теперь изучать историю советского общества. И не только изучать, но и просто представить. Ибо что можно представить, не представляя психологии людей, составлявших основу этого строя, ее костяк. П.Г. Григоренко был при всей своей незаурядности все же типичным представителем этого слоя. Путь его вполне типичен для многих талантливых, энергичных и отнюдь не обязательно нечестных подростков и юношей из низов (но не только из низов), которых привлекла к себе и светом ложной, но соблазнительной истины, и открывающимися путями, захватывающими перспективами молодая советская власть. Во всяком случае, во все время своего существования в этом слое, то есть до своего открытого выступления на партактиве, П.Г. Григоренко никогда не чувствовал себя белой вороной или совершенно одиноким человеком, всегда, кроме идиотов и жуликов (а их, конечно, хватало, и они весьма затрудняли жизнь), вокруг него были люди, которых он уважал, которым доверял и о которых и сей-

час вспоминает с искренним уважением. Даже о тех, кто его уважения заслуживает далеко не во всем, он говорит объективно, отдавая дань их достоинствам и хорошим поступкам. Они для него люди, а не знаки: и уже упоминавшийся В.И. Петров, и маршал Чуйков, и многие другие. Люди, среди которых он жил и возвышаться над которыми он вовсе не стремится. Хоть и приходится.

То, что все эти люди – люди, никак не дает оснований для пересмотра нашего отношения к той страшной силе, которой они служат и которую составляют, но это разрушает схематические представления и способствует более глубокому пониманию жизненных процессов и человеческих отношений в тоталитарном обществе на протяжении всей его истории. Так и получается, что в самом центре этого завихрения, при всех деформациях сознания, люди часто в своих человеческих отношениях остаются людьми, хотя эти человеческие отношения (и в этом трагедия!) на ход событий совсем не влияют. Наоборот, люди более честные, часто попадая при этом в конфликтные ситуации, тем не менее, приносят своим бесчеловечным режимам больше пользы, лучше им служат, чем все остальные, – иногда против воли начальства.

Вот характеристика, которую в середине тридцатых годов вроде бы дала П.Г. Григоренко польская разведка (он строил тогда укрепрайоны на польской границе, и у этой разведки могли быть основания им интересоваться): «Принадлежит к так называемому сталинскому поколению. Идейный. Предан Сталину и его режиму не из желания выслужиться, а по убеждению. К критике в адрес режима относится нетерпимо, но доносов не пишет, а горячо убеждает оппонента в его неправоте. Головокружительное продвижение по службе воспринял как должное и, несмотря на отсутствие опыта, дело взял в руки твердо и уверенно. Инициативен и решителен. Принимать на себя ответственность не боится. Заметных пороков не обнаружено. Подходов для вербовки нет». Текст был бы совсем достоверен, если бы дальше не следовала еще одна фраза: «Можно попытаться действовать через женщину, хотя надеяться на успех тоже трудно». Фраза ставит весь текст под сомнение. Возможно, автор (или редактор) этой характеристики не польская дефензива, а советский НКВД, которому она вдруг зачем-то понадобилась – и именно в качестве документа «с той стороны». Уж слишком стиль этой фразы в духе тогдашних процессов и митингов! Да и прочитал автору этот текст – да еще так, что тот никак не мог в него заглянуть, – не кто-нибудь, а представитель этой организации Кириллов («череп, обтянутый кожей» – такое он производил впечатление). Может, он и дописал последнюю фразу. Но здесь

для нас это неважно. Важно все, что предшествует этой фразе. Кто бы ее ни написал. Правда о П.Г. Григоренко и о многих других людях, живших активно в эти годы.

Человеческая активность – драгоценное качество, но она же и бремя. Потребность эта не менее остра, чем другие физические, материальные и духовные потребности. Эта потребность далеко не всегда даже связана с тщеславием или честолюбием, она часто бескорыстна и, во всяком случае, ни с какой прямой материальной или карьерной корыстью не связана, но потребность эта может быть весьма соблазнительной. Ведь гораздо приятнее действовать, зная, что каждый твой час и миг отдан, по выражению комсомольского писателя Николая Островского, борьбе за освобождение человечества, а не просто прозе жизни. И тут далеко не каждый легко согласится увидеть (точнее, осознать, что видит), что борьба эта имеет другой вид и смысл. Конечно, если ты не дурак, ты видишь все это, но упорно и умело убеждаешь себя, что это только частности, а так все разумно и хорошо. И это действительно для тебя частности, ибо главное сейчас – это стихия твоей жизни, увлеченность работой, широта перспектив, наполненность каждого дня. Во всем этом столько захватывающего, что просто как-то не вяжется с чем-либо дурным – и ничем, кроме как частностями на светлом фоне или временными трудностями, быть для тебя не может. И даже впечатление от родной деревни во время коллективизации, куда ты и прибыл-то из своей интересной жизни только затем, чтобы увезти, спасти от голодной смерти, то есть от общей судьбы, родного отца, а потом и от другой, куда тебя пошлют уполномоченным на уборку урожая и где ты встретишь несчастных людей, доведенных до полной апатии и равнодушия, – ни в чем не смогут тебя поколебать. Особенно после того, как свою деревню, то есть тех, кто уцелеет до этого времени, тебе все же удастся отстоять – на том, правда, основании, что она, в отличие от всех деревень вокруг, всегда тяготела к коммуне. И уж совсем ты успокоишься после того, как Сталин в «Головокружении от успехов» сделает вид, что все это «перегибы» слишком ретивых исполнителей. А ведь сам слышал выступление украинского генсека Косиора на инструктаже уполномоченных по хлебозаготовкам и даже вполне уловил сознательное намерение партии уморить голодом часть украинского крестьянства, чтобы остальным неповадно было сопротивляться коллективизации. Говорилось нечто вроде того, что «мужик», отказываясь собирать хлеб, хочет задушить нас голодом, но мы ему самому дадим почувствовать, что такое голод. Предлагалось заставить вывезти все подчистую, якобы для того, чтобы заставить мужика открыть потайные ямы (которых, все знали, не было). Ты тоже будешь знать, но уве-

ришь себя, что виноват только Косиор, даже захочешь жаловаться на него Сталину – спасибо друзьям, отговорят. И твою потребность к служению и вере советская власть всегда использовала. Хотя больше симпатизировала тем, у кого ее не было. Особенно после того, как сталинская диктатура окончательно оформилась.

Но до этого советская власть должна была утвердиться как порядок вещей, как ход жизни, как нечто, с чем вполне реально и респектабельно могли связываться всякие жизненные планы, расчеты и честолюбие многих людей. Большую роль в этом сыграла тотальная советская пропаганда. Она всегда умела создавать впечатление, что то, что она хочет навязать, давно всем известно, кроме каких-то глупых, отсталых и замшелых людей, что люди, которые ей противостоят – ублюдки, корыстные эгоисты и так далее. То есть она всегда творила мир. Сегодня она это делает – и часто успешно – и в международном масштабе. Утвердившийся в мире – и почти само собой разумеющийся – образ агрессивных и ужасных Соединенных Штатов, грозного и агрессивного сионистского Израиля, представление, что можно требовать от Израиля выполнения им всех арабских требований, сводящихся к его уничтожению, но не хотеть при этом самого уничтожения, – все это ее заслуга. Да что эти частности. Миру навязана такая атмосфера, при которой подчас даже президенты Соединенных Штатов (только не Рейган) оправдываются, когда их обвиняют в дурном отношении к социализму, словно это их действительно позорит! Это в свободном мире. А что могла сделать такая пропаганда там, где она же контролировала все средства информации. И сочеталась с террором: хочешь – верь, хочешь – пулю. Но все-таки ее функции было мало для создания порядка вещей. Годы революции и гражданской войны еще никакого порядка вещей не создали. Люди ощущали не наличие его, а, наоборот, отсутствие, исчезновение, революцию, хаос. Люди упрямо ждали, «когда все это кончится». Порядок вещей начался с нэпа, когда возникла иллюзия, что нормальная жизнь может быть и при советской власти, которая даже начинала выглядеть конструктивной силой. В связи с этим сама романтика утопической идеологии и связанный с ней дух революции, разрушения, вражды, дикости, неуживчивости – стали казаться чем-то респектабельным и солидным, и девушки из хороших семей стали выходить замуж за бескомпромиссных утопистов (люди дозволенные, но все же идейные, то есть культурные, а не дикие). Конечно, можно греметь филиппиками против мещан и приспособленцев, хотя не стоит уж слишком презирать среднего человека за то, что он хочет жить и не соответствует не им придуманным представлениям о должном. Но, даже отвлекаясь от этого, надо все же заметить, что в

том и порядок вещей, что такие люди воспринимают создавшееся положение за реальность, к которой надо приспособиться. Это легализация плоти жизни, ее узаконение в нормах и представлениях бытия. Трагизм советской истории состоит в том, что легализация эта была обманчивой, даже провокационной. Стремление людей к жизни, к порядку, к устойчивости оказалось пойманным на крючок – люди обрадовались концу откровенного хаоса и не обратили внимания на то, что власть, созданная во имя утопии, объявила, что уступает требованиям жизни только для того, чтобы не слететь, и то при этом сохраняет «командные высоты» в своих руках, во имя тех же, то есть утопических и скомпрометированных, целей. Впрочем, жизнь уже и так брала свое, и многих партийцев сохранение «командных высот», иначе – своей власти (связанной и с положением, и с благами), интересовало уже и тогда гораздо больше, чем причины, по которым это необходимо, даже если они этого не сознавали. Но эта реальность была в их мозгах причудливо связана с их утопизмом. Так и пошло, так и образовался порядок вещей. Конечно, идеальная сторона этого утопизма тут же – и чем дальше, тем быстрее (а после окончательного воцарения Сталина – с ужасающей скоростью) – стала испаряться, пока, в конце концов, просто не была выброшена на свалку вместе с ее носителями, даже теми, кто ради пребывания у власти шел на многие беспринципные компромиссы. Но и сменив все, даже свой состав, партия, созданная ими, продолжала держать эти «командные высоты» как свою главную ценность. Командные над жизнью и над всеми ее интересами, внеположные по-прежнему для этой партии, хотя идеологические цели, во имя которых они были когда-то взяты, превратились в муляж из обесмысленных и потерявших всякую логическую связь терминов. Впрочем, муляж идеологии выражает и сущность, и реальную духовную потребность строя лучше, чем что-либо иное. Порядок вещей уже был создан, утвердился, приобрел инерцию и привычно продолжал работать сам против себя, против своей природы на нарушение жизненных связей, да и самой жизни. Признание муляжа и миража за реальность стало признаком благонамеренности. Люди, внутренне расположенные к иерархическому порядку, вопреки своей консервативности и даже благодаря ей, старательно занимаются насаждением и соблюдением беспорядка, а люди, сознательно стремящиеся к порядку, оказываются в положении бунтовщиков, с существованием которых мирятся как с необходимым злом. Кстати, мириться с их существованием власти становится все труднее, ибо все труднее ей справляться со своей внеположной сущностью. Хотя кто-то ведь должен работать и должен был работать всегда. Власть, даже основанная на утопии, – вещь не утопическая. Так или иначе,

она подчиняет себе порядок вещей. И это страшно. Особенно тогда, когда утопию заменяют ее муляжом и заставляют верить в него, как в реальность.

Сегодня даже те, кто подчиняется этому порядку вещей, в глубине души и почти открыто презирают его. Но когда П.Г. Григоренко выходил в жизнь, этот порядок еще до конца не раскрылся и, несмотря на большое количество открытых врагов, в глазах многих выглядел еще вполне привлекательно.

Автобиография генерала Григоренко – как уже было сказано, это своеобразная история советского общества. Разумеется, не полная, не исчерпывающая, но история. Это не только важнейшее свидетельство современника, это еще и очень серьезное осмысление пережитого. Радость общения с очень умным и внутренне очень богатым человеком не покидает нас во все время чтения этой книги. Это, конечно, не значит, что она отвечает на все трудные вопросы советской истории. Это невозможно. Но она касается их глубоко, заставляет о них думать, и многое все-таки становится яснее – даже из того, что понять вообще трудно: и как все-таки утвердился этот противоестественный порядок вещей, и как могли его поддержать люди, по своей природе чуждые ему, – такие, например, как мудрый, добрый, смелый человек, дядя автора – Александр. Правда, только сначала, но потом уже спохватываться было поздно. Против порядка вещей, опирающегося на террор и диктатуру, после того, как он утвердился, восставать трудно. История его показательна, ибо спохватился он довольно скоро, как только заезжие чекисты расстреляли в их деревне по пустяковому поводу первую партию заложников. Природа его, несовместимая ни с какой, особенно, бессмысленной, жестокостью, сказала тут же. На ближайшем же митинге, а они устраивались каждый день, когда после очередных угроз оратор (главный чекист) спросил: «Вопросы есть?» – неожиданно в ответ прозвучал спокойный голос дяди Александра, задавший такой простой, естественный после происшедшего вопрос: «А за что вы людэй росстрилялы?». Он тут же был арестован, и только случайность спасла его от смерти на следующий день. Какой путь прошла страна, чтобы в ней исчезли обыкновенные люди – не борцы, не деятели, не фанатики, – способные в таких неестественных обстоятельствах задавать естественные вопросы. Не удивительно, что такой человек, неспособный идти против собственной совести и здравого смысла, намучался и пропал в годы коллективизации, – гораздо удивительнее, что он до нее дожил. А сначала он принял советскую власть и даже чуть не поссорился с почитаемым им священником о. Донским, который стоял за белых. Если бы такие люди, как этот че-

ловек, поддержали с самого начала белых, многого бы не случилось. Не поддержали. Почему?

В общем, это старый вопрос, вопрос о том, почему проиграли белые. Ведь сегодня почти всем – и в том числе П.Г. Григоренко – вполне ясно, что победа белых была бы спасением для страны,³⁵ – а вот не победили. Как это произошло? Кое-что можно почерпнуть и из этой книги.

Стоит запомнить, что в начале революции Петр Григоренко был, по его собственным словам, человеком политически нейтральным. Религиозным. Любившим петь в церковном хоре. То есть никак не большевиком. И он очень хотел учиться, очень стремился к расширению собственного мира и к какому-то иному приложению сил, которых он в себе чувствовал много. Это очень важно запомнить, ибо таких людей, стремившихся реализоваться поиному, чем их родители, накопилось тогда по городам и весям России много. Это был резервуар энергии, с которым надо было обращаться бережно, который надо было уметь направлять, использовать и давать дорогу и уж, конечно, не направлять его против себя.

А получилось так. Способный мальчик пришел сдавать экзамены в реальное училище г. Ногайска (ныне Приморска, расположенного в семи километрах от родной деревни). Далось ему это непросто, так как бабка, вопреки желанию еще не пришедшего с войны отца, оказала бешеное сопротивление, которое преодолеть удалось только с помощью о. Владимира Донского. Юноша сделал все возможное, чтобы выглядеть соответственно случаю. «Идя в училище, – вспоминает он, – я оделся по-праздничному: хорошо выстиранные и аккуратно залатанные штаны и рубашка, подпоясан специально сшитым матерчатым пояском на пуговке, голова стрижена под машинку, босые ноги чисто вымыты». Между тем, остальные кандидаты были одеты или в форменную одежду реалистов, либо в нечто с нею сходное. Все это смущало будущего генерала и заставляло прятаться за спины буду-

³⁵ Позволю себе усомниться в этом утверждении. В самом деле, точка зрения, согласно которой победа белых была бы неоспоримым благом довольно распространена и особенно в России. В нерусских частях бывшей империи такое мнение превалирует только у тех, кто испытывает ностальгию по былому эфемерному величию. Для Украины же белая армия была таким же смертельным врагом, как и армия красная. И то, что молодой Украинской республике приходилось вести войну не только против красных (на севере), но и против белых в центре и на юге, не в последнюю очередь сыграло роковую роль в ее судьбе. Конечно, если говорить о том, чья победа была бы меньшим злом, то, наверное, нельзя не согласиться, что страшнее строя, чем установили интернационал-социалисты, или большевики, трудно было бы представить. В то же время существует немало достаточно веских аргументов в пользу того, что проигрыш белых в тех исторических условиях был неизбежен. – *Примеч. А. Г.*

щих товарищей (относившихся к нему насмешливо и в свою среду пока не принимавших). То, что произошло дальше, мне кажется невероятным. Однако это – было. Юношу обнаружил директор.

– Молодой человек! А вы зачем сюда пожаловали?

– На э-к-з-а-м-е-н, – проблеял я.

– На экзамен надо одеться приличнее! Ну что это? – потряс он меня за тряпичный пояс. – Нужен ремень. Если и не форменный, то, во всяком случае, кожаный и широкий. И ботинки нужны. Босиком только стадо пасти можно. Вот так! Идите! Оденьтесь, как положено, и тогда приходите!»

Вот так для него произошла встреча двух миров. Мира рвущихся к культуре и как бы окопавшихся в нем. Разумеется, человека, так встретившего сына народа на пороге знания, всерьез считать русским интеллигентом нельзя. Русский интеллигент, при всех грехах этой формации, такого отношения бы себе не позволил. Но интеллигентными профессиями всегда занимались не только интеллигентные люди. Да и вряд ли тогда еще дифференцировались в сознании Петра Григорьевича понятия интеллигент и чиновник. Но представителем старого мира этот директор для него был. И, к сожалению, не только для него. Впрочем, именно для него дело кончилось сравнительно благополучно. Он сумел одолжить у знакомых требовавшуюся одежду и на следующий день блестяще выдержал экзамен. Но в том, что он так легко отдался большевизму, заслуга вышеназванного директора есть. На горе им обоим и многим другим.

Или вот такой факт. «Однажды, в прекрасное солнечное утро, придя в школу, мы (автор и его друг Семен, сын о. Владимира Донского. – *Н. К.*) никого в ней не застали. Стали расспрашивать. Установили – все пошли к собору встречать дроздовцев». Друг побежал встречать брата, но Григоренко его примеру не последовал, «хотя в то время я никакой вражды к белогвардейцам не испытывал», – добавляет он. Очень важное объяснение, особенно, если принять во внимание то, что произошло дальше. Неподалеку от училища, у здания бывшей городской управы, нынче совета, толпился народ, родные членов совета. Сами же члены «все до единого собрались в зале заседаний, чтобы передать управление городом в руки военных властей». «Городской совет Ногайска, – объясняет автор, – как и большинство советов первого избрания, был образован из числа наиболее уважаемых, интеллигентных, преимущественно зажиточных, а в селах хозяйственных людей. Для них важнее всего был твердый порядок, а потому они не хотели оставить город без власти даже на короткое время. Им говорили: «Офицеры вас перестреляет». На что им отвечали: «За что? Ведь мы же власть не захватывали.

Нас народ попросил. Офицеры – интеллигентные люди. Ну, в тюрьме подержат для острастки несколько дней. А расстрелять...». Однако, как только появились дроздовцы, группа офицеров направилась к совету, и конвой начал тут же выводить арестованных его членов (два фронтовика пытались убежать, но были убиты). И через короткое время погнали их к подорожной деревне Денисовка. Скоро оттуда донеслись выстрелы, а потом оттуда прискакал офицер и прокричал: «Где здесь родственники советских прислужников? Можете их забрать». Все было кончено и проделано на глазах у людей. Спасся только один, учитель, бывший фронтовой офицер. Но и он тут же был расстрелян, когда, надев форму и четыре «Георгия», явился в комендатуру – обжаловать незаконный террор. Хоть семья у него в ногах валялась, умоляла не ходить. Но он не мог. Тогда еще было много таких людей. Теперь они почти вывелись.

Когда-то, еще в 1974 году, только попав за границу, я с интересом прочел рецензию на только что вышедшую тогда, по-видимому, очень интересную и важную книгу «Дроздовцы». Рецензия эту книгу оценивала довольно высоко, но отмечала в ней один недостаток – упоминание о фактах, подобных вышеописанному. «Это не на пользу Белому делу», – не видя в этом ничего странного, объяснял свою позицию рецензент. Меня тогда поразила эта соцреалистическая логика в устах врага советской власти. Теперь я, конечно, понимаю, что сходство это чисто внешнее. Слишком часто такие факты использовались для очернения всего Белого дела, суть которого отнюдь не определялась такими фактами и победа которого, несмотря на них, была бы спасением для России и ее населения. Но это не значит, что надо болезненно реагировать на упоминание об этих фактах вообще. Все-таки не на пользу Белому делу пошли сами факты, а не упоминание о них спустя 54 года после того, как белые проиграли. Среди расстрелянных членов Ногайского Совета большевиков не было совсем или почти совсем. А сам этот расстрел толкнул к большевикам многих. «Меня огнем пронзила мысль, – продолжает рассказ П.Г. Григоренко, – дядя же Александр председатель Борисовского совета! Значит, его тоже могут расстрелять!». После чего он со всех ног бросился бежать домой, благодаря чему «никого из Ботновских советчиков дроздовцам захватить не удалось. Были предупреждены и соседние села. Все отсиделись в камышах». Это ведь не от красных, от белых они там отсиживались, то есть от людей, пришедших наводить порядок, от людей, которые могли бы их спасти от многого, что с ними случилось потом. Естественно, особо теплых чувств эти крестьяне – те, кто прятался, и те, кто их скрывал от несправедливой расправы, – к белым питать не могли. И не питали. Это подтверждается и моим личным

опытом. Мне приходилось в разное время жить в разных местах по пути отступления армии Колчака, и везде слово «колчаки» в устах простых людей – к тому же переживших все прелести коллективизации и индустриализации – было ругательством. На странность этого факта обращает внимание и сам П.Г. Григоренко, говоря о том, что белые у них в селе никого не убили, а красные – семерых ни в чем не повинных крестьян и, тем не менее, и он, и многие другие ненавидели белых, а не красных. Прегрешения красных как бы забывались. Белым же ставилось каждое лыко в строку. В конце концов, все белые бесчинства были не более чем эксцессами, естественными в гражданской войне, а у красных кроме таких эксцессов, которых тоже хватало, был целенаправленный, холодно рассчитанный (по соседству в деревне, ранее восставшей против белых, был потом красными расстрелян каждый второй мужчина – по мнению Григоренко, хорошо понимавшего логику большевизма, на том основании, что восставший против белых, может восстать и против красных), ужасающий (и применяемый для того, чтобы ужасать!), беспощадный, систематический террор, террор, не обошедший ни одного из слоев населения. И тем не менее... В другом месте Григоренко говорит, что, превратив террор в индустрию, красные и относились к нему профессионально. Никого не расстреливали просто так, на улице или на глазах у всех отведя за город. Расстреливали в подвалах, в укромных местах, заглушая выстрелы ревом моторов, действуя на воображение таинственностью и необъяснимостью своих действий, а не обнажая их живыми картинками в духе вышеописанной, смысл которой нагляден и понятен всем. И который вполне сумеет использовать советская пропаганда, уже тогда творившая тот порядок вещей, о котором шла речь выше. И не пошло ли ей на пользу зверское убийство зажиточной еврейской семьи, предпринятое группой офицеров для устранения свидетелей грабежа, леденящие подробности которого до сих пор еще волнуют автора мемуаров. Уцелел только один член этой семьи – внук, которого в последний момент прикрыла своим телом бабушка. Топор только скользнул по черепу, оставив глубокий шрам, в то время как бабке и деду топором раскроили черепа. Конечно, во время гражданской войны такие эксцессы встречались сплошь и рядом, но ведь в данном случае в нем участвовали офицеры, то есть люди, вставшие на защиту порядка. Дед и впустил их в дом потому, что они назвали себя представителями комендатуры. Кстати, потом они с помощью комендатуры и от ее имени пытались добыть из больницы уцелевшего свидетеля этих подвигов – да доктор спрятал его. И разве удивительно, что потом автор встретил его в облике секретаря уездного комитета комсомола, когда сам пришел вступать в эту организацию. Думаю,

что обоих в значительной степени толкнуло на это соприкосновение с дроздовцами в Ногайске. И такие близкие им по духу люди, как директор училища, так мало интересовавшийся той энергией, которая таилась в глубине народа и требовала правильного использования, а не отправки назад – пасти коров. Повторяю, не свожу к ним Белое дело. Не считаю, что именно они определяют его состав и суть. Но они помогли советской пропаганде создать ложный образ этого дела и в значительной мере преопределили его проигрыш. В результате чего Петру Григорьевичу пришлось в конце жизни пересматривать весь свой путь и каяться в нем, а секретарь укома Голдин настолько серьезно воспринял идеологию большевизма, что остался ортодоксальным большевиком, когда порядок вещей стал требовать от желающих оставаться в партии большевизма более диалектического, то есть примкнул к троцкистам. И, по-видимому, потом разделил судьбу почти всех, кто отнес сам себя или был отнесен другими к этой категории. В конечном счете, от проигрыша Белого дела не выиграл никто: ни те, кто его защищал, ни те, кто ему изменил, ни те, кого оно само толкнуло в лагерь победителей, ни отчасти сами победители – особенно, если они были честными хотя бы по отношению к своему делу.

Правда, перед Петром Григорьевичем этот выбор не стоял. Вступать в новую жизнь он начал, когда Белое дело было уже проиграно, когда новый строй открывал перед ним блестящие перспективы, путь к знаниям был открыт, теперь никто бы уже не посмел намекнуть ему, что его дело не учиться, а пасти коров. (Кстати говоря, и пасти коров надо уметь, не все умеют, и это вовсе не знак человеческой никчемности.) Когда при его вступлении в профтехшколу с ним попытались сделать нечто подобное (правда, не за то, что мужик, а за то, что комсомолец), то он знал, даже слишком хорошо знал, что у него есть защита. Это даже привело его к одному из немногих в жизни сомнительных поступков: «...Я написал в уком комсомола письмо о том, что в Молокановке создана не профтехшкола, а гнездо контрреволюционной белогвардейщины». «К счастью, – добавляет Григоренко, – в то время «бдительность» еще не достигла той степени, что в 30-х годах, и мое заявление не имело трагических последствий». А могло бы иметь. В оправдание ему можно привести юношескую неопытность и то, что с ним самим поступили кричаще несправедливо. Он был хорошо подготовлен, и все экзаменационные задачи, в которых не было для него ничего нового, решил правильно. (Он запомнил и задачи, и решение, и правильность последнего возмущенно подтвердил тот, кто его готовил к экзамену, – талантливый педагог, бывший преподаватель математики одной из лучших московских гимназий, которого

на Юг погнала угроза голодной смерти.) Тем не менее, ему в глаза соврали, что решение ошибочно, но работу показать отказались. Совсем как на нынешних приемных экзаменах в советский вуз: когда дано указание кого-либо «зарезать». Конечно, людей, боявшихся иметь у себя комсомольца, можно понять, но подлог есть подлог. Такие вещи только углубляли трагическую неразбериху и взаимонепонимание. И еще больше увеличивало кредит советской власти в глазах такой, рвущейся к большой жизни талантливой молодежи. По молодости лет он не обратил особого внимания на уничтожение партийных оппозиций, более того, они были подкопом под подлинность идеологической сущности строя, открывавшего такие перспективы перед ним, и он, наверное, инстинктивно отталкивался от всего, что они говорили. Сейчас он, как и многие другие, отказался от этой идеологии полностью – в любом ее виде, но это уже другая степень. До нее ему, как и многим другим, пришлось пройти и через «подлинный ленинизм», то есть через то, что противопоставляла сталинскому духовному и идейному небытию оппозиция. Отступление в этот «ленинизм» – это отступление к начальному соблазну и греху из порожденных ими духовного небытия и прострации, но боюсь, что без этого отступления понять сущность такого греха трудно: что вообще можно понять, находясь в прострации? Тогда это казалось не прострацией или потерей идеологии, а наоборот, жизнью и продолжением ее. К сожалению, не только для таких, как П.Г. Григоренко, который и мыслить всерьез критически начал около тридцати, а и для многих людей иных возрастов, политической подготовки и социального происхождения. Но это уже хоть и близкая к нашей, но иная тема.

Информатор польской дефензивы (все-таки вряд ли советский НКВД – он, скорее, подправил что-то в конце), безусловно, прав, рекомендуя П.Г. Григоренко «представителем так называемого сталинского поколения». Но сталинское поколение составляли люди совершенно разные. Большинство из тех, кого относят к этому поколению или, точнее, с кем связывают представление об этом поколении, так или иначе связаны с представлением о порождении культурной революции и чисток 37-го года. П.Г. Григоренко ни к тем, ни к другим не относится. Вехи его биографии и роста только внешне совпадают с вехами биографии таких людей. Он тоже происходит из низов, тоже неоднократно посылался по партийной мобилизации, каждый раз почти против воли, скачкообразно перебрасываясь с уровня на уровень без ликвидации пробелов, то есть из него тоже готовили «кадру», облаченную больше доверием, чем знаниями или ответственностью. Дело не только в том, что Петр Григорьевич таким не стал, – дело в том, что у него не было и предпосылок таким стать.

Хотя бы потому, что учиться он хотел и всегда учился, как только выпадала возможность, что к жизни и деятельности еготянуло и до того, как навстречу этим желаниям пошла партия. Короче, он был одним из тех представителей народа, который действительно хотел подняться и поднимался, которых накопилось довольно много перед революцией, а не представителем тех, кого партия поднимала к свету знания за уши, чтобы иметь своих «специалистов». Именно поэтому П.Г. Григоренко и такие, как он, проявляли иногда героические усилия, ликвидируя пробелы самостоятельно, но получали полноценное образование. Само по себе это тоже не панацея. Старательно вместе с П.Г. Григоренко учился и Николай Леличенко, в конце 50-х годов один из украинских министров, который при встрече стал доказывать, что один из общих товарищей по учебе, арестованный в 37-м году как «враг народа», действительно этим врагом был. «И я подумал, – говорит автор, – что, видимо, сам он приложил руку к его (товарища. – Н. К.) гибели». Не о всяком ведь так подумаешь. Далеко не всякое приобщение к знаниям, к профессии бывает приобщением к культуре. Мимоходом, кстати говоря, Григоренко отмечает, что в той массе «оргнабора» (то есть насильственно мобилизованных на культурный фронт), которая училась плохо или вовсе не училась, почти никто в годы чисток не пострадал. Когда интеллигентного юношу, попавшего в институт не по набору, а по конкурсу, спросили, что после института будет с выдвиненцем, к которому он был прикреплен для «подтягивания» в порядке комсомольской нагрузки, но который упорно «подтягиваться» не желал – только требовал, чтобы прикрепленный решал за него задачи, умудренный опытом многих, интеллигентный юноша не задумываясь, ответил: «Он будет моим начальником». И как в воду глядел. Стал. Буквально. Конечно, так получилось не только в этом случае. Не знаю, как себе представляли последствия таких оргнаборов те, кто их придумал, но они, вынужденные защищать свое место в жизни, должны были овладеть самой жизнью, довести ее нормы до своего уровня. И от них одинаково солоно приходилось не только старым «гнилым» интеллигентам, но и многим новым – таким, как П.Г. Григоренко. В сущности, этих выдвиненцев выводили как гомункулусов, но только не из неживой материи, а из живых людей, и они-то и составили основной костяк сталинщины. Над ними смеются, но за глаза – в глаза попробуй. Они упрямо, глупо, нелепо, но успешно навязывают свой уровень и язык своих противоестественных представлений всем внутри страны (в том числе и тем, кто над ними смеется), мировому коммунистическому движению (это не моя забота, но отметить надо), мировой дипломатии, вынужденной считаться с их языком, да и вообще всему миру, вынужденному

осмысливать их как реальность. При Сталине они обходились без самосознания, главная их добродетель перед людьми и «Богом» была в том, что они были верны «Ему», а он уж знал, кто они и для чего. Но после Сталина они предпринимают иногда попытки самосознания и определения собственного идеала, идеала людей, облеченных чем-то неизвестно из чего и неизвестно для чего. Особенно это ярко проявилось в романах В. Кочетова «Братья Ершовы» и «Секретарь обкома». Гомункулус заявил о себе. Картина мира с точки зрения интересов бездарного человека, имеющего право на несоответствие занимаемой должности. То, над чем все остальные смеялись, что всем отвратительно (безличность, подхалимаж, прислужничество), в этих произведениях отнюдь не скрывалось, а поднималось на высоту идеала. Но это, так сказать, касалось вынужденных героев. А вот что орал открыто, на официальном заседании Центральной Контрольной комиссии КПСС не вымышленный герой, а зампредседателя этой комиссии – старый сталинский функционер Сердюк: «Оклады его высокие не устраивают, видите ли... Ты не о своем высоком окладе думал, когда говорил об этом. Ты был уверен, что как высококвалифицированный специалист имеешь право на свой высокий оклад. Ты о моем высоком окладе думал, когда говорил об этом... – Нажал он на слове моем. – Сменяемость ему, видите ли, нужна. Так ты же не о своей сменяемости думал. Ты же специалист и в смене не нуждаешься. Ты же думал не о том, чтобы тебя сменили. Ты хочешь, чтобы меня сменили... Развел такую демагогию и еще имеешь нахальство жаловаться...».

Эта речь – реакция на выступление Григоренко на Фрунзенском райпартактиве г. Москвы, где он настаивал на соблюдении «ленинских принципов», то есть на сменяемости функционеров и ограничении их окладов зарплатой среднего рабочего. Тогда еще Петр Григорьевич ощущал себя коммунистом и видел в соблюдении этих утопических принципов спасение от всех бед. Но речь сейчас не об эволюции его взглядов, а о прямом самовыражении гомункулуса, о прямом выражении им своей, как говорят марксисты, «классовой позиции», в том числе классовой ненависти выдвигенцев, ни на что, кроме как на принадлежность к правящей мафии не способных, к специалистам, без которых, к сожалению, нельзя обойтись, и которых необходимо держать в руках, и именно потому, что они-то без «нас» обойтись вполне могут... Это искусственно выведенная порода, роботы, восставшие против своих творцов. А одним из их творцов был и сам Петр Григорьевич, когда по воле партии тащил их за уши к получению дипломов, к уравниванию их в правах с теми, кто может и хочет знать, с такими, как он сам, и теми, у кого он учился и хотел учиться. Сегодня эти роботы постепенно сходят со сцены, но они

очень заботятся о том, чтобы ничем полноценным их заменить нельзя было – причем в одной из самых умных, образованных и квалифицированных стран мира. Впрочем, о том, кто придет им на смену, пока еще можно только гадать, но людям, долгие годы вынужденным приспособливаться к их ирреальности и скрывать от них творческий огонь, очень трудно будет сохранить его и донести его до момента, когда его можно будет применить. Но будущее – это иная тема. На сегодняшний день реальными победителями революции остаются гомункулусы.

Видимо, к этому шло с самого начала. Но вовсе не было очевидно. В событиях участвовали не только кандидаты на высокое звание. Даже в высшем слое, даже сегодня ими являются далеко не все (но все должны приспособливаться к ним, то есть делать то, что отказался делать наш автор). А на первых порах негомункулусов было гораздо больше, ведь самый тип выработался и утвердился намного позже. И очень интересно, как именно они контактировали с той бесчеловечной стихией, которая их влекла (хотя таковой в их глазах не выглядела), и с бесчеловечной идеологией, в которую верили. Как уже упоминалось, информатор дефензивы характеризовал П.Г. Григоренко как человека, нетерпимого к антисоветским взглядам и разговорам, но мимоходом сообщает: «доносов не пишет».

Позволительно было бы спросить: «А почему?». Ведь предан же делу, ведь столько есть врагов у советской власти, ведь жестокая схватка и капиталистическое окружение, ведь долг коммуниста прямо обязывает, ну не доносить, конечно, но сигнализировать компетентным товарищам по партии (которой он предан не за страх, а за совесть!) о нездоровых настроениях и их носителях. А вот поди ж ты... И ведь не только не доносит, а когда его товарищ Гриша Балашов, такой же верующий комсомолец, как и он сам, решает сознаться, что он сын попа (в первые годы советской власти, до середины тридцатых годов, это было большой компрометацией), он не только сам не доносит, но даже уговаривает Гришу не делать этой глупости, понимает, что она может погубить хорошего человека. «Не знаю почему, но я считал этот обман вполне оправданным», – говорит он о тогдашнем себе. Очень многие, верующие коммунисты (и нацисты тоже) считали свои жестокие принципы верными во всех случаях, кроме тех, когда они касались людей знакомых и понятных им. Это никак не заставляло их отказываться от этих принципов. Впрочем, это касалось вещей и гораздо более глубоких и основополагающих. И столкнулся с ними П.Г. Григоренко гораздо ранее, в самом начале своего комсомольства.

Один из двух присланных в их деревню для организации ячейки комсомольцев, Иван Мерзликин, был случайно ранен во время любительского спектакля, когда исполнял роль расстреливаемого комиссара. Все, в том числе и автор мемуаров, очень удивлялись, каким образом пыж смог пробить полушубок. Удивлялся и будущий генерал. Но Ваня вопреки очевидности доказывал, что пыж и не пробивал никакого полушубка, ибо полушубок был распахнут. В доказательство он продемонстрировал целехонький полушубок. Но юный Григоренко, перед спектаклем застегивавший ему этот полушубок, обнаружил, что полушубок подменен. Мерзликину пришлось раскрыться:

«Про пыж это я придумал. Уговорил Грибанова (доктора. – *Н. К.*) поддержать мою версию. С полушубком она не получается, вот я и подменил его. Для чего я это делаю? Я догадываюсь, как это произошло. Тут никто не виноват. Но если дело попадет в Чека, то не одна голова полетит... Я немного служил в Чека, и теперь врагу не пожелаю туда попасть». Несколько странно звучит в устах сторонника диктатуры такая характеристика главного ее органа. Но дальше – больше: «Теперь учти, кроме меня правду знают только Грибанов и ты. Грибанов не скажет, так как его за “пыж” запросто к стенке поставят. Я тем более не скажу, так как мне сразу припаяют “покровительство бандитам”. Значит жизнь моя, Грибанова, всех братьев Яковенко (один из них был хозяином дробовика, другой из него стрелял по ходу спектакля) и еще, может, кого-то зависит от тебя одного». В связи с этим Мерзликин просит Григоренко помочь ему уничтожить улику, т. е. картечину. «Пойдешь домой – выброси в речку. Я хотел сохранить на память, да боюсь, найдут. Уже сегодня был чекист. Но он шлапак: поверил Грибанову и мне. Но там не все такие. Найдется кто-нибудь, кто начнет копать. Поэтому от греха подальше». В заключение автор говорит: «Я выполнил его просьбу». И даже более того: «Замечание насчет Чека запало мне в душу на всю жизнь. Может, этим объясняется, что я никогда ни на кого не донес в ЧК и в душе подвергал сомнению распространяемые советской пропагандой страшные истории о “врагах народа” и рассказы о “подвигах” чекистов. При той восторженности, с какой я воспринимал все советское, я без Мерзликина мог натворить много такого, за что потом было бы стыдно и больно».

Честно говоря, я не очень верю, что Петр Григорьевич при любой восторженности мог бы натворить «много такого». Ведь для этого мало остушиться, надо долго жить определенным образом, противоречащим его натуре и воспитанию, а этого он не мог бы. И ведь чувствовал в нем нечто надежное тот же Ваня Мерзликин, когда доверял безумному юнцу столь ответственную тайну. Но все же, наверняка, кое от чего Ваня Мерзликин его уберег.

Но этот конспиративный разговор и сговор двух сторонников диктатуры, стремящихся скрыть следы никогда не существовавшего преступления в боязни, что начнут копать и тогда выкопают – то, чего не было, эта твердая убежденность, что родным компетентным органам ничего доказать нельзя, что они человеческому языку не доверяют – даже тогда, когда он исходит из уст доверенных людей при готовности и дальше вполне честно идти с этими органами в одном строю к тем же сияющим вершинам, – вещь весьма знаменательная. Нет, это не сталинские гомункулысы, это люди, в значительной степени сами выбирающие себе дорогу, но уже ставшие на нее, уже обложенные тем, что большевики называют дисциплиной, уже подвергнутые постановлению о запрещении фракций, уже обязанные не считаться с велениями собственной совести (совестью их тоже в централизованном порядке должна распоряжаться «партия», то есть партократия, и совесть разрешенная – это только полная разоруженность перед ней). Конечно, времена еще сравнительно вегетарианские, еще в центрах человек с достаточным партийным весом может и вырвать кого-либо из лап ЧК, еще анфан террибль партии Рязанов, несмотря на свое пошатнувшееся положение, может, будучи вызван в ЧК на допрос для опознания какого-либо соглашателя, начать путать карты и опознать его только после прямо выраженной просьбы опознаваемого, которому зачем-то это нужно («Память», № 3), но в глубинке на это шансов меньше, и вообще официально ЧК – вещь духовно высокая, карающий меч революции, и в это надлежит верить. И все движется к тому, что исчезнет всякий вопрос о вере, о самостоятельной ответственности (прямо перед начальством и в тех терминах, которые оно употребит), и наилучшими людьми станут те, для которых это естественно, то есть гомункулысы. Но никогда, нигде, ни на каком уровне не будет так, чтобы были одни гомункулысы. И человеческое как-то будет проявляться. И все-таки люди будут доверять друг другу. Даже в очень серьезном.

П.Г. Григоренко винит себя в том, что он был в состоянии понять, что делают и что собираются сделать с крестьянством, что понравившиеся ему и успокоившие его статьи Сталина «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам» на самом деле были маневром для того, чтобы сбить с толку серьезное сопротивление крестьянства и выиграть время для подготовки страшнейшего преступления против него – организации искусственного голода. Еще бы! Ведь он сам слышал речь тогдашнего секретаря компартии Украины Косиора на собрании тех, кто должен был выезжать в качестве полномоченных ЦК КП(б) Украины на уборку урожая.

Речь эта очень важна, это одно из немногих прямых доказательств, что страшный голод начала тридцатых годов был организован умышленно, и ее пересказ я повторяю полностью. Вот она: «Мужик перешел к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы можно было костлявой рукой голода задушить советскую власть. Но он просчитается. Мы его самого заставим узнать, что такое голод. Ваша задача – сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать все до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть ямы».

Речь эта произвела очень тяжелое впечатление на Петра Григорьевича. Он знал, что никаких ям нет и в помине, что были они только до нэпа и понял довольно четко, что просто Косиор сознательно решил организовать в Украине искусственный голод – что он почти прямо и высказал. (Понять, что дело тут не только в Косиоре, Петр Григорьевич еще и не мог, не решился.) Поразительно то, что он своего отношения к речи Косиора (как-никак секретарь ЦК Украины, член Политбюро большого ЦК!) в своей среде не скрывал. И секретарь институтского партбюро Топчиев с ним не спорил, но как человек более взрослый, отговаривал его только писать жалобы Сталину на Косиора. Советовал пока подождать. А ведь практически обязан был квалифицировать настроения П.Г. Григоренко как кулацкие и антипартийные – особенно в момент обострения классовой борьбы. И поступить соответствующим образом. Ан нет. Не поступил. И человек был, видимо, другой, и обстановка, видимо, была еще далеко не та, что потом. Из того, что народ был лишен всяких прав и всякого голоса с первых дней советской власти, и потом все изменения практически касались только изменений внутри партии, никак нельзя делать вывод, что эти изменения не имеют значения. Сокращение демократии внутри партии – а этот процесс шел все время и довольно быстро – означало, что демократия сокращалась и в партии, что везде, любая – даже искривленная, партийная – жизнь сходила на нет, и в стране не оставалось никого и ничего, кто мог бы хоть в мизере возразить верховной власти, означало все большую замену на всех уровнях великих грешников теми, кто сам себя называл номенклатурой, то есть теми, кого вытаскивали и вытащили за ушко в руководители всех сторон жизни, в создание обстановки, где на руководящих уровнях просто гордились, что за них думает Сталин, и где высшей доблестью и удачей считалось правильно угадать его верховную волю. На таких основах уже не поговоришь. Конечно, и там оставались люди, которым было что сказать друг другу, да и появлялись новые (жизнь-то шла!), но равняться приходилось на других, «нетипичных», но

почему-то все решающих. Да и очень редко – на партийном уровне. На профессиональном – чаще. Вспомним описанную Григоренко реакцию армии на то, как проходило – на уровне грамотности Буденного – присвоение новых (вернее, старых, дореволюционных) званий комсоставу. Или разговор Новобранца с Рыбалко в Генштабе по поводу разведсводки № 8, разговор, требовавший высочайшего доверия друг к другу: узнай кто-нибудь, конец бы не только Новобранцу (он и так избежал его случайно), но и Рыбалко тоже – за соучастие. Но за выражение недовольства порядком переаттестации потом сажали, а разговор двух военных с самого начала был строго секретный, чуть ли не заговорщицкий. То, что при этом был заговор не против интересов власти, а за них и что из-за этого один его участник шел на верную смерть, а другой – на смертельный риск, в этом дух сталинщины. А ведь разговор с Топчиевым был просто разговором, хоть был он прямо политическим и касался линии руководства. Ибо все-таки у обоих была инерция ощущения членов партии, а не просто людей, допущенных к ней для получения благ и чинов. Другая атмосфера в отношениях не то что была, но еще была возможна в отношениях между людьми. Хоть это уже был анахронизм (или атавизм). Хоть в каком-то смысле это были самые преступные годы советской власти, последствия их на отношениях внутри партии сказались несколько позже – во время и после чисток.

Этот инструктаж Косиора сблизил П.Г. Григоренко еще с одним человеком, чрезвычайно интересным для понимания общей обстановки и реальной истории, заворгом комитета комсомола, бывшим троцкистом Яшей Злочевским. В самиздатской публицистике утвердилось мнение о троцкистах, как об исчадиях зла, главном источнике бед, людях в лучшем случае из романтических соображений ненавидящих народ и крестьян. Я отнюдь не собираюсь защищать троцкизм, ибо считаю его догматическим большевизмом, грешным всем, чем грешен большевизм, и ответственным за все, что творил большевизм, пока включал в себя и его. Его идеологию и проповедь я считаю опасным и бесчеловечным делом – разумеется, не более бесчеловечным и страшным, чем то, что творил (то, что он говорил, не имеет значения) Сталин, но к тому ведущий, к нему приведший. Но молодежь к нему влекли не его бесчеловечная суть (ее хватало и в «генеральной линии»), а некий вид идеологической цельности, протест против бессмысленной беспринципности, нежелание повторять абракадабру. Толкало их безусловно не в ту сторону – не к отказу от коммунизма, а к его углублению, очищению. Но я ведь не троцкизм защищаю, а людей, которые заблуждались далеко не всегда из низ-

менных побуждений. И воюю против схемы, позволяющей отвлечься от стыда сталинского небытия. Отвлекаться от этого не надо, это надо преодолеть – в некоторой степени и в самих себе, главное – в самой нашей жизни. Ведь и троцкизм, и ленинизм во многих преодолены, а сталинщина – не всегда, слишком разрушительные последствия она оставляет после себя.

Во всяком случае, бывшего троцкиста Яшу Злочевского с крестьянским сыном Петром Григоренко, и до этого симпатизировавших друг другу, окончательно сблизило их отношение к вышеупомянутому инструктажу. Оказалось, что они одинаково расценили его – как указание об организации голода. Только Яша Злочевский, он был старше на три года, понимал это отчетливей – в том смысле, что Кошиор знал, что делал, и что он не один это выдумал. «Не он один. Все они растленные типы. Для них человек – ничто. Власть им нужна любой ценой. Ради нее они никого не пожалеют, даже друг друга», – он говорил, как рубил... Под словами этими может подписаться любой из нас сегодня.

Но может быть, дело тут в троцкистской озлобленности – все же оттеснили, оболгали, используя методы, которые, впрочем, Троцкий считал вполне нормальными, но только вне партии, а не внутри ее. Собственно, этот вопрос – правда, в другой форме – и задает ему его более молодой собеседник. Вот он: «Яша! А как у тебя с троцкистским прошлым? Что, твой отказ от троцкизма – тактика или действительный отход?». Выслушаем ответ. Он очень важен: «Видишь ли, я вообще ничего не могу делать неискренне. В троцкизме я действительно разочаровался и никогда к нему не вернусь не только организационно, но идейно. В главном троцкизм не отличается от ленинизма, а следовательно, от теперешней идеологии и тактики партии. Но у троцкистов я многому научился. Анализ бюрократизма и диктатуры партийного аппарата троцкисты сделали классически». А дальше, немного непоследовательно идет программа жизни, принятая несколькими поколениями советской интеллигенции, теми ее представителями, которые безуспешно старались сводить концы с концами и оставаться честными: «Благодаря этому (анализу. – *Н. К.*) я, идя с партией, придерживаясь ее идеологии, стратегии и тактики, вижу те извращения, которые на них накладывает советский бюрократический и партийный аппарат, особенно борьба за местечки. Делай все честно, в меру своих сил препятствуй аппаратчикам, бюрократам душивать партию и народ, но не лезь со своими жалобами в верха».

Нет сомнения, что Николай Леличенко был искрен, когда убеждал своего бывшего однокашника, что Злочевский – в отличие от

других «жертв культа личности» – и на самом деле был «врагом народа». Вероятно, он услышал от Яши нечто такое, что ему показалось невероятным. И тем более страшным, что было проаргументировано и не могло сойти за «обывательские разговорчики». Логика таких людей – когда речь идет о том, за что они держатся, – не убеждает, а только пугает и раздражает. Николай Леличенко (в отличие от большинства из «спецнабора») учился добросовестно и старательно, хотя учеба давалась ему трудно. И вполне возможно, он усвоил профессиональные знания, но мысль о том, что земная ответственность человека, особенно человека мыслящего, не может ограничиваться его ответственностью перед начальством, вероятно, не приходила ему в голову никогда. (И здесь он не отличается от тех, кто учился спустя рукава.) Этому ему негде было учиться. И практически не у кого. Даже те, идейные, которых потом с его помощью вытеснили из жизни, учили его не этому. У некоторых из них еще была, вероятно, развита потребность думать о вещах лично их не касавшихся и иметь свою точку зрения на вопросы, уже авторитетно обдуманые начальством, но от него ведь требовалось только классовое чутье, более того, к этому чутью апеллировали, его объявляли отправной точкой всякого грамотного мышления (а к грамоте он стремился; и что говорить, классовое чутье, в каком-то, правда, несколько трансформированном виде, у него развилось). К тому же те, кто его учили, и сами мало-помалу, ради единства партии или чего подобного, предавали свою способность самостоятельно мыслить и отвечать. Конечно, это делалось для того, чтобы сохранить возможность участвовать «в общей работе», или как в Яшинском случае, чтобы стараться на ходу выправлять ошибки руководства, иногда это, как мы видим, было и искренне, но со стороны слишком не отличимо от желания сохранить за собой теплое место. И можно быть уверенным, что такой Николай Леличенко и не отличал этого. Тем более, что он не был и расположен к этому, ибо был не заинтересован. Конечно, все это люди, и как все люди они отличались друг от друга (хотя выглядели и старались выглядеть одинаково), и в каждом внезапно могло проснуться что-то человеческое, но биография их к этому не располагала. Но все-таки я думаю, что никто не выиграл от того, что такие люди стали, выражаясь языком В. Чалидзе, «победителями коммунизма», думаю, что все даже еще больше проиграли от этого. Это было не смягчением, а бескрайним ужесточением того, что было до этого. Не говоря уже о том, что человек, самостоятельно пришедший к коммунизму, мог (и такое бывало) и раскаться в нем, а человеку, чувствуящему ответственность только перед начальством, раскаиваться вроде бы и не в чем. А в чем оно состояло, не его ума и не его нравственной озабоченности дело. Парадокс состоит в том, что

такое положение эти люди стараются сохранить и тогда, когда окруженное ореолом начальство исчезает и даже когда они сами (зная ведь все про себя) занимают его место. Такие люди сейчас и правят нашей страной и навязывают свой уровень всему миру. Это было бы очень смешно, если бы не было столь опасно.

А тем более, были они опасны тогда. Разговор с одним из таких людей обошелся Петру Григорьевичу довольно дорого. Разговор этот произошел после того, как в штабе Дальневосточного фронта впервые стало известно о начале войны, то есть после речи Молотова 22 июня 1941 года (другой информации штаб не получил). До этого, знакомый с разведсводкой № 8, он считал, что командование знает о том, что война вот-вот начнется, и принимает меры (он не мог тогда знать, что сводка разослана в прямое нарушение воли командования), и теперь, даже по речи Молотова, он понимал, что меры не приняты, что немцы застали нас врасплох и уничтожили советскую авиацию. «Вспомни, как начинали немцы в Польше, Франции, Норвегии, – объяснял он своему сослуживцу. – Везде они (то есть немцы) начинают с удара по авиации и затем беспрепятственно громят наземные войска. Не надо быть очень мудрым, чтобы понять это и принять меры, чтобы отбить подобную попытку, если она будет предпринята противником. А наше Верховное Главнокомандование не позаботилось об этом, и вот вся наша Западная группировка военно-воздушных сил разгромлена». Человек, которому он это говорил, был, как и сам П.Г. Григоренко, выпускником Академии Генерального штаба, вроде специалист того же класса. Но о нем потом говорится: «Общекультурный уровень невысокий, ввиду чего и военные знания его были формальными, заученными». Естественно, что из этого следует «неспособность к анализу и к собственным выводам». В сущности, это характеристика целого слоя. И вообще, спрашивается – зачем набирать в Академию Генерального штаба людей без достаточного культурного уровня? Ведь это все-таки не курсы трактористов и шоферов и даже не среднее бронетанковое училище. Это ведь дело заведомо элитное, как раз и требующее общего кругозора. Но такие люди определяли многое. И свою неспособность к анализу кое-чем компенсировали. Вряд ли в другое время Петру Григорьевичу захотелось бы откровенничать с этим человеком, тем более, что сам он говорит о нем как о неинтересном собеседнике, но день уж был слишком нерядовой. Видимо, показалось, что начавшаяся трагедия сближает людей общей судьбой. Но человек, потерявший связь с самим собой (человек с самым высоким военным образованием, а в сущности и не знающий, что такое образованный человек), никакой связи с ним почувствовать не может. И «в час, когда над нашей Родиной нависла смертельная опас-

ность», он сделал то, что сделал бы в любой другой – написал донос на своего бывшего однокашника, что «усумнился» в мудрости Сталина. Сталин, правда, в разговоре даже не упоминался, но уж в этом деле полковник Андрей Алейников мыслить, по-видимому, умел хорошо. Так, что его, такие, как он, понимали. А получалось так, что их уровень был господствующим. И действовать против них можно было только подпольно. Так и действовал друг Петра Григорьевича, один из виднейших политработников Дальневосточного округа. Он передал через жену друга (они жили по соседству, чтобы тот зашел к нему ночью того дня, как поздно бы тот ни вернулся с работы, и сказал ему следующее: «Ну вот что! Запомни! Я тебя не видел, мы с тобой не говорили, я тебе ничего не советовал. Ты можешь вести себя как угодно и рассказывать что угодно, но если ты расскажешь о том, что сомневался в мудрости Сталина, я тебе ничем помочь не смогу. В ответ на возражение Петра Григорьевича, что он имени Сталина не называл, друг сказал, что это неважно. «Мудрый у нас только один человек. Поэтому о мудрости в том тоне, о котором говорил Алейников, ты вообще не говорил... И запомни – речь идет не о партийном билете, а о твоей голове. Утром тебя пригласят в назначенную мной партийно-следственную комиссию. Не забудь, когда к ним придешь, что ты не знаешь, зачем тебя вызвали».

Вот сколько конспирации понадобилось. А в сущности человек только высказал профессиональное суждение о коллегах, о их просчете. И обошлось это дорого, хотя самое страшное удалось отвести. Отделался строгим выговором. «Меня мой разговор с Алейниковым преследовал очень долго <...> Всю войну я прошел на генеральских (иногда полковничьих) должностях, но оставался подполковником. Только случайно, благодаря вмешательству Мехлиса, в конце войны (2 февраля 1945 года)... Этот разговор столкнул меня и с Брежневым в конце 1944 года (при попытке снять выговор, которой воспротивился Брежнев: “Неуважение к товарищу Сталину? Пусть поносит!”). Его же мне напомнили, когда я в 1961 году выступил против Хрущева». Существенная деталь. На той парткомиссии в армии, где Брежнев так картинно выступил против снятия выговора Григоренко, стоял вопрос о снятии выговоров с двух других провинившихся. Один, заместитель комполка по тылу, которого должны были судить за крупные хищения, но благодаря заступничеству начальства ограничили строгим выговором с предупреждением (но без занесения в учетную карточку). Второй – командир полка связи, насилующий подчиненных ему девушек-связисток (их ему приволакивали холуи-бугаи) – это называлось «использование служебного положения в целях принуждения подчиненных к сожительству». С обоих приговоры

сняли без звука. В присутствии того человека, который 17 лет управлял Россией и влиял на судьбы всего мира, который специально пришел, чтобы не допустить снятия выговора с Григоренко. Это и есть моральный кодекс номенклатуры, управляющей нашей страной.

В этой книге, вероятно, нет ни одного послереволюционного эпизода, который не влек бы за собой необходимости пространных размышлений. Каждый эпизод – узел, в котором скрещиваются многие факторы, определившие судьбу нашей страны. Только такие эпизоды практически и отобраны автором, да и как-то служат они этому, хотя автор как будто писал только автобиографию. Но это биография человека, прошедшего большой и сложный путь, освещенная тем, к чему он пришел, и написанная с точки зрения тех истин, которые ему открылись. Это книга фактов и книга мысли. Эта книга будит мысли, и если все их выразить, получится книга, в несколько раз превосходящая авторскую. Не знаю, когда напишут такую книгу, но уверен, что книга генерала П.Г. Григоренко – важнейший источник для изучения истории советского общества. И что каждому, кто ею интересуется, следует эту книгу прочесть.

1986 год

В ПРОСТРАНСТВЕ БЕЗ ДОРОГ³⁶

<...> Кажется, что Чичиковым никто всерьез не противостоит – разве Скалозубы и Федьки Каторжные, требующие своей доли (и получающие ее). Но крайность рождает крайность. Первые похождения Чичикова вызвали контрдвижение, замеченное Тургеневым в статье «Гамлеты и Донкихоты». С его легкой руки гамлеты и донкихоты получили полное русское гражданство. И, как во всем русском восприятии европейского, то, что в Европе существовало по отдельности, в России стало единым целым. Из английского принца и испанского гидальго вышел новый русский характер. Иногда – с перевесом гамлетовского, иногда – донкихотского, но в единстве друг с другом. Я это знаю по себе. Мой любимый герой – Гамлет, но сколько раз я сражался с ветряными мельницами! А диссидент-генерал Петр Григорьевич Григоренко – прославленный донкихот, но с какими глубокими гамлетовскими размышлениями! Я ставил эксперименты над самим собой, чтобы понять, он старался понять, чтобы действовать, но мы прекрасно друг друга понимали.

Когда Петр Григорьевич Григоренко начал борьбу за права человека, его поддержали два народа: крымские татары и немцы Поволжья. Татарам хотелось в Крым, немцам не знаю куда... Остальным никуда не хотелось.

Вы скажете – единичный случай. Да, потому что таких людей Сталин целенаправленно истреблял. И все же в диссидентское движение влилась «коммунистическая фракция»: Костерин, Григоренко, Лерт. Для них путь в диссидентство был так же органичен, как путь в революцию. С Лерт я был хорошо знаком, с Петром Григорьевичем дружен и храню светлую память о нем. Он стал коммунистом, как и многие на Юге Украины, после террора дроздовцев, потом перестал быть коммунистом, но он никогда не переставал быть самим собой – начиная с прыжка из окна второго этажа в кучку учеников, избивавших малыша, кончая ударом ребром ладони по кадыку санитаря, избивавшего душевнобольных в психушке. Тоталитарной штамповке поддавались люди без Божьей печати в душе. У кого была нравственная

³⁶ Из книги «Записки гадкого утенка». М.: Московский рабочий, 1998. Публикуется с разрешения автора.

харизма, тот никогда ее не терял. И всегда находились Дон Кихоты, боровшиеся за соблюдение хоть каких-то законов. Об этом стоит почитать в книге воспоминаний Петра Григорьевича.

Вы подчеркиваете, что масштабы красного террора были чудовищными и несравнимы с белым террором. Это подтверждают все, в том числе Григоренко, который при этом задает вопрос: почему его односельчане, испытывавшие и то, и другое, с красным террором помирились, а белый осуждали? Ответа он не знал. Я думаю, что однозначного ответа и нет. Но один из ключей к разгадке – революционная риторика, увлекавшая Россию. Из противников большевизма ею владели эсеры. К несчастью, белые с ними поссорились, а сами они умели разговаривать только со своими, с людьми своего круга. Слов, доступных мужикам, способных увлечь их, – не нашли. Разве только то, что Петя Григоренко наблюдал в городке, где учился: на другой день после вступления дроздовцев в Ногайск город был оклеен плакатами: «Бей жидов, спасай Россию». Но на Юго-Восточной Украине этот призыв не был подхвачен. Семена ненависти дали здесь другие всходы: анархии и большевизма.

* * *

<...> Я убежден, что без открытого свободного слова – живого слова – свободное общество никогда не начнется. Расшевелить аудиторию непросто, и не имеет смысла биться головой об стенку. Но я убежден, что в иных случаях аудитория готова была откликнуться: не хватило призыва. В 1968 году волна протестов против неправого суда над Аликом Гинзбургом поколебала мой скептицизм, и я решил опять попробовать возможность еще одной речи. Шли слухи, что доклад Юрия Давыдова об отчуждении будет очень смелым. Оставалось выступить в прениях – с середины, как в декабре 1965-го, заговорив о политической злобе дня. Я набросал несколько тезисов на каталожной карточке и ждал, что скажет Давыдов... Но увы! Он не сказал ничего интересного: видимо, передумал, бросил первоначальный смелый замысел. Аудитория дремала. Я порвал каталожную карточку (что там было, сейчас не вспомню). Без подготовленного общего настроения, за свои десять минут, все равно ничего не добьюсь. Потом я узнал, что в кулуарах шел сбор подписей под одним из протестов, и Ю. Давыдов его подписал. Но попытаться высказать свой протест вслух, публично – на это он не решился. Загадку объяснили мне воспоминания П.Г. Григоренко. Рассказывая о своем выступлении на партийной конференции в 1961 году, Петр Григорьевич пишет:

Большая часть делегатов прислала заявления в МК, в которых сообщают о своем неучастии в голосовании и несогласии с принятым решением (осудить выступление П.Г. Григоренко и лишить его депутатского мандата. При голосовании одна треть подняла руки за, а две трети не подняли ни за, ни против, ни воздержались. Как Будда в нирване). Поразило меня, – продолжает Петр Григорьевич, – что люди не боятся послать заявление-протест, но не решаются за это же самое проголосовать открыто. В этом вся система. В бюрократические учреждения можно писать в одиночку любые слезные жалобы. Вам, как правило, не ответят, но и не накажут, если дальше надоедать не станете. За коллективные же действия, если они даже выражаются в простом поднятии руки, если это неуютно начальству, жестоко покарают.

* * *

<...> В доме Мюгге-Великановой я познакомился и с Петром Григорьевичем Григоренко. Он задумал основать общество по защите прав человека и собрал неформальный круглый стол, чтобы лучше обсудить эту проблему (впоследствии я узнал, что таких военных советов было по крайней мере два, но я присутствовал на одном). Меня пригласили в качестве философа. Все это очень непохоже на обычные диссидентские решения, принимавшиеся в узком кругу, и замечательно характерно для Григоренко. Он мог планировать самые дерзкие операции, но обсуждал все детали спокойно и трезво, в лучших традициях русского генералитета.

Идея лиги (или общества) защиты прав человека приходила мне в голову еще в лагере в 1952 году. Но и в 1972 году час для этого общества еще не настал. Я сказал, что вокруг инициаторов будет создан барьер страха, и сколько было смельчаков, столько примерно и останется. Либо, если у начальства хватит остроумия, в общество сразу же запишется тысяча сексотов, они изберут свое правление, Григоренко исключат и примут резолюцию протеста против нарушения прав человека израильской военщиной. Второй способ остался на будущее, но первый действительно был применен. Лицо Петра Григорьевича сперва кажется суровым и вдруг становится трепетно ранимым. Меня поразило выражение страдания, с которым он меня слушал. Бывают такие мужественно-трепетные лица. Потом он ответил, что я недооцениваю возможности развития: в Чехословакии даже самиздата не было, а как полыхнуло! Точно не помню свой ответ. Скорее всего я повторил то, что писал в эссе «Человек ниоткуда». Чешская интеллигенция неотделима от чешского народа, и народ видит в ней своего

вождя; русская интеллигенция варится в собственном соку и только в редких случаях находит контакт с народом. Сейчас этого контакта нет, и власти могут делать все, что им угодно.

Завязался разговор об интеллигенции. Я попал на своего конька и рассказал о разных подходах к этому понятию. Тут меня поддержал студент, только что исключенный из комсомола и института за подпись под воззванием в защиту крымских татар (его приход и рассказ перебили начало наших прений). Мне было очень жаль умного мальчика, которого через несколько дней сдадут в солдаты, и я робко заметил, что лучше бы не привлекать к таким подписям студентов, очень они уязвимы. Петр Григорьевич тихо ответил: «Мы не можем без молодежи». И снова я увидел, что он сердцем чувствовал то же, что я, и даже сильнее, но ум военачальника диктовал, что не бывает войны без жертв.

Студент рассказал, как его исключали. Товарищи откровенно ему высказали в коридоре, что им плевать на все идеи, а потом дружно, без всяких моральных колебаний, подняли руки за предложенную резолюцию. Никто не захотел портить себе жизнь. Мне казалось очевидным, что эти студенты и проект Петра Григорьевича несовместимы. Но человек действия, верный своему характеру, не может не действовать, даже если действие граничит с абсурдом. И хотя современники пожимают плечами, потом оказывается, что нелепое декабристское каре зачем-то было нужно и нужен был Джон Браун, не дождавшийся, пока президентом станет Авраам Линкольн.

Мне казалось, что надо следовать приказу партизанского штаба (в «Разгроме» Фадеева): «сохранять боевые единицы», сохранять самиздат. Красный Крест – и не предпринимать наступательных операций. Диссиденты вели бой, как на Керченском полуострове в 1942-м: все силы на переднем крае и никаких резервов.

Был ли у них другой выбор? Не знаю. В конечном счете – нет. Если бы они продержались до афганской войны, то все равно пришлось бы «выйти на площадь». А до этого? Выдвигать на первое место одного, ему одному давать пресс-конференции, пока не посадят? Потом выступает следующий и т. д. Но у № 2 или № 3 нет имени, никто его не услышит. «Инициативная группа» или «Группа Хельсинки» – это было имя, это был рычаг, за который могла схватиться мировая пресса.

В эти годы армянское радио спросили, кто такие диссиденты. «Кто такие диссиденты, не знаем, – ответил воображаемый диктор. – Есть до-сиденты, сиденты и пост-сиденты». До-сиденты и пост-сиденты издавали «Хронику», а сиденты за нее сидели. И все-таки это не было совершенно замкнутым кругом. Приезжали ходоки, приносили жа-

лобы на местные беззакония. Свято место не оставалось пусто. Возникали какие-то зародыши «неформальных», как сейчас говорят, отношений.

Таким образом, спор мой с Петром Григорьевичем можно было продолжать до бесконечности. Хотя длился он один вечер. И остался в памяти не столько предмет, сколько стиль спора: Петр Григорьевич ни разу не рассердился. Он даже не сдерживал себя. Он просто не злился. Я доказывал нежизнеспособность его любимого детища, а он внимательно слушал и вдумывался. Конечно, это норма (в том смысле, в котором норма есть идеал). Но больше я с такой нормой не сталкивался.

Вскоре Петра Григорьевича засадили во вторую психушку. Вернувшись, он почти сразу позвал меня в гости. Я рад был начать разговор с признания, что полюбил его с одной встречи. Он ответил мне примерно тем же. Но мне не с чего было сердиться, позвали дать экспертизу, и я ее дал. Так что заслуга целиком его, не моя. И в некоторых других случаях я чувствовал его нравственное превосходство. Например, когда в комнату входил и вмешивался в разговор пасынок. Этот сын Зинаиды Михайловны до 6 лет ходил с вываливающимся языком и только в 12 впервые сказал «мама». Я застал его читающим книги, сравнивавшим Сталина с Иваном Грозным. Правда, не очень кстати. Но, по словам покойного профессора Эфроимсона, такие дети умирают до 16 лет. Что Алик выжил и научился читать – это чудо, это свидетельство умной любви, окружавшей его. Примерно так М.М. Бахтин относился к своей жене, впавшей в старческое слабоумие. Сохранить любовь к жене, однако, легче, чем полюбить дефективного пасынка.

Пригласил меня Петр Григорьевич из-за статьи «По поводу диалога», дважды зарубленной в двух редакциях 60-х годов. Подводя итог эпохе, я собрал всю свою ненапечатанную публицистику и, ничего не меняя, включил в книгу вместе с эссе (которыми дорожил) как документ для историков. Статья была попыткой убедить атеистов на их собственном языке, что не надо закрывать церкви. Для пущей убедительности я пошел на некоторые уступки, за которые мне досталось в «Образованщине». И вдруг этот устаревший текст, первоначально рассчитанный на комитет по делам религии, нашел своего настоящего читателя, ради которого хотелось написать все заново и получше. Петра Григорьевича захватила мысль, что праздник – не просто отдых. Он стал приводить свои собственные, взятые из жизни примеры, что разрушение структуры праздника, в центре которого было богослужение, приводит к нравственному упадку народа. И полился поток воспоминаний. Какой особый вкус был у яблока, которое впер-

вые можно было сорвать на Спаса. И о сельском священнике, бывшем миссионере, видимо, очень незаурядном человеке. И как после богослужения начинался второй, веселый праздник. Девушки собирались в круг и допоздна пели песни. На одном краю села хор и на другом, переключаясь друг с другом. А сейчас – он побывал в родном селе – нет песен. Все сидят у своих телевизоров. «Скучно живем», – сказал ему односельчанин, с которым Григоренко мальчиком когда-то играл.

Я еще лучше понял в этом разговоре, что церковь была неповторимым центром деревенской культуры – храмом, и оперой, и картинной галереей. «А потом взрывали церкви?» – переспросил я Петра Григорьевича (он был сапером и по приказу командующего Белорусским военным округом взорвал три храма). «Да, взрывал», – грустно подтвердил Григоренко. Его новой верой стала революция. Церковь была против революции. Церковь смешалась в его сознании с дроздовцами, расстрелявшими учителя истории, полного георгиевского кавалера, избранного председателем городского совета. Этот мужественный человек, случайно уцелевший после общего расстрела (видимо, пуля, скользя по черепу, только оглушила), надел форму со всеми крестами и пошел жаловаться к полковнику Дроздовскому на действия его подчиненных. Тут георгиевского кавалера и добились.

Петр Григорьевич был замечательный рассказчик. Теперь его воспоминания опубликованы, и читатель сам сможет об этом судить. Меньше всего удались диссиденты, они все немного на одно лицо. Остальное превосходно – одна из лучших мемуарных книг, которые я прочел. Детство, гражданская война (глазами мальчика, брат которого – красный партизан), комсомольский пыл и обаяние сталинской простоты, ужасы застенков 30-х годов (по рассказам брата, в судьбу которого Петр Григорьевич вмешался и сумел сделать невозможное: вызволил несколько десятков человек), Халхин-Гол с нестандартным Жуковым, диктатор Дальнего Востока Опанасенко, нестандартный Мехлис, нестандартные действия дивизии Григоренко в Карпатах... В устных рассказах Петр Григорьевич набрасывал только черты забытого времени, о себе самом стеснялся говорить. И только в книге я увидел рыжего мальчика, брившего потом волосы наголо, чтобы не дразнили, но сохранившего на всю жизнь солидарность с рыжими, с теми, кого дразнят, кого бьют. Впрочем, может быть, он родился рыцарем? Так, как рождаются поэтом?

Я сидел в коридоре у окна, находящегося на высоте полутора этажей... Слева от меня, почти около самого здания, въезд и вход во двор реального училища. И вот через этот вход вливается во двор шайка реалистов младших классов,

предводительствуемая старшеклассником Шавкой Сластеновым (накануне показавшим дроздовцам, куда бежали члены Совета. – Г. П.). Над ними развевался белый флаг с надписью: «Бей жидов – спасай Россию!» Это же они и орут во всю глотку. И нужно же произойти такому! Откуда-то им навстречу – первоклашка – еврейский мальчик. Да еще маленький, щуплый, болезненного вида. Шайка мгновенно его окружает: «Молись своему жидовскому Богу! Сейчас мы будем спасать Россию от тебя». Образуют живой круг вокруг него, гогочут и бросают его с одной стороны круга на другую. Он плачет и падает на песчаную дорожку.

Все зло, что у меня накопилось за прошедшие сутки (когда на глазах у всех убили учителя Новицкого. – Г. П.) подкатило к горлу. Я открыл окно и прыгнул с высоты полутора этажей. Упал я почти рядом с шайкой. После, уже взрослый, я ездил специально посмотреть на это место и пришел к выводу, что теперь прыгнуть с этой высоты не смог бы. А тогда прыгнул. И сразу же начал наносить удары, крича: «Ах вы, белая сволочь!»

Один против всех. А потом за эту донкихотскую драку был исключен из школы как хулиган.

Так, с вступления в город офицерского полка Дроздовского, шедшего походной колонной с румынского фронта на Дон, расстреливая по дороге все Советы, началась в Ногайске гражданская война. А кончилась – красным террором, расстрелами заложников, если в селе находилось при обыске оружие. И Григоренко задает вопрос, на который история до сих пор не дала ответа:

В Ново-Спасовке был расстрелян едва ли не каждый второй мужчина... но вот феномен. Мы все это слышали, знали. Прошло два года, и уже забыли. Расстрелы белыми первых Советов помним, рассказы о зверствах белых у нас в памяти, а недавний красный террор начисто забыли, хотя ЧК у нас в селе расстреляла семь ни в чем не повинных людей-заложников, в то время как белые не расстреляли ни одного человека. Несколько наших односельчан побывали в плену у белых и отведали шомполов, но головы принесли домой в целости. И они тоже помнили зверства белых и охотнее рассказывали о белых шомполах, чем о недавних чекистских расстрелах.

В общем, расхождений с властью у меня не было. Власть была наша родная, и я был предан ей всей душой... Село наше, как и все соседние украинские и русские села, было «красное». Соотношение такое. У красных, к которым до самого конца гражданской войны причислялась армия Махно, из нашего села служили 149 человек. У белых – двое. «Белыми» в наших краях были болгарские села и немецкие колонии.

Таковы факты, собранные Григоренко. А почему народ красным все прощал, а белым не прощал ничего – остается открытым вопросом. Вопросом мучительным, который Петр Григорьевич унес с собой в могилу. Этот деятельный человек очень напряженно мыслил. Однажды (видимо, в связи с разговорами о сущности религиозного чувства) Петр Григорьевич попросил меня даже прочитать о Достоевском. Как правило, я читал у диссидентов то, что недавно было написано. Например, у Юрия Орлова недели за две до его ареста – «Дети и детское в мире Достоевского». Помню сверляще внимательные глаза хозяина дома и общее впечатление от его вопросов, заставлявших уточнить мысль (о зле в ребенке – о детстве зла – и т. п.). Но по какой-то причине у Петра Григорьевича прочел «Эвклидовский и неэвклидовский разум»; видимо, чтобы разрушить какие-то стереотипы рационализма. Основные идеи этого довольно сложного текста он понял, опираясь только на природный ум и чутье. Он не был эрудитом в философии и богословии. Но в нем шел тот поворот к вере, который захватил все 70-е годы, и кое-какие философские ходы он угадывал с полуслова.

Примерно таким он был, когда мы с ним простились. Он уезжал с уверенностью, что непременно вернется, если выживет. Я не решался его разочаровывать. Уезжал он в Штаты на полгода, чтобы сделать операцию и повидать (может быть, перед смертью) младшего сына. И очень строго соблюдал условие: никаких пресс-конференций. Но все равно его лишили гражданства... Этого человека, который был, наряду с Сахаровым, совестью России...

* * *

<...> Если бы мне поручили выразить философию движения, к которому я примыкал как попутчик, то я сказал бы примерно так: личность выше класса, выше партии, выше государства, выше народа, выше догматов веры. Над личностью только Бог, но и Бог – личность. Одна сильно развитая личность может – как Сахаров – уравновесить глупость и грех целого народного собрания, целого народа... Правые диссиденты с этим, наверное, не согласны. Но я убежден, что спасение России (и всего человечества) не в толпе народа, идущей за пророком, а в каждой личности, в ее внутреннем развитии и в защите ее прав, в координированном росте свободы и ответственности. Начало этому процессу выхода из безличности положили диссиденты.

КАЖДЫЙ ПРОЗРЕВАЕТ В ОДИНОЧКУ

Комментарий к самиздатовской рукописи

Когда во второй половине семидесятых годов мне довелось работать врачом в загородном отделении 1-го Московского медицинского института, что неподалеку от Истры, я оказался если и не очевидцем, то, во всяком случае, косвенным свидетелем страшного происшествия: на станции Новый Иерусалим перерезало тепловозом мужа нашей 30-летней медсестры Нины Богачевой. Да как страшно перерезало – не сразу, не насмерть, а оторвало правую руку и ногу, так что он минут сорок после того еще жил и скончался только в машине скорой помощи.

Много темных слухов ходило тогда вокруг этой истории. Как мог молодой и здоровый мужчина не заметить среди бела дня идущей позади локомотивной сцепки? И как не увидел машинист стоящего на рельсах человека и не дал предупредительного гудка? Сам он работал в ту пору то ли инженером, то ли механиком в станционном депо, и видели его в тот роковой момент разговаривающим на путях с какими-то мужиками. Но что это были за люди, никто так и не узнался, а следствие очень быстро свернули. Нина же, его жена, долго еще пребывала в уверенности, что под сцепку муж попал не сам и что ему в этом помогли.

Ничего определенного на сей счет сказать, увы, не могу, но слышал впоследствии, что был он в общении человеком неудобным – прямым и сверх меры откровенным. А наш заведующий, немного его знавший, отозвался о нем категорично и коротко – баламут, имея, очевидно, в виду одну или две романически-скандальных истории, в которые тот попадал пару раз в силу особенностей своего «нестандартного» характера.

И вот остались три женщины – мать, жена и десятилетняя дочка. На Нину, которая неделю спустя, повязавшись черным платком, вышла на работу, страшно было смотреть, и никто при ней о ее несчастье старался не заговаривать. Но однажды заговорила она сама. Дело шло к концу рабочего дня, за окном сгущались осенние сумерки, и Нина, с которой мы остались в сестринской комнате вдвоем, пожаловалась, что устала, а впереди еще магазины, очереди и дорога домой в битком

набитой электричке. «А прежде все тяжелые покупки были целиком на Вите», – как бы между прочим заметила она и понурилась.

Я осторожно спросил ее о дочке, о свекрови, и так, слово за слово, разговорились. Может быть, ей и самой хотелось кому-нибудь излить душу, потому что высказанное горе все легче невысказанного, а я, как говорится, подвернулся под руку, но она вдруг начала рассказывать мне о муже, которого я не знал, и рассказ этот, должен признаться, меня поразил.

Увы, Нина, как, впрочем, и подавляющее большинство жен, была не слишком-то в курсе интересов своего супруга, хотя он их от нее и не скрывал. А интересы эти были, надо сказать, не совсем обычного свойства и касались не футбола, не рыбалки и не туристских походов, а... нашего политического устройства. И взялся он за это дело, видимо, основательно: зимой ли, летом, каждое воскресенье в течение последних полутора лет уезжал в Москву (дома уже знали, что все воскресенья его, и никогда на них не покушались) и до позднего вечера просиживал там в библиотеке. Правда, что он там искал, Нина толком объяснить не могла. С ее слов выходило, что будто бы «все про Берию». Но мне и этого оказалось достаточно. Потому что, словно при вспышке магия, я вдруг узнал самого себя и свое невыразимое одиночество в ту давно миновавшую пору. А у него-то, в его Холщевиках, в рабочем поселке Глебовской птицефабрики, оно, должно быть, ощущалось во сто крат острее.

Кажется, я попросил Нину принести показать оставшиеся после мужа тетради, и она обещала. Но так и не принесла. А напоминать я не решился. Может быть, и сегодня, никому не нужные, они все еще пылятся где-нибудь в забитом старьем чулане, а дочь с зятем или внуки даже о том не подозревают. Да и могут ли эти тетради что-то сказать кому-нибудь, кроме своего хозяина? А он к ним уже не прикоснется и, следовательно, никогда не получит ответа на те взволновавшие его в глухие застойные годы вопросы, на которые нам, живущим, дало теперь ответ само время. И потому я бы хотел сделать единственно возможную малость – сохранить здесь хотя бы его имя. Его звали Виктор Богачев.

Каждый прозревает в одиночку, если слегка перефразировать название известного романа Ганса Фаллады. Да, может быть коллективный гипноз, массовое ослепление, но массового прозрения не бывает. Тут потребны самостоятельные усилия души и собственный, отнюдь не легкий интеллектуальный поиск.

У меня это случилось лет на десять раньше Виктора – может быть, в силу разницы в возрасте, а может и потому, что в отличие от него

я все-таки жил в Москве, и какие-то разговоры и случайные самиздатовские копии на растресканной папиросной бумаге до меня иногда доходили. Но все равно непростительно поздно. Позади был уже XX съезд и советское вторжение в Венгрию. Позади было возвращение моей сестры из сталинских лагерей и процесс над Синявским и Даниэлем (который, к слову сказать, оставил меня вполне равнодушным – ведь в самом деле, тайно переправляя свои сочинения на Запад, писатели «играли не по правилам»), а я все еще таил в душе какие-то иллюзии относительно возможностей существующего режима. Вероятно, в силу той духовной инерции, что привнесла в наше общество знаменитая хрущевская оттепель. Но к середине 60-х годов сошла на нет и она.

Пелена спала с глаз, как это нередко бывает, внезапно. И толчком к тому послужила, в сущности, песчинка – открытое письмо в защиту А. Солженицына, направленное Георгием Владимовым в президиум всесоюзного съезда писателей, проходившего в Москве в мае 1967 года. Да, именно так – не письмо самого Солженицына тому же съезду, возвестившее полную бесправность независимого литератора в нашей несвободной стране, что ходило тогда по рукам и имело несравненно больший общественный резонанс, а скромное, в две странички, хоть и с блеском написанное публицистическое обращение, посланное как бы ему в догонку. Особенно запомнились слова (как стало ясно теперь, пророческие): «Не в обиду будь сказано съезду, но, вероятно, $\frac{9}{10}$ -х его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр Солженицын, гордость русской литературы, понесет свое имя много подальше».

Да еще заключительный оттуда абзац: «И вот я хочу спросить полномочный съезд – нация мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь же твердо, как верит он сам. Но мы-то, мы здесь причем? Мы его защитили от обысков и конфискации? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от него лишнюю зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно от наших редакций и правлений, когда он искал ответа?»

Так какое же все-таки откровение нашел я для себя в этих двух процитированных выше страничках? Теперь, по прошествии стольких лет, мне уже трудно ответить на этот вопрос. В сущности, ведь ничего такого, чего бы я не знал раньше. А может все дело было в той страстности, которую вложил автор в свое обращение? Но Солженицына я любил, и его «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» (остальное в ту пору оставалось мне еще неизвестным) были

для меня не только первоклассной литературой, но и эталоном художественной правды. А их автор – не просто писателем, а, как сказали бы теперь, знаковой фигурой, первой в блистательной когорте литераторов, группировавшихся вокруг «Нового мира» А. Твардовского. И то, что не только художественная, но и жизненная правда на стороне этих людей, лично у меня сомнений не вызывало.

Но если власть, тем не менее, идет на любые ухищрения, лишь бы лишить их возможности высказать эту выстраданную ими правду, то, следовательно это... несправедная власть? Внезапное это открытие жгло меня, как огнем, и положительно не давало покоя. Нет, с тем шоком, что испытал я семнадцатилетним юношей, познакомившись на курсовом комсомольском собрании с текстом закрытого доклада Хрущева XX съезду, сравнить его было, конечно, нельзя. Но то, что Сталин тиран и кровопийца, мы уже худо-бедно, но как-то переварили. И казалось, приди ему на смену действительно честные, бескорыстно преданные делу люди, и все вернется в свое изначальное русло, пойдет «как надо», как оно было замыслено когда-то отцами-основателями советского государства.

Но ведь со смерти Сталина прошло уже пятнадцать лет. Да, конечно, за анекдоты или неосторожно брошенное слово теперь не сажают. Но выборы, например, как были, так и остаются пустой формальностью. «Современная комедия», так, кажется, называется второй том «Саги о Форсайтах», и именно его однажды придвинул мне мой бывший одноклассник, когда я зашел навестить его по случаю болезни, пришедшейся как раз на день выборов. Принесут ли ему на дом избирательную урну, поинтересовался я тогда, а он в ответ и ткнул меня в этот двусмысленный заголовок.

Впрочем, я и сам немало уже успел поразмышлять над этой проблемой и однажды, поближе познакомившись со структурой народного представительства первых лет революции, даже поделился своим внезапным «открытием» в подробном письме Хрущеву. Современная избирательная система не имеет ничего общего с теми демократическими принципами, что были провозглашены большевиками сразу после Октябрьского восстания, а термин «советский» сохранился разве что в названии нашего государства, где от первых, подлинных Советов уцелела в лучшем случае одна оболочка. И, естественно, призывал вернуться к этим отброшенным при Сталине «ленинским нормам»³⁷.

³⁷ Самое забавное, что письмо это имело некоторые неожиданные для меня последствия. Месяца через полтора меня пригласили в Советский райком партии (так назывался тогда один из центральных районов Москвы), где меня приняла миловидная сорокалетняя блондинка. Она объяснила, что ей поручено ответить на мое письмо

Да, колхозники имеют теперь паспорта и формально не закреплены за своими хозяйствами, как крепостные. Но в какой бедности, если не нищете, по-прежнему прозябает деревня. Столичный житель, я еще в 1955-м году своими глазами мог видеть, как в подшефном колхозе, куда нас посылали от института на уборку сена, женщины жали хлеб серпами (притом, что мы, студенты, по большей части бездельничали). И это в пятидесяти километрах от Москвы. Что уж тут говорить о настоящей глубинке.

Эту «глубинку», кстати, я имел случай наблюдать десять лет спустя, когда под новый 1966 год отправился к своему приятелю в Ульяновскую область, чтобы вместе с ним встретить этот зимний праздник. Работал мой знакомый учителем физкультуры в сельской школе, и телефонной связи с ним не было практически никакой. Поэтому, экспромтом приняв решение о поездке, списываться я с ним не стал, а лишь по карте, на глазок, определил ближайшую от его райцентра железнодорожную станцию, взял билет и поехал.

Станция эта была город Алатырь, на самом юге Чувашии, и добираться до него нужно было с пересадкой в Рузаевке. А поезд мой был какой-то транссибирский – то ли до Красноярска, то ли до Кемерово, – но, во всяком случае, столичный, и эта столица «с ее уютом протяженным до крайней шпалы полотна» ощущалась в нем явственно, пока не сошел. Но едва сошел, сразу окунулся в иной, словно потусторонний мир. Эту ночную пересадку в Рузаевке я не забуду, должно быть, уже никогда.

Мрачное вокзальное помещение с тусклыми, как бы притушенными огнями. Хмурые лица в очереди в билетную кассу. Спящие вполку люди в полутемном зале ожидания в донельзя спертом и каком-то кислом воздухе. И великое множество бедно одетых людей – детей, женщин, мужчин. Особенно женщин. От их плюшевых, с вороньим отливом, жакетов – этой печальной униформы российской деревни – по временам чернело в глазах. А ведь многим они заменяли выходной наряд. Их надевали, чтобы пойти в гости – все лучше, чем в ватнике.

и содержащиеся в нем предложения. Не помню уж, какие она выдвинула тогда аргументы, да и вообще, касались ли мы с ней этих материй, но зато хорошо запомнился тот неподдельный интерес, с которым она разглядывала мою особу. Видимо, такое вот сочетание молодости (а было мне от силы лет двадцать пять) с равнодушием к вопросам государственного устройства казалось ей чем-то необыкновенным и не позволяло подойти к своей миссии сугубо формально. Она даже поинтересовалась напоследок, не может ли мне быть чем-нибудь полезна, и предложила помощь в устройстве в ординатуру, что мне, начинающему врачу, давало хороший карьерный шанс. Однако я вежливо отклонил предложение, о чем впоследствии не раз пожалел. Вот такие были еще в ту пору «оттепельные» нравы.

А еще запомнилась почему-то молодая мать с ребенком на руках в очереди к буфетной стойке. Дело было уже за полночь, ребенок капризничал, ему давно пора было спать, а очередь двигалась медленно. Но никто даже не шелухнулся, чтобы пропустить ее вперед. Да и сама она стояла, безучастно уставившись глазами в одну видимую только ей точку и лишь на мгновение приходя в себя, чтобы утихомирить ребенка. А когда подошла, наконец, ее очередь, кажется, всего и купила, что кулек дешевых «подушечек» сыну.

А до своего знакомого я, между прочим, так и не добрался. В Алатыре мела метель, и все дороги были занесены. Промаявшись часа полтора в кучке таких же жаждущих поспеть к новогоднему столу, я наконец втиснулся в переполненный автобус, который шел не по расписанию да к тому же и не гарантировал, что доставит нас до места назначения. И действительно, километров через десять, возле центральной усадьбы пригородного совхоза, водитель раскрыл двери и объявил, что дальше не поедет – дорога впереди заметена по колено. Но и возвращаться обратно он также не собирался, а, покинув машину, скрылся между домов погруженного в предутренний сон поселка. А вслед за ним разбрелись куда-то и пассажиры.

Было около восьми утра, еще не рассвело, и на остановке кроме меня не осталось ни души. Что было делать? Ловить попутку? Но за полчаса топтания на морозном ветру мимо меня не прошла ни одна. А шофер какого-то чудом вырвавшегося из снежной заверти самосвала прокричал, что дороги впереди нет и что я могу стоять тут до второго пришествия. Но если не было рейсов в одну сторону, то, следовательно, нечего было их ждать и в обратную. Возвращаться назад пешком? Но я так устал и промерз, что чувствовал, что без привычки не дойду и свалюсь в каком-нибудь в придорожном сугробе. И ведь никто не проедет и не подберет. Оставалась одна надежда – на совхозную машину.

И тут мне повезло. В только что открывшемся аккуратном домике конторы мне встретилась немолодая сутуловатая женщина – должно быть, бухгалтер – в стеганой безрукавке и с подвязанными проволокой очечками. Узнав, что я из Москвы и что застрял тут по случаю непогоды, она прониклась ко мне каким-то материнским участием и тут же, связавшись с гаражом, выяснила, что через час-полтора в Алатырь уходит совхозный газик с главным механиком. И еще напоила меня горячим чаем, потому что я в самом деле продрог до костей. А услышав, куда и зачем я ехал, моя спасительница даже всплеснула руками: «Да ведь ехать-то надо было через Ульяновск. Оно хоть и дальше, но у них автобус всегда по расписанию, да и шоссе расчищается в любую погоду».

Вот так, с опозданием, понял я, как рискованно на наших российских просторах доверяться географической карте. Но о том, чтобы добраться до цели, нечего было уже и думать. И теперь мною владело лишь одно желание – поскорей вернуться в Москву, которая виделась отсюда едва ли не земным раем. А под крышей какого вокзала или на каком перегоне доведется встречать Новый год, было уже делом десятым.

Однако в Алатыре ждало разочарование: первый и единственный местный поезд отходил только под вечер, и не на Рузаевку, а на Канаш. И – делать нечего – я поехал в Канаш, чтобы пересесть там на московский экспресс.

Но что это был за поезд! Я и не знал, что где-то еще сохранились такие. Со времен не последней, а пожалуй что гражданской войны. Пяток щербатых, давно не крашенных вагонов, прицепленных к старенькой, выдавшей вида «овечке». На перроне, когда садились, было еще светло, но едва поезд тронулся, как быстро стемнело. Однако свет дали не сразу, и первые минут сорок так и ехали в полутьме, подсвеченной лежащими за окном снегами. Но и потом свет то загорался, то гас, а последние километров тридцать еле теплился, так что не то что читать – разглядеть лицо соседа было и то затруднительно. Но привычная ко всему вагонная публика переносила неудобства стоически. Кто-то курил, смолит папироску за папироской, не давая себе труда даже выйти в тамбур. Другие дремали, привалившись к своим безразмерным узлам, или что-то вяло жевали, разложив домашнюю снедь прямо на коленях. А мне, глядя на эти понурые без лиц фигуры, казалось, что я присутствую на съемках какого-то фильма из времен гражданской войны или военного коммунизма.

Прошу извинений у читателя за столь длинное отступление, но я не случайно так подробно остановился на этих своих «чувашских» впечатлениях. Просто хотелось показать, что мой импульс родился все же не на пустом месте, а был как бы верхушкой айсберга, массивное тело которого пряталось до поры до времени в потаенных глубинах подсознания.

Но существовала и еще одна болевая точка, что жила во мне еще с подростковых времен. Это арест в 1951 году моей старшей сестры, ее пятилетняя лагерная эпопея, а главное – три расстрела, которыми закончился тот судебный процесс. И одного из расстрелянных я немного знал, звали его Женя Гуревич.

Небольшого роста, щуплый, если не сказать тщедушный, с мальчишеским хохолком на голове и живыми, светящимися умом глазами, он словно генерировал вокруг себя незримое энергетическое поле

и, помню, мне, двенадцатилетнему, очень тогда нравился, как, впрочем, нравился, по-видимому, и сестре. И я под любыми предложениями старался попасть в ее комнату, когда он приходил к ней вместе с постоянным своим спутником и «оруженосцем» Владиком Мельниковым, смотревшим ему в рот. Конечно, я не знал содержания ведшихся за закрытой дверью бесед (его не знали и мои родители), а между тем содержание это было более чем серьезным и даже, по тем временам, смертельно опасным. Вот как много лет спустя описала его в своих воспоминаниях моя сестра:

«В один из дождливых осенних дней Женя вдруг позвонил мне и предложил встретиться. Он был чем-то взволнован. Мы бродили с ним под зонтом, и я с холодком в сердце слушала его рассказ о недавно созданной подпольной организации. Ее цель – готовить кадры к грядущей революции. Но революция – дело будущего. Пока же надо раскрывать людям глаза на несправедливость существующего строя, вести пропаганду и агитацию среди самых разных слоев населения. <...> А однажды у меня в комнате Женя объявил, что намерен провести собрание. Все чин по чину – председатель, секретарь, массы, и все в трех лицах. Он познакомил нас с «программой» организации и «манифестом». Организация называлась СДР – Союз борьбы за дело революции. Я покорно вела протокол собрания, хотя эта формальная сторона, на которой Женя настаивал, вызывала во мне протест. Все напоминало игру, но опасную игру, и я дала себе слово, что это наша последняя встреча»³⁸.

Двух других поплатившихся жизнью заговорщиков не знала даже сестра – она увидела их лишь в день суда, который состоялся в феврале 1952 года там же, в Лефортовской тюрьме. И вот эти три смерти, конечно же, не могли не подействовать на мое полудетское воображение.

Есть такой психологический феномен – подсознательное чувство вины перед ушедшими. То самое, о котором писал А. Твардовский:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...

И хотя мои представления о том, ради чего, собственно, поставили на кон свои молодые жизни эти трое, были тогда еще весьма смутны-

³⁸ Туманова А. Шаг вправо, шаг влево... М.: Прогресс-Литера. 1995. С. 97–99.

ми, но самый факт их гибели в том юном возрасте, когда другие их сверстники бегают за девочками, накачивают мускулы в спортивных залах или делают комсомольскую карьеру, не мог не саднить сердце. И еще прежде, чем написать хотя бы строчку своей «крамольной» рукописи, историю которой я собираюсь здесь рассказать, я уже знал, что она будет посвящена «памяти безвестных героев Бориса Слуцкого, Владлена Фурмана и Евгения Гуревича, погибших в дни 1952 года в возрасте неполных 20-ти лет» (намянуть на большее даже и в конце 1960-х годов я все же не решился).

А желание писать, делиться своими открытиями, родилось у меня почти сразу же, едва я углубился в единственный стоявший у нас в шкафу том Ленина в выцветшем дерматиновом переплете. Том этот был из какого-то довоенного двухтомника, и я до сих пор не имею понятия, как он попал в наш дом (уж не через Женю ли Гуревича?). Но зато хорошо помню перечеркнутые лиловыми чернилами фамилии известных оппозиционеров в перечне именного указателя. И против каждого такого имени старательным детским почерком было выведено: «враг народа, расстрелян».

Говорят, у Ленина, почти как в Евангелии, можно найти все. Может, потому, что Лениных, в сущности, было несколько. Но тот Ленин, с которого я начал свое чтение, меня покори́л. Это было «Государство и революция». Тоже своего рода Евангелие, и, как всякое Евангелие, обреченное пребыть неосуществимой мечтой у врат грешного мира. Но в тот момент я еще не задумывался о том, насколько реалистичны все эти прекраснодушные рассуждения о справедливом распределении «всякой пищи и молока» или свободной раздаче оружия отрядам народной милиции. Я просто принял их в свое сердце как неопровержимое подтверждение чистоты большевистских помыслов накануне прихода этой партии к власти.

Итак, точка отсчета была выбрана. Предстояло разобраться, когда и в силу каких причин произошла, в конечном итоге, эта радикальная трансформация большевистских ценностей. Но ведь я не был историком, и все архивы были для меня, естественно, закрыты. Оставалось рассчитывать на что? Да на то же самое, что было доступно Виктору Богачеву и любому, вообще, советскому человеку – на открытые библиотечные фонды. Но и там, оказывается, можно было почерпнуть немало полезного.

Мне, пожалуй, не приходилось сталкиваться с этим в Москве, но моя жена, учившаяся в 1960-е годы в Башкирии, сама была свидетельницей, как ее однокурсника по институту едва не отчислили за то, что он, прочтя самостоятельно какие-то малоизвестные работы Ленина, позволил себе задавать «бестактные» вопросы руководителю

семинара по основам марксизма. «А разве вы не знаете, что изучать первоисточники разрешено только в группе и не менее чем из трех человек», – вскричал выведенный из себя педагог и, не имея других аргументов, побежал жаловаться в деканат. Правдоискателя и в самом деле едва не исключили, если бы не коллективное заступничество группы его сокурсников.

Так что многие вещи Ленина и другие «разрешенные» издания тех лет представляли собой опасную мину для советской власти, и она предпочитала, чтобы они доходили до людей в уже разжеванном и откомментированном виде. Но и закрыть эту литературу, однако, не решалась, и потому полки с томами Ленина и материалами первых послеоктябрьских съездов занимали весьма почетное место в каждой районной библиотеке. Как говорится, изучай – не хочу. Вот за это я и взылся с усердием неопита.

Теперь мне уже трудно понять, откуда брались у меня упорство и силы день за днем в течение двух лет вгрызаться в этот исторический гранит. Ведь какая-нибудь резолюция IX съезда РКП(б) по военному строительству – это, по сути, очень скучная материя. И потом, к кому бы я мог пойти со всеми этими своими «открытиями»? Как и Виктор Богачев, я был так же одинок, и делиться мне было абсолютно не с кем. А, между тем, именно в это время в Москве начали распространяться первые выпуски знаменитой «Хроники текущих событий», приуроченной к объявленному ООН Году прав человека и подробно освещавшей череду политических преследований в якобы покончившем со сталинским наследием Советском Союзе, другие не менее громкие распечатки самиздата, но мне о них не было известно ровным счетом ничего. Пробиваться к свету приходилось в одиночку с тем скудным политологическим багажом, который я успел приобрести в советской школе и в советском вузе.

Особенно трудно было разбираться в тонкостях внутрипартийной борьбы первого послереволюционного десятилетия. В простоте душевной я не предполагал в ней второго, закулисного плана, вычитываемого между строк, и все, что было написано черным по белому, принимал за чистую монету. Поэтому, например, в статье «Новый курс» Троцкого (1923), направленной против сталинского крыла партии, я видел в нем только борца с партийной бюрократией и ничего более. А что за фасадом этой политической дискуссии скрывалась яростная борьба за власть и что все эти троцкисты, зиновьевцы, сталинцы по своей сути не слишком-то отличались друг от друга, мне просто не приходило в голову.

И все-таки я читал Троцкого! Не было в советские времена более одиозной, более запретной и более интригующей фигуры, и, перели-

стывая огромную, в пол человеческого роста, газетную подшивку, я не мог отделаться от ощущения, что кто-то стоит за моим плечом, и закрывал листком бумаги шапку читаемой мной статьи. И даже заказывая в окне эти «крамольные» газеты, я невольно напрягался под взглядами библиотекарей, в которых мне чудилась какая-то насто-роженная подозрительность. Хотя, скорее всего, то был чистый плод моей фантазии: мало ли кто и что мог искать в тех полувековой давности подшивках. Вот этим тоскливым внутренним неуютом и запом-нился мне газетный зал Исторической библиотеки – самый, кстати, сумрачный из всех ее залов, где я провел большую часть субботних вечеров осени и зимы 1967 года, которые мои сверстники проводили, вероятно, куда увлекательней и уж, во всяком случае, веселее.

Но вот где-то к весне 1968 года передо мной, наконец, забрезжил «свет в конце туннеля» и в голове сложились контуры будущей рукописи, а главное – было найдено вступление, задававшее тон всему дальнейшему. Оно и сегодня кажется мне удачным, хотя бы в публицистическом плане, а потому позволю себе привести самое его начало. Давая, с одной стороны, представление о моих тогдашних идеологических ориентирах, оно не утратило, к сожалению, своей специфической актуальности и в наши дни.

«Посреди Красной площади, главной площади Советского Союза, высится мраморное надгробие – Мавзолей. Изо дня в день, из месяца в месяц тянется к нему нескончаемый людской поток. Неотвратимый круговорот бытия оборвал полвека назад жизнь человека, чья мысль и воля сыграли такую выдающуюся, ни с чем не сравнимую роль в судьбах истории. Оставшиеся в живых решили воздать ему почеть, какой не удостаивался до сих пор ни один из коронованных властителей мира – они навечно поместили его тело в этот мавзолей, чтобы стараниями биохимиков спасти от тления дорогие черты...

Но человек, покоящийся здесь, был мудр и трезв: слишком трезв, чтобы заблуждаться относительно невозвратности человеческого существования, чтобы не видеть пределов, поставленных человеку природой; достаточно мудр, чтобы до последней минуты думать и печься о жизни, о ее земных проблемах, и потому вряд ли бы одобрил затею с устройством мавзолея. Кроме того, он, вероятно, полагал, что если для потомков и представляет какой-то интерес его личность, то это прежде всего его борьба, его идеи, но никак не отслужившая свой срок бесполезная материальная оболочка.

Однако никто не волен распоряжаться своей посмертной славой. Наследники и продолжатели его трудов решили иначе: того, кто при жизни был органически скромн и прост, ненавидел помпезность и презирал всякую позу, поместили после смерти под стеклянную

крышку саркофага, допустив по отношению к памяти Учителя величайшую бестактность, если не сказать сильнее».

Надо ли говорить, какую бомбу представлял собой этот пассаж вместе с предпосланным ему заголовком: «Трансформация большевизма». Тут было, можно сказать, покушение на святая святых, и в том числе, на аксиому незыблемости «генеральной линии» партии. Давно уже ставшая притчей во языцех ввиду ее очевидных зигзагов и кульбитов, она служила к тому же пищей для множества анекдотов, один из которых запомнился по сей день. Старый партиец заполняет очередную анкету. На вопрос: «Были ли колебания в проведении линии партии?» после недолгих раздумий отвечает: «Колебался вместе с линией партии».

Впрочем, думать и даже говорить в узком кругу советские люди могли все что угодно, но писать... И дабы не навлекать на себя карающую десницу, я решил оставить свой опус неподписанным. Так ли уж важно, в конце концов, кому он принадлежит? Лишь бы заложенные в нем мысли стали достоянием как можно более широкого круга. И лишь впоследствии мне стало ясно, сколь нетипично было подобное решение для самиздата, что, может быть, и явилось отчасти причиной прохладного отношения к рукописи со стороны самиздатовских «зубров».

Но все это было еще впереди. Пока же, по выражению Твардовского, предстояло «сладить со строкой», и так хотелось сладить с ней поскорее. Ведь на дворе стоял 1968 год – последний, по существу, год и закат хрущевской «оттепели» с последовавшим затем свертыванием и тех куцых политических свобод, и так называемых косыгинских экономических реформ, на которые возлагались тогда немалые надежды. Конечно, исторически все это было предрешено, точно так, как 30 лет спустя был, по-видимому, предрешен политический откат начала 2000-х годов. Но импульсом к реваншу послужили на сей раз события не внутри страны, а за ее пределами. И имя им было «Пражская весна».

Название «весна» в данном случае столь же метафорично и условно, как и «оттепель». Потому что захватила она три времени года – с января 1968-го, когда на пленуме ЦК КПЧ произошла смена его руководства и генеральным секретарем был избран Александр Дубчек, и вплоть до советской оккупации Чехословакии в ночь с 20-го на 21-е августа. И «весна» эта будоражила умы как в самой всколыхнувшейся ей навстречу стране, так и за ее пределами. «Казалось, – вспоминал впоследствии А.Д. Сахаров, – что в Чехословакии происходит наконец то, о чем мечтали столь многие в социалистических странах, – социалистическая демократизация (отмена цензуры, свобода

слова), оздоровление экономической и социальной систем, ликвидация всеилия органов безопасности внутри страны с оставлением им только внешнеполитических функций, безоговорочное и полное раскрытие преступлений и ужасов сталинистского периода («готвальдовского» в Чехословакии). Даже на расстоянии чувствовалась атмосфера возбуждения, надежды, энтузиазма, нашедшая свое выражение в броских, эмоционально-активных выражениях – «Пражская весна», «социализм с человеческим лицом»³⁹.

Но эйфория, увы, была недолгой. До сих пор помню, как, обхватив руками голову, рассказывал о своих впечатлениях возвратившийся из Праги муж моей институтской сокурсницы, бывший, как тогда говорили, «выездным» по причине своего высокого положения в одном из гуманитарных НИИ. «Они же там совершенно ничего не понимают. Они не представляют, как скоро все это будет прихлопнуто».

Прихлопнута «Пражская весна» была советскими танками. Газеты ссылались в те дни на какое-то мифическое – без имен и фамилий – обращение представителей прогрессивной чехословацкой общественности к компартиям братских стран с просьбой встать на защиту социалистических завоеваний. И вот именно идя навстречу этим «здоровым патриотическим силам», советское руководство якобы и вынуждено было прибегнуть к военному вмешательству, дабы преградить дорогу реакции.⁴⁰

Все это было, конечно, шито белыми нитками, и люди прекрасно это понимали, но молчали. Как молчал и я, когда, стиснув зубы, сидел на открытом партийном собрании своей медсанчасти и слушал доклад нашего партсекретаря – заведующей стоматологическим отделением, что-то нудно бубнившей насчет интернационального долга, а вокруг с сонными лицами сидели врачи и медицинские сестры. Лица и вправду были сонные, словно на повестке дня стоял вопрос о подведении итогов соцсоревнования, и это лишь усугубляло мое ощущение беспомощности и отчаяния. Но с кем же мне было им делиться?

П.Г. Григоренко приводит в своих мемуарах слова первого секретаря Московского горкома партии В. Гришина, с гордостью объявившего на партийном активе города, что на всю Москву нашлось только 13 человек, выступивших на собраниях трудящихся против ввода советских войск в ЧССР. «Гришин говорит: *«только 13»*, – добавляет от себя Петр Григорьевич. – А я, услышав об этом, готов был «УРА» закричать. Ведь *это же 13 одиночек*. А люди, способные в наших усло-

³⁹ Сахаров А.Д. Воспоминания. В 2 т. Т. 1. М.: Права человека. 1996. С. 389.

⁴⁰ А ввел ли бы Ленин, живи он в ту пору, войска в Чехословакию? Тогда такой вопрос мне даже не мог прийти в голову. Но теперь не сомневаюсь – ввел бы.

виях выступить *в одиночку* против действий правительства, да еще таких действий, как интервенция, многих тысяч стоят. Народ, имеющий таких одиночек, не погибнет – оживет и проявит себя»⁴¹.

Мне, однако, думалось иначе, и 13 человек на 7-миллионную Москву, высказавшихся против интервенции, это вовсе не было поводом для оптимизма. И даже те семеро, что вышли 25 августа на Красную площадь с самодельными лозунгами и транспарантами, сохранили лишь свое собственное лицо, но никак не лицо двухсотмиллионной нации. Ведь прохожие, наблюдавшие за этой самоотверженной акцией, не проявили к ней никакого сочувствия – одно лишь простодушное любопытство.

Эта поразительная социальная апатия представлялась своего рода феноменом, до истоков которого также хотелось докопаться в итоге моей работы. Во всяком случае, что общество серьезно больно, не вызывало никаких сомнений. Об этом все громче заявляли в своих произведениях и некоторые писатели (так называемые «деревенщики», В. Тендряков, Ю. Трифонов), и чудом прорвавшиеся на широкий экран кинофильмы («Наш дом», «Три дня Виктора Чернышева»). Но искусству всего важнее показать болезнь. «Будет и того, что болезнь названа, – писал в предисловии к «Герою нашего времени» М. Лермонтов. – А как ее излечить, это уж Бог знает». И вот тут начинается поле деятельности для социолога – специальности, которой в 1960-е годы в Советском Союзе просто не существовало и к каким, в силу малости моих познаний, причислить себя я, конечно, не мог, хотя кое-какие претензии на сей счет, наверно, все-таки были.

Но вот где-то к концу 1968 года у меня сложились уже три самостоятельных главы и была начата четвертая, когда дело вдруг окончательно застопорилось. Сказывалось ли отсутствие опыта или накопившаяся усталость – от самой ли работы, от одиночества? Но не было уже никаких душевных сил длить и длить эту бесконечную канитель. И тогда мне пришла мысль, за которую я ухватился, как за соломинку: попытаться найти себе соавтора и, разумеется, из диссидентских кругов. Ведь должны же там быть люди, размышляющие о тех же материях, а «в четыре руки» и работа пойдет веселее. В общем, выйти в свет с тем, что уже написано.

Однако из всех диссидентов, не считая Солженицына и Сахарова, мне было известно фактически лишь одно имя – Петра Якира. Может быть, в силу популярности его отца, расстрелянного в 37-м году героя

⁴¹ Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс... Нью-Йорк: Детинец. 1981. С. 646.

гражданской войны. Но как на него выйти? Долго кормила меня завтраками та самая однокурсница, чей муж незадолго перед тем вернулся из Чехословакии и, в силу своей «киношной» специальности, был близок к каким-то вольнодумным гуманитариям, пока я не понял, что оба они просто боятся.

Выручили физики, с которыми я дружил. Нашелся-таки среди них один, коротко знакомый не только с Якиром, но входящий даже к самому Сахарову. Он-то и привел меня в тот морозный декабрьский вечер, едва не оказавшийся для меня впоследствии роковым, в один из знаменитых московских домов неподалеку от метро «Автозаводская».

Но кого я рассчитывал там увидеть? Рыцарей без страха и упрека, с открытым забралом бросивших вызов государственному монстру? Но за столом сидели самые обыкновенные люди. Они обсуждали историю какой-то Иры Белгородской, по рассеянности оставившей в такси толстую пачку самиздата, и хвалили дешевенький соевый торт, каким давно уже брезговали в доме моих родителей, захваченный нами по пути вместе с бутылкой портвейна. По временам появлялась и вновь исчезала изможденная, местечкового вида старушка, вдова легендарного командарма. Сын командарма, которого здесь звали Петей, полная противоположность матери, плотный сорокапятилетний мужчина с сумрачным, тяжеловатым, как бы обожженным его семнадцатилетней лагерной эпопеей лицом, налегал на портвейн, а я все ждал, когда же мне можно будет приступить к делу, ради которого я, собственно, сюда и пришел, и тяготился тем, что никто не обращает на меня никакого внимания.

Тогда я еще не представлял, сколько в этом доме бывает самого разного народа и как обычны здесь застолья с полузнакомыми и вовсе незнакомыми людьми, и что я попал в своего рода мир диссидентской богемы. Между прочим, эта постоянная распахнутость сыграла однажды с Якиром плохую шутку. Случилось это несколькими годами позже, когда к нему заявили однажды два никогда не виденных им прежде субъекта, принесших с собой бутылку вина, которую он по их уходе, не долго думая, раскупорил. Что уж было подмешано в том вине, осталось тайной, но в результате серьезно отравился он сам и кто-то, кажется, из домашних, хотя, по счастью, все обошлось благополучно. Много ходило тогда слухов вокруг этой темной истории, подозревали руку ГБ, но истины так и не дознались.

И лишь перед самым уходом мне удалось, наконец, завладеть вниманием не вполне уже трезвого хозяина дома и в двух словах рассказать ему о цели своего прихода. Коротко взглянув на папку с рукописью, он предложил мне ее оставить. На том и расстались. Хотя

никаких иллюзий на свой счет я уже не питал, понимая, что мой выстрел был вхолостую.

А на обратном пути в полупустом вагоне метро мой спутник, видимо, ощущая некоторую передо мной неловкость, прикидывал в уме, в какие еще двери стоило бы мне постучаться. Вот тогда-то я и услышал от него впервые о некоем диковинном генерале, интересующемся подобного рода вещами. Но фамилии названо не было, а разговор перекинулся вскоре на другую тему.

Так впервые – пока еще без имени и фамилии – всплыла на моем горизонте фигура генерала Григоренко, и путь мой отныне, очевидно, лежал к нему. Но сперва мне предстояло пройти еще один или два как бы постепенно суживающихся круга, и завершением первого стал мой повторный визит к Якиру.

Принял он меня почему-то в трусах, хотя на этот раз был настроен по-деловому. Папка моя лежала уже наготове. В немногих словах объяснив мне, что не может принять мое предложение о сотрудничестве, поскольку не считает себя специалистом в данном вопросе, он ни слова не сказал в одобрение самой работы, из чего мне оставалось сделать вывод, что особого впечатления на него она не произвела. Вот с этим смутным осадком в душе я и покинул квартиру на Автозаводской. А придя домой, вновь стал размышлять, что же мне делать дальше и кого еще попытаться заинтересовать злосчастной моею рукописью.

И вспомнилось мне, что среди однодельцев моей сестры не все так бесповоротно порвали со своим романтическим прошлым, ушли в быт, в семью, в работу, но кое-кто пополнил собой ряды новой оппозиции (слово «диссидент» тогда еще не вошло в широкий обиход) и даже, как Майя Улановская, успел написать свои тюремно-лагерные воспоминания, которые я читал. Эти-то воспоминанья и подсказали мне следующий шаг. Разузнал под каким-то предлогом у сестры ее телефон и позвонил.

Как ни странно, мы не были с ней знакомы, как не знал я, вообще, никого из освободившихся вместе с сестрой ее однодельцев и не бывал на их традиционных встречах. И уж тем более никогда не слышал о муже Майи Анатолии Якобсоне, на диссидентском небосклоне звезде, можно сказать, первой величины, да вдобавок еще человеку пишущем – авторе вышедшей уже в постсоветские времена (а до того в эмигрантском издательстве им. Чехова в Нью-Йорке) книги об Александре Блоке «Конец трагедии».

И вот передо мной еще один диссидентский дом, но совсем не похожий на предыдущий. Здесь дети и собаки (а если быть точным, один ребенок и одна собака); просветлевшее февральское небо за-

глядывает в окно скромной «хрущевской» квартиры (почти вся зима улеглась между этими двумя моими визитами), отчего она кажется вдвое просторней. А главное – меня здесь слушают, и у меня такое чувство, будто я бывал тут уже много-много раз.

Пока говорили с Майей, пришел из школы ее десятилетний сын. Переодеваясь, начал сразу же выкладывать школьные новости. Потом схватился с добродушным хромоногим псом, которого Анатолий подобрал однажды с перебитой лапой прямо на улице. А вскоре в квартиру вихрем ворвался и сам хозяин дома, взлохмаченный, расхристанный, со словно бы взведенной внутри пружинной. Не присаживаясь, с любопытством стал проглядывать принесенную мной папку. Вдруг глаза его оживились: «О, это для генерала. Это как раз то, чем он интересуется».

К тому времени я успел уже прочесть его страстное «Открытое письмо редактору журнала “Вопросы истории КПСС”» в защиту книги А. Некрича «1941. 22 июня», а по сути – сжатый исторический очерк с анализом причин нашей катастрофы в первые военные месяцы, и лучшего комплимента для меня трудно было придумать. А когда я спросил, оставлять ли им мою папку, Толя взглянул на меня с какой-то светлой укоризной: «Неужели вы думаете, что рукопись с таким посвящением может быть нам неинтересна?».

Да, имена расстрелянных ребят были для него святы, как свято и лагерное прошлое его жены и всех, вообще, ее поделщиков, которого, в силу небольшой возрастной разницы, разделить он не мог, но постоянно чувствовал как бы легкий укор совести. Да и сам он, наверное, тоже был в некотором роде совестью диссидентского движения – незря же его все так любили. Хотя понимание этого пришло лишь после его вынужденной эмиграции, а, пожалуй, и после его трагической кончины (самоубийства, на которое однажды толкнула его в далеком Иерусалиме, «посреди чужого жара», мучительная ностальгия). Мы условились, что рукопись генералу передаст он сам, и на этот раз я ушел обнадеженный.

И вот я иду, наконец, в дом, где меня ждут, да и сам с нетерпением жду – не дождусь этой встречи, потому что успел кое-что разузнать стороной о Петре Григорьевиче, окруженном, как и Сахаров, ореолом некоторого преклонения. Однако если не трудно было себе представить диссидентом академика-интеллектуала, то в отношении кадрового военного сделать это было уже много сложнее.

Увы, диссидентов не готовили в наших вузах, и каждый приходил к этому своим путем, на основе собственного жизненного опыта. Для Петра Григорьевича этот путь начался с Академии им. Фрунзе, где он возглавлял кафедру военной кибернетики (науки об управле-

нии боем), а если точнее – с партконференции Ленинского района Москвы в сентябре 1961 года, куда он был избран делегатом от этой академии и где отважился выступить с критикой набравшего тогда силу культа Хрущева. Весьма сдержанной, даже робкой, можно сказать, критикой, но все равно обреченной быть похороненной в архивах той конференции – критиковать живых функционирующих вождей было в то время абсолютно запрещено.

Но зачем вообще ему это было нужно? Быть может сам же Хрущев своим антисталинским докладом на XX съезде партии и подал ему опасный пример? Но если многоопытный, прожженный Никита сумел заручиться поддержкой большинства членов ЦК и армейской верхушки в лице Георгия Жукова, то Григоренко ринулся на амбразуру в одиночку. Надо ли удивляться, что академическое начальство поспешило откеститься от непредсказуемого генерала, и его служебная карьера с того дня стремительно понеслась под откос.

А к моменту нашей с ним встречи за плечами его уже было: изгнание из Академии и полуторагодичная служба в Дальневосточном военном округе; создание своего рода семейной подпольной организации «Григоренко и сыновья» – «Союза борьбы за возрождение ленинизма», распространявшей написанные генералом листовки у заводских проходных и на московских вокзалах (сидел, где-то сидел-таки в нем наивный большой ребенок); легко прогнозируемый арест и 9 месяцев пребывания в Ленинградской спецпсихбольнице; лишение военной пенсии и работа грузчиком в овощных магазинах Москвы и Ялты; и, наконец, выход к свету – на орбиту зрелого правозащитного движения, когда он, решительно осудив свое собственное подпольное прошлое, выбрал себе девизом ставшую впоследствии знаменитой фразу: «В подполье можно встретить только крыс». Словом, типичный путь русского самородка-правдоискателя, чем-то даже созвучный в самом своем начале одинокому и трагически оборванному поиску Виктора Богачева.

Вот такой человек ждал меня в то воскресное утро в доме против церкви Святого Николы в Хамовниках, что в начале Комсомольского проспекта, и от вердикта которого во многом зависела дальнейшая моя судьба.

Описывать ли самый дом? Пожалуй, что да, потому что подавляющее большинство «простых советских генералов» обитало если и не в особняках (хотя и в особняках тоже), то в сверкающих зеркалами и дубовыми перилами многоэтажных хором. А тут – невзрачное здание застройки двадцатых годов, в котором с незапамятных времен жила еще семья жены Петра Григорьевича и где его покойный тесть, рабочий и старый партиец, получил эту квартиру примерно в одно время с воспетым Маяковским литейщиком Козыревым.

А еще потому, что через эти подъездные двери прошли, без преувеличения, сотни людей самого разного возраста и звания – и из обеих столиц, и из провинциальной глубинки, ехавших сюда за советом и помощью, а то и просто взглянуть на легендарного генерала и передать ему поклон от благодарных земляков. А на этой вот мрачной, больше похожей на черный ход лестнице частенько толпились друзья и единомышленники – и во время семейных торжеств, когда тесная квартира физически не могла вместить сразу всех пришедших, и во время обысков в доме генерала, когда мгновенно прознавшие о случившемся его сподвижники стекались сюда, чтобы продемонстрировать свою солидарность перед лицом обескураженных гэбистов.

Но сегодня я иду сюда один, и открывший мне дверь Петр Григорьевич сразу предупреждает, что семья еще спит, и проводит в ближайшую маленькую комнату, где усаживает меня на тахту, а сам устраивается за письменным столом.

Все, кто в разное время общался с генералом Григоренко, отмечали бросающиеся в глаза волевые свойства его натуры: статную, по-военному подтянутую фигуру, острый взгляд, быструю реакцию, умение заставить слушать себя даже враждебно настроенную аудиторию – как это бывало во время пикетов перед зданиями судов, слушавших дела правозащитников, и где его слово жадно ловили люди из милицейского оцепления, – в общем, все качества прирожденного лидера. Но ничего этого я сейчас не ощущаю, а вижу перед собой только «добрые пронизательные глаза военного ученого», как выразился один из мемуаристов, да характерный улыбчивый прищур на широком, мощно вылепленном лице, отвечающий скорее представлению не о «человеке службы», а о крепком и гибком хозяйственнике, без чего невозможна была в советские времена никакая успешная деятельность на этом поприще.

Да, мою рукопись он прочел, и она ему понравилась, а на предложение поработать над ней вдвоем, не колеблясь, отвечает согласием. И даже намечает кое-какие конкретные аспекты, которые ему хотелось бы в ней осветить. Только вот приступить к этой работе сейчас он никак не может, очень занят. Скорее всего в мае, когда немного освободится.

Увы, я не представляю себе степени его занятости, того, что Петр Григорьевич сейчас на разрыв. Не знаю о том, что всего несколько месяцев назад в его квартире был обыск и что он ходит по лезвию ножа, под дамокловым мечом ареста. Не знаю, что со смертью его ближайшего друга, старого большевика и бывшего колымского лагерника А.Е.Костерина, на его плечи легла миссия своего рода куратора крымско-татарского движения, отстаивающего право этого на-

рода на возвращение на землю предков, откуда он был вышвырнут в годы войны по приказу вождя, и что в первых числах мая три тысячи крымских татар ждут его в Ташкенте, где должен начаться процесс над активистами их движения. Не знаю, что во время недавней встречи с Солженицыным Александр Исаевич настоятельно убеждал его взяться за написание правдивой истории Великой Отечественной войны, и он мне это пообещал.

Ничего этого, повторяю, мне неизвестно, да, наверное, знать и не положено. Но он-то не может не держать все это в голове и, тем не менее, на равных беседует с молодым «теоретиком», который не только вдвое его моложе годами, но, пожалуй, и на ступеньку ниже в своем развитии. А главное, далеко уступает в кругозоре и жизненном опыте, которого у Петра Григорьевича хватило бы на десятерых. Может, причина отчасти в том, что и сам он в правозащитном движении относительно еще новичок и не без пиетета относится к 30-летним «зубрам», многие из которых считают возможным просвещать и образовывать влившийся в их ряды «перспективный кадр», что воспринимается им почти как должное.

Да, это одна из обаятельных черт его натуры: готовность постоянно учиться, жадно впитывая все новое и по-детски радуясь каждому новому человеку, у которого он может почерпнуть что-то находящееся за рамками его познаний и опыта. А возраст, звания и прочее не имеют при этом никакого значения.

Однако есть и некая особая причина для нашего с ним сближения. Это – отношение к «основоположникам». Потому что имена Маркса и Ленина для нас обоих по-прежнему святы (чего никак нельзя сказать о большей части диссидентского окружения), а социализм с «человеческим лицом» и его так и не реализованными демократическими потенциями все еще служит нам идейным ориентиром. В сущности, об этом почти вся моя рукопись, и его доброжелательное к ней отношение не просто дань вежливости. Нет, это его действительно занимает, и я чувствую несказанное, почти физическое облегчение от того, что встретил наконец единомышленника. Как говорится в фильме «Доживем до понедельника», «счастье это когда тебя понимают».

Мы расстаемся, полагая, что на месяц. Экземпляр моей рукописи он оставляет у себя, чтобы поразмышлять над ним на досуге, а мне на прощание вручает драгоценную по тем временам брошюрку – «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» А.Д. Сахарова, видимо, только что привезенную кем-то из-за рубежа. Я же, со своей стороны, обещаю попытаться самостоятельно завершить «зависшую» у меня четвертую главу

И действительно, после нашей встречи работа у меня вдруг пошла, словно бы не хватало мне именно такого вот ободряющего, сочувственного импульса. И в течение ближайших двух-трех недель я не только справился со злополучной четвертой главой, но размахнулся еще и на пятую. Собственно, пускать рукопись в самиздат можно было и в таком, незавершенном виде – самое необходимое в ней, по сути, было уже сказано. И об этом мне не терпелось сообщить Петру Григорьевичу. Однако из осторожности решил позвонить не из дома, а по автомату.

Этот искрящийся солнцем день конца апреля и теперь у меня перед глазами. Как и та телефонная будка с надтреснутым стеклом у входа в метро «Красные ворота», где я делал пересадку на обратном пути с работы. Но главное – переполюнявившее меня ощущение абсолютного, ничем не омраченного счастья, поделиться которым я мог лишь с одним-единственным человеком.

Да, такое не забывается... Таких минут в нашей жизни, как говорится, раз, два и обчелся. Однако женский голос на том конце провода объявил, что Петра Григорьевича нет дома, а на вопрос, когда будет, ответил, что лучше всего звонить после праздников. Что-то не понравилось мне в интонациях этого голоса, оставившего в душе какой-то смутный осадок, но что? В этом я не мог дать себе ясного отчета, а потому постарался отвлечься и не думать. А спустя несколько дней мой отец, ловивший по вечерам сквозь шум и треск глушилок Би-Би-Си и «Голос Америки», сообщил, что 7 мая в Ташкенте арестован генерал Григоренко.

Это известие было для меня больше чем шок. После необычайно-го подъема, даже эйфории последних дней и недель казалось, будто меня швырнули носом об землю. А тут еще этот злосчастный оставшийся у Петра Григорьевича экземпляр, который в случае обыска наверняка попадет теперь в лапы гэбистов. Я не знал, что делать, чего ждать, и весь словно бы внутренне сжался.

Две недели прошли как в тумане, пока я не понял наконец, что дальше так нельзя и что надо на что-то решиться. Может быть, повидавшись с женой генерала Зинаидой Михайловной, о которой был немного наслышан, но никогда не видел. Я позвонил, назвался и через полчаса уже стоял перед знакомой мне дверью.

Ходила когда-то в самиздате популярная в те годы рукопись физика В. Турчина «Инерция страха». Через свой страх я сумел переступить и испытывал от этого огромное облегчение. А, кроме того, как выяснилось впоследствии, он был и сильно преувеличен. Пото-

му что после отъезда мужа в Ташкент мудрая Зинаида Михайловна, умевшая просчитывать на несколько ходов вперед, убрала от греха подалше весь скопившийся в доме компромат.

Собственно, с этого визита, со знакомства с Зинаидой Михайловной и сыном генерала Андреем Григоренко, началась как бы новая страница в моей диссидентской биографии. Не знаю, что уж там успел рассказать обо мне Петр Григорьевич жене и сыну, но я был принят не только радушно, но даже не без доли почтения – вероятно, как автор некоего серьезного труда. Впрочем об авторстве было вскоре забыто, и наши отношения стали просто сердечными, а дом Зинаиды Михайловны моим почти что вторым домом. А когда Петра Григорьевича после Ташкентского изолятора и судебно-психиатрической экспертизы в институте Сербского перевели в Черняховскую психбольницу и появилась возможность ему писать, я не преминул этим воспользоваться. И наша переписка, к обоюдному, думается мне, удовольствию, продолжалась до конца его черняховского заточения.

В его фундаментальных 800-страничных мемуарах «В подполье можно встретить только крыс», не случайно, кстати, перепечатанных журналом «Звезда» под рубрикой «Мемуары XX века», над которыми он работал уже в эмиграции, есть такие строки: «Но не только активисты правозащиты вспоминаются мне. Очень содействовали созданию благоприятного климата те, кто поддерживал дух наш своей дружбой, своим участием. Никогда не забудем мы врача Игоря Рейфа, его врачебные заботы обо всей нашей семье и прекрасные и умные беседы его со мной. Не забудем и его жену Зою»⁴².

Это написано в 1980 году, по ту сторону «железного занавеса». Позволить себе большее Петр Григорьевич в то время не мог, боясь навредить. Однако в письмах из психбольницы, когда подобных опасений еще не существовало, он писал другое. Я приведу здесь с небольшими купюрами лишь первые два письма, имеющие непосредственное отношение к рассказываемой мной истории.

Черняховск. 7 июля 1970 г.

Дорогой Игорь. Письму Вашему очень рад. Думаю, каждому человеку радостно осознавать, что он оставил хороший след в душе другого человека. Естественно, рад и я тому, что несмотря на то, что наше знакомство было слишком беглым и коротким (выражение Вашего письма), несмотря на то, что я был в то время слишком занят и не мог уделить Вам достаточного

⁴² Григоренко П. Там же. С. 778.

внимания (добавлю я), Вы не только запомнили наши встречи, но и сочли возможным посещать мой дом и писать мне письма. И напрасно Вы думаете, что я Вас не запомнил. Запомнил и даже часто вспоминал и спрашивал, как Вы поведете себя, узнав о моем аресте. Я почему-то был уверен, что это Вас не испугает. Рад, что не ошибся. У меня в то время, как Вы знаете, бывало много народу, что и мешало нам поговорить по интересующим Вас вопросам.

Ваши замыслы я помню и рад, что Вы от них не отступились, а что встретилось равнодушие и индифферентизм, то это Вас пусть не смущает. Еще не было случая, чтобы новое – будь оно большое или малое – встречалось в обществе овациями. Работайте, и если дело живое, а не надуманное, успех обязательно придет. <...> О себе ничего не пишу – это Вы узнаете у Зинаиды Михайловны. Обнимаю Вас, мой молодой друг, желаю Вам больших успехов в искусстве⁴³ и в жизни. Ваш П. Г.

Черняховск, 13.08.1970

Дорогой Игорь! Вы прямо святой. Я Вам доставил своим обещанием помощи одни сплошные неприятности, а Вы пишете: «Очень и очень сожалею, что нашим планам в отношении совместной работы так и не пришлось осуществиться». Я сожалею совершенно о другом, о том, что взялся помогать своими по сути ничтожными кибернетическими познаниями. У Вас специальность, масса материала и добрая половина готовой работы. Вы вполне могли бы обойтись без меня. И я, держа Ваши материалы и литературу у себя, фактически тормозил Вашу работу. Да и не знаю, все ли вернулось к Вам. Ведь у меня забирали все написанное на машинке или от руки и ничего не вернули. Все подшили в 25 томов, даже не читая. Подшили все газетные и журнальные вырезки. Так что я даже не знаю, не попали ли туда и Ваши. Я из-за этого очень казнил. Сам себя клял: «Вот так помог диссертанту». Вы хоть напишите, нет ли у Вас невосполнимых потерь. Я очень об этом беспокоился. Да и до сих пор неспокоен. Но вот после этого покаяния стало чуть полегче. Но на мой вопрос все же ответьте.

До Ваших журналов еще не добрался. Думаю в субботу ими заняться. Когда прочту, напишу о своих впечатлениях. Невероятно благодарен Вам и за выписку из философских рукописей Маркса и за копию его письма в Нью-Йорк. С Вашими выводами по цитате из философских рукописей согласен. По Вашему письму вижу, что Вы всерьез занялись Марксом. Я тоже сейчас переключился на него. Читаю «Капитал». Обнаруживаю много нового, мимо чего раньше проходил, не замечая. Кое-что на-

⁴³ Это, разумеется, для цензуры.

писал по этому поводу в письме З.М., попросите ее показать. Вот так, дорогой Вы мне человек! Возьмите Вы себя в руки. Перестаньте быть диагностом для самого себя. Отдохните-ка как следует, а потом вспомните письмо Маркса в Нью-Йорк и приложите высказанное там к себе. Я верю в Вас, поверьте и Вы. Людям нужен Ваш труд. И ей-богу для них стоит работать, несмотря на все их недостатки и пороки. Крепко Вас обнимаю. Верю, что мы вместе еще поработаем, но не над кандидатской, а над докторской. Жму руку. П. Г.

И сегодня без волнения не могу читать эти строки. Собственно, именно через письма узнавал я тогда Григоренко-человека, словно метеор, вспыхнувшего за год до того на моем небосклоне, но тут же и исчезнувшего (а по-настоящему, пожалуй, открывшегося мне лишь много лет спустя в своих необыкновенных мемуарах). А ведь корреспондентов, как я, было у него, пожалуй, не один и не два десятка. И для каждого умел он найти свои проникновенные слова и свой выдаваемый в так называемые «дни писем» нормированный листок бумаги.

Эти вырванные из школьной тетрадки или блокнота разнокалиберные четвертушки и полулистки с непременным порядковым номером в правом верхнем углу (дабы администрации труднее было «заиграть» какой-то из них), исписанные его твердым, без помарок, почерком – сплошь, без полей и зазоров между строчками, заслуживают, наверное, особого упоминания. Ведь ему приходилось беречь буквально каждый сантиметр писчей поверхности. Вроде бы не разбежишься мыслью в этих плотных бумажных тисках. И, тем не менее, я порою настолько забывал, что разговор между нами ведется не на равных и что за окном у моего адресата не дома и деревья, а «небо в клеточку», что даже отваживался иной раз на совершенно неосуществимые в тамошних условиях медицинские советы, за которые мне теперь немножечко стыдно. Но ни слова жалоб и сетований не прорывалось у него в эту непринужденную, живую беседу, которую он с присущим ему юмором умел вести, забывая об окружающем и весь отдаваясь бесконечно ценимой им «роскоши человеческого общения».

* * *

Однако мне пора вернуться к своей рукописи, история которой еще не закончена. Казалось бы, дом Зинаиды Михайловны, где не успевали закрываться двери, впуская и выпуская знакомых и друзей из ее обширного диссидентского круга, открывал передо мной нео-

граничные возможности. Ведь сюда не только стекался циркулировавший по Москве самиздат, но кое-что получало путевку в жизнь именно в этих стенах, подхваченное и размноженное неведомыми мне руками.

Но не тут-то было. Очень скоро я обнаружил, что интересы заведатаев дома лежат совсем в другой плоскости и что моя критика режима «слева», все эти перипетии внутривнутрипартийной борьбы, троцкистская и бухаринская оппозиция для большинства вчерашний и скучный день. Да, конечно, диссиденты-шестидесятники никогда не представляли собой однородной массы, что особенно выявилось в постперестроечные годы. Но те, с кем свела меня судьба, уже исповедовали к тому времени по преимуществу либеральные ценности, а социализм, тревогой за судьбу которого проникнута была моя рукопись, представлялся им отыгранной картой. Многие из них, когда открылась такая возможность, вскоре и покинули страну, кое-кто даже без сожаления, бесповоротно связав свою жизнь с западным миром.

Парадокс заключался в том, что я по-прежнему оставался в одиночестве, теперь уже в диссидентском окружении, что и послужило поводом для утешительных фраз в письме Григоренко. Вместе с тем я чувствовал, что работа моя нужна, но не здесь, в эпицентре боев за свободный выезд из страны и против расправ с инакомыслящими, а там, где живут другими заботами и где страдают скорее от милицейского произвола, чем от гэбистских преследований. Да и своими читателями я видел не тех, кто внутренне порвал с режимом (этим открывать глаза было уже не на что), а тех, кто, не смотря ни на что, связывает свои надежды на будущее с советским общественным строем.

Но как же мне до них дотянуться, как вырваться из этого своего заколдованного вакуума? Временами у меня даже возникала шальная мысль – что если рассылать рукопись по почте? Кому? Да, вероятно, тем, от кого в этом мире что-то зависит. И все чаще обращался я мысленным взором к так называемому среднему руководящему звену – директорам заводов, совхозов, секретарям райкомов, словом, людям практического дела, отвечающим за стол и кров советских людей, за их каждодневное жизненное благополучие. Ведь их-то в первую очередь не должен устраивать существующий порядок вещей. Что думают, что чувствуют они наедине с собой, в особенности те, кого не успела еще растлить и подмять под себя система? Чем оправдывают ее антигуманную теневую изнанку?

В свое время в ходе нашей беседы Григоренко обратил мое внимание на философскую категорию отчуждения, сыгравшую такую большую роль в становлении молодого Маркса. И вот теперь, с каждым днем все яснее, виделось мне, как это отчуждение проникло весь наш

общественный организм, только уже в несопоставимых с временами Маркса размерах. Отчуждение избираемых («слуг народа») от избирателей. Отчуждение партийной верхушки от рядовых коммунистов. Отчуждение общегосударственной собственности от народа, чьими руками она создана. Наконец, тотальное отчуждение государства от интересов и нужд отдельного человека, которому, по идее, оно призвано быть защитой и опорой.

Но все это были, так сказать, «литературные мечтания», пока в моем активе имелась всего одна закладка – пять считанных экземпляров, собственноручно отпечатанных мной на разбитом стареньком «Ремингтоне». А чтобы отправить книгу в свободное плавание, требовалось в пять или в десять раз больше. И поскольку самиздат ничего в этом плане мне не сулил, оставалось самому идти на поклон к машинисткам.

Первая машинистка... Сколько посвящено ей строк в стихах и прозе с самого момента возникновения этой профессии и вплоть до ее недавней кончины. У меня тоже была первая машинистка, имя которой я не забыл и по сей день. Звали ее Надя Емелькина, и была она то ли подругой, то ли гражданской женой известного в те годы функционера правозащитного движения Виктора Красина. Лет двадцати-двадцати двух, строгая, бледная, с гладко зачесанными волосами, она была бы, пожалуй, очень хороша собой, если б не обращенный куда-то мимо собеседника неподвижный неживой глаз. Не знаю, что явилось причиной этого несчастья, но, вероятно, оно как-то сказалось на ее характере. По крайней мере, ее здоровый глаз всякий раз закипал нетерпеливым раздражением, стоило мне заикнуться об ускорении процесса печатанья или о том, чтобы просматривать на предмет нечаянных ошибок еще не вынутую из каретки страницу. Мне же не оставалось ничего другого, как заключить, что работа моя не имеет для нее никакого интереса и что выполняет она ее только в порядке одолженья. А, между тем, она брала с меня плату по таксе, как за какую-нибудь диссертацию, и это было особенно обидно.

Грешно, вероятно, мне бросить теперь в нее камень: ведь в это самое время она, быть может, до глубокой ночи, перепечатывала пухлую «Хронику», и на что-то другое ее действительно не хватало. Но ведь и я старался не для себя, однако это ее, очевидно, нисколько не занимало.

Однажды Надя предложила мне написать аннотацию к моей рукописи для очередного выпуска «Хроники». Она появилась в 8-м ее номере, в разделе «Новости самиздата», и то был, пожалуй, единственный материальный след, который оставила эта вещь в самиздатовской памяти. Потому что приносимые мной в дом Зинаиды Михайловны

машинописные копии на тонких папиросных листках, по десяти в каждой закладке, бесследно исчезали в общем котле, не оставляя по себе даже слабого отклика.

Ах, если бы был Петр Григорьевич, все могло бы сложиться по-иному. Но он находился почти что на другой планете, и трудно было отрешиться от мысли, каким тяжелым катком прошелся по мне его арест. А вот что по этому поводу писал он сам много лет спустя, уже из своего эмигрантского далека:

«Все время, пока я жил и боролся в Советском Союзе, я не уставал поражаться чуду народного творчества – “Самиздату”. Каких-то пять-шесть машинописных копий, вышедших от автора, превращаются в сотни и тысячи экземпляров, каждый из которых читается множеством людей. Никогда я не мог понять также, почему одно произведение сразу вспыхивает ярким пламенем, но потом довольно быстро угасает, а другое как бы разгорается потихонечку, но потом многие годы не сходит со сцены.

Но бывают и такие произведения, которые автор настойчиво толкает в свет. Несколько раз печатает и распространяет, а оно бесследно исчезает. И это было бы понятно, если бы такое происходило только с произведениями бесталанными. Но очень часто исчезают бесспорно талантливые творения. “Самиздат” их почему-то не принимает»⁴⁴.

Опять-таки не названы ни произведение, ни автор, дабы не навредить. И доказательств у меня, в сущности, никаких. И все же ни минуты не сомневаюсь, о ком именно говорится в этих строках.

Были после Надиной распечатки еще две или три закладки, выполненные уже другими машинистками, которые я так же исправно передавал в руки Зинаиды Михайловны, все еще надеясь вдохнуть жизнь в свое детище. Пока не решился, наконец, поставить в этом деле бесповоротную точку. Как оказалось потом, преждевременно.

Однажды осенью 1970 года во время большого и шумного застолья в доме Григоренко (кажется, отмечался совпадающий день рождения Петра Григорьевича и Зинаиды Михайловны) моим соседом по столу оказался Петя Якир, который в перерыве между тостами поведал мне, что экземпляр моей рукописи с некоторых пор находится в КГБ и что попал он туда из Калинина (так называлась в ту пору Тверь) после проведенного там у кого-то обыска. Конечно, он хотел меня как-то предостеречь, однако эта новость оставила меня совершенно равнодушным. В конце концов, все самиздатовские материалы рано или поздно ложатся на стол этого ведомства. К тому же работа

⁴⁴ Там же. С. 594.

не подписана, а о ее авторстве знает лишь самый узкий круг, так есть ли о чем беспокоиться?

А между тем беспокоиться было надо. Хотя очевидным это сделалось и не сразу, а лишь время спустя, точнее – после ареста самого Якира и последовавших затем событий.

О Петре Ионовиче Якире у Григоренко сказано следующее: «... Его энергия, ум, инициатива, любовь и уважение к людям, общительность, терпимость и имя сыграли огромную роль в развитии правозащиты, привлекли массу не только москвичей к борьбе с беззаконием и произволом. Имя его было известно по всему Союзу и везде оно звало к отстаиванию человеческого достоинства»⁴⁵.

То есть в диссидентском движении это была, как говорят теперь, знаковая фигура, и его арест в июне 1972 года всколыхнул чуть не всю Москву. Но еще больше заставил он говорить о себе, когда по городу поползли слухи, будто Якир и арестованный вслед за ним Красин раскаиваются в своей правозащитной деятельности и активно сотрудничают со следствием, давая показания на бывших своих сподвижников.

Для большинства правозащитников это было как шок. Люди, на которых многие едва не молились (в основном, конечно, на Якира), теперь сами обращались к ним из Лефортовской тюрьмы с письменными призывами разоружиться и порвать с прошлым, отказавшись, в том числе, и от выпуска столь ненавистной властям «Хроники». Одна такая «ксива» была доставлена с нарочным на квартиру Андрея Дмитриевича Сахарова. «В начале 1973 года, – говорится в его «Воспоминаниях», – смущающийся лейтенант КГБ принес мне домой личное письмо Якира из следственной тюрьмы – небывалая вещь в СССР. Оно было написано в таком тоне, как будто мы с ним старые знакомые, и содержало ту же идею – каждый мой шаг никого не защищает, а губит многих»⁴⁶.

Но еще большим ударом падение Якира стало для близких ему людей, знавших, конечно, и о его эмоциональной неустойчивости, и

⁴⁵ Там же. С.677.

⁴⁶ Здесь следует заметить, что, несмотря на шапочное знакомство, Андрей Дмитриевич все-таки сделал все от него зависящее для вызволения товарища по общему делу. С этой целью он записался на прием к бывшему своему начальнику по Арзамасу-16 – министру и члену ЦК КПСС Е.П. Славскому, состоявшему в дружеских отношениях с отцом Якира еще со времен Гражданской войны и службы в 1-й конной армии. Но предугадать результат визита было не трудно. «Раз вы хлопчете об этом человеке, то он, наверное, такой же антисоветчик, как и вы», – заявил испытанный партийный боец и наотрез отказался принять участие в судьбе сына «собрата по оружию». (А.Д. Сахаров. Воспоминания. Т. 1. М., 1996. С. 514 – 522).

о пагубном пристрастии к алкоголю, и о том, какой незаживающий след оставило в нем 17-летнее пребывание в сталинских лагерях, куда он попал еще 14-летним мальчишкой сразу после ареста своего знаменитого отца. «Сильное угнетающее воздействие, – говорится у Григоренко, – произвело “раскаяние” Якира. А к Петру Якиру я относился именно как к сыну. К любимому сыну. И он ко мне относился по-сыновьи. Последние полгода перед моим арестом редкий день проходил, чтобы мы не виделись. Было от чего взвыть. Думаю, что даже в “раскаянии” у человека должна быть черта, которую перешагивать нельзя. Петр ее перешагнул»⁴⁷.

Разумеется, к числу «близких» я причислить себя не мог, хотя, бывая в доме Зинаиды Михайловны, находился в курсе событий, но воспринимал их как бы чуть-чуть отстраненно. Может потому, что свою собственную страницу на самиздатовском поприще считал давно перевернутой и драму, разыгрывавшуюся вокруг Якира и Красина, на себя лично не проецировал. Пока однажды в конце апреля 1973 года у меня дома не раздался телефонный звонок.

Звонил мой знакомый физик, устроивший мне когда-то через своего коллегу встречу с Петром Ионовичем. Ничего не объясняя, он попросил меня приехать. Там меня уже поджидал мой «Вергилий» – Саша Каплан, тот самый, что четыре года назад сопровождал меня на квартиру у метро «Автозаводская», а сейчас только что вернувшийся с Лубянки, куда его вызывали по делу Якира, и чем-то явно взволнованный.

Мы устроились по обычаю москвичей вокруг придвинутого к окну кухонного стола, и Саша приступил к своему рассказу. В раскрытое окно вливался весенний, совсем не городской воздух, доносилось звонкое воробьиное чириканье, лучи заходящего солнца догорали на соседних крышах. И все эти звуки и краски невольно возвращали меня в тот далекий апрельский день, так похожий и не похожий на сегодняшний, когда я, счастливый и окрыленный, звонил Петру Григорьевичу из автомата у Красных ворот, не думая, не гадая, чем это может когда-нибудь для меня обернуться.

А рассказ, увы, имел самое непосредственное отношение к моей персоне, ради чего Каплана, быть может, и вызывали на Лубянку. Хотя допрос был обставлен по-хитрому. Разговор поначалу вертелся вокруг одного Якира, с которым Саша практически почти уже не общался, ушел в науку, защитил диссертацию, о чем на Лубянке не знать, конечно, не могли, хотя старых грехов ему и не простили⁴⁸. А потом

⁴⁷ Григоренко П. Указ соч. С. 727–728.

⁴⁸ Это выяснилось, в частности, во время защиты его кандидатской диссертации, проходившей в Институте радиоэлектроники, в ходе которой соискателю не было за-

хозяин кабинета вдруг встал и вышел, оставив на столе какую-то рукопись. Это была моя «Трансформация большевизма».

Не обратить на нее внимания Саша, конечно, не мог, и когда вернувшийся следователь заметил этот его интерес, то, как кошка на мягких лапах, вкрадчиво спросил: «Ну как, узнаете эту вещь?» «Первый раз вижу», – невозмутимо отвечал тот. «А вот здесь, Александр Ефимович, вы говорите неправду. Не знать ее вы не можете». Но Саша, обладавший уже опытом общения с органами, хладнокровно парировал: «Ну, если вам известно лучше меня, что я знаю и чего не знаю, то незачем было меня сюда приглашать».

– Бесспорно одно, – резюмировал он свой рассказ, – они ищут второго свидетеля. Показания Якира у них, очевидно, уже есть. Но для доказательства авторства нужен еще один человек. Иначе суд этого дела просто не примет.

Таковы в то незаконное время были правила игры, которые власти старались все же не нарушать. В общем, выходило, что до тех пор, пока у КГБ нет второго свидетеля, я могу быть более или менее спокоен. Но спокойным я себя, конечно, не чувствовал, в особенности после того, как спустя несколько дней получил еще один тревожный сигнал, но уже совсем с другой стороны.

Однажды, когда меня не было дома, к моей жене зашла жившая над нами старушка-соседка и под большим секретом сообщила, что накануне к ней приходили двое и, предъявив всем известные красные книжечки, стали выспрашивать подробности, касающиеся опять-

дано ни одного вопроса по теме, но зато устроен пристрастный допрос, почему при поступлении в аспирантуру он скрыл свою принадлежность к комсомолу (состоять в котором по возрасту ему оставалось не больше полугода). В результате соответствующим образом подготовленный ученый совет благополучно его забаллотировал. Но история на этом не кончилась. Согласно существующему обычаю диссертант получал на руки стенограмму заседания ученого совета, чтобы исправить в ней ошибки специального характера. И, получив эту стенограмму, Каплан снял с нее копию, а затем через друзей передал ее академику М.А. Леонтовичу – одному из патриархов советской теоретической физики, снискавшему себе славу своей гражданской и научной бескомпромиссностью. Дальнейшее известно со слов свидетелей, наблюдавших сцену объяснения Леонтовича с директором ИРЭ Котельниковым в кулуарах заседания Академии наук. Михаил Александрович поинтересовался, почему это в его институте заваливают диссертации не по научным мотивам, на что Котельников невозмутимо отвечал, что такого у них не было и быть не может и что Леонтовича, видимо, ввели в заблуждение. И тогда Михаил Александрович извлек из кармана ту самую стенограмму. Что было дальше, никто в точности не слышал, потому что оба отошли к окну и разговор пошел на повышенных тонах. В конечном итоге Котельников все же дал задний ход, в особенности, когда в дело вмешался еще и П.Л. Капица, и предложил Каплану повторить защиту, сославшись на какие-то процедурные нарушения. Однако от барской милости Саша отказался и спустя несколько месяцев успешно защитился в Институте радиопизики (г. Горький).

таки моей персоны. А напоследок строго предупредили о полной конфиденциальности своего визита. Но пуганая-перепуганная соседка, пережившая 37-й год и аресты родных, промаявшись ночь, все же не выдержала и решила рассказать обо всем моей жене.

На этот раз Саша отреагировал мгновенно и, с полунамека поняв по телефону, о чем речь, через полчаса был уже у меня. К новому «звоночку» он отнесся с гораздо большей серьезностью, а, кроме того, привез дурную для меня весть: арестована Надя Емелькина. Говорили, будто бы посадила она себя сама: вышла на улицу с каким-то самодельным плакатиком, чтобы разделить судьбу любимого человека. Теперь в распоряжении органов был еще один потенциальный свидетель, и весь вопрос состоял в том, как поведет она себя на следствии.

Круг сужался, и пора было, вероятно, и мне обдумать стратегию своего собственного поведения. И прежде всего – убрать из дома весь самиздат, что в разное время передала мне на хранение Зинаида Михайловна, и все мои машинописные копии вместе с пишущей машинкой, на которой они были отпечатаны. Пришлось в этой связи что-то придумывать и сочинять для родителей.

Но все это были семечки, тревожило другое. Дело в том, что к аресту я не был готов не только психологически, но и физически. И имея за плечами несколько больниц, следовавших невдалеке одна от другой, я не мог не думать о том, чем может обернуться для меня тюремный режим. Некоторые, в их числе и Каплан, советовали мне на время исчезнуть из города. Логика их была проста. Пока дело Якира не передано в суд, следователи, имея некую серьезную зацепку, кровно заинтересованы в том, чтобы выявить авторство анонимной рукописи и отрапортовать по начальству. Усердие их будет подогреваться еще и тем, что советский режим всегда был особенно чувствителен к критике «слева», с так называемых ленинских позиций. Но как только дело будет завершено, а «предъявить» автора следствию не удастся, интерес к рукописи будет сразу утерян (типичная мотивация советских чиновников), и ее поспешат упрятать в какой-нибудь дальний сейф.

Но время шло, миновал и май, а я так ни на что и не решился. Решение за меня приняло Провидение и острая инфекционная желтуха, разом разрешившая все мои проблемы, упрятала меня на три месяца в Боткинскую больницу. В ту самую, кстати, Боткинскую, откуда я два года назад с увлечением писал Петру Григорьевичу пространные письма-эссе со своими дилетантскими социологическими наблюдениями и портретами соседей по палате.

Но теперь мне было не до писем. Никогда в жизни не видел я еще столько смертей, как в этом желтушном отделении. И хотя чаша сия

меня миновала, но чувствовал я себя прескверно, не будучи в силах дойти даже до телевизора в конце коридора, где из вечера в вечер, две недели подряд, показывали премьеру знаменитых «Семнадцати мгновений весны», и потому с полной безучастностью слушал толки соседей по палате, взбудораженных очередной серией. А ничего не говорящие мне имена Штирлица, Мюллера или пастора Шлага занимали меня не больше, чем солнце или дождь за больничным окном.

Трижды успел смениться состав больных в отделении, когда на самом излете августа подошел, наконец, и мой черед. О суде над Якиром и Красиным я узнал уже дома, видел по телевизору и ту самую пресс-конференцию, где они публично отреклись от своей правозащитной деятельности. Впрочем, слово, данное на следствии, власти сдержали: они в самом деле отделались фантастически легким приговором (годовой ссылкой), вынесенным в обмен на их «раскаяние». Мною же, пока я лежал в больнице, никто в открытую больше не интересовался. Была ли тому причиной болезнь или что другое, так и осталось невыясненным. Быть может, я и в самом деле «исчез» для органов, а, может, стал слишком трудно для них доступен и, как та овчинка, не стоил выделки. И лишь одно мне известно наверняка – что Надя Емелькина меня не выдала. И это мне зарубка на память, должно быть, до конца дней.

* * *

Медленно, очень медленно возвращался я к нормальной жизни, словно просыпаясь от долгого и трудного сна. А когда более или менее пришел в себя, то вспомнил про убранный из дома под угрозой ареста самиздат. Теперь, когда эта угроза миновала, его можно было возвращать без опаски. Но не все, к сожалению, удалось получить обратно. Кое-что пропало с концами, в том числе и «Технология власти» Авторханова, которой было особенно жаль. А из машинописных копий моей собственной работы уцелел лишь один-единственный экземпляр.

Долгие годы хранил я его как память, но ни разу в него не заглядывал. Но не потому, что утратил интерес к этой стороне нашей истории. Просто со временем всплыли наружу такие подробности, о которых тогда, в конце 1960-х годов, могли знать лишь особо доверенные историки, имевшие доступ в спецхран либо знакомые с западными источниками. Рухнул тщательно приукрашиваемый и подновляемый фасад, и взорам открылся беспросветный мрачный задник. Так что никаких иллюзий в отношении Ленина и его окружения у меня уже не осталось. И хотя даже Авторханов проводит в своей книге некую грань между Лениным и Сталиным, считая первого в любом случае

революционером, второго же обычным паханом, я такой грани, честно говоря, не вижу. Просто каждый из них выполнял свою часть работы, и то, что не успел первый, довершил за него второй. Так что расхожая во времена «культы» формула «Сталин это Ленин сегодня» отнюдь не лишена смысла.

Многое пересмотрел под конец своей жизни и Григоренко, что видно хотя бы из написанных им в эмиграции мемуаров. Но это вовсе не эластичность взглядов, которой грешат в наши дни некоторые из бывших шестидесятников, а необычайная, в чем-то сродни детской, открытость всему новому, что несет нам жизнь, и уже совсем не детская способность ее переосмысливать, отбрасывая порой даже то, что успело срастись с твоим естеством. И самый, может быть, главный вывод сформулирован им на последних страницах его итоговой книги:

«Власть, родившаяся в подполье и вышедшая из него, любит в темноте творить свои черные дела. Но мы теперь знаем твердо, что В ПОДПОЛЬЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТОЛЬКО КРЫС. Из подполья вышли крысы, которые захватили власть над людьми. В подполье растится культура еще более страшных грызунов. И как бы они ни назывались – «красными бригадами», «ирландской армией», «ЭДА», «черный сентябрь» или еще как – это крысы, с которыми человечество сосуществовать не может. Крысы добились изгнания меня с Родины, как до того изгнали Солженицына, Чалидзе, Максимова, а после Ростроповича, Вишневскую, Рабина... Но будущего у крыс нет. Мы вернемся на Родину и увидим освобожденный от крысиной папасты народ»⁴⁹.

Что же касается меня, то в одном пункте я все-таки остаюсь на прежних своих позициях. Это относится к самой социалистической идее, к возможности реформирования и конвергенции социализма и капитализма, с чем связывал когда-то свои надежды Андрей Дмитриевич Сахаров. Увы, социализм в том виде, как он существовал в Советском Союзе, оказался, по-видимому, неререформируемым в принципе и, может быть, поэтому потерпел свое сокрушительное поражение. Плоды победы достались капитализму (а поле битвы – мародерам), а победитель, как это всегда и бывает, сумел навязать свои правила игры. Так что на сегодня социализм практически вытеснен с исторической арены. Но вытеснен ли окончательно? И не придет ли час, когда социалистическая идея, система социалистических ценностей окажутся востребованы вновь, но, может быть, в другой, более гибкой и толерантной форме? И, вообще, насколько справед-

⁴⁹ Григоренко П. Указ. соч. С. 788.

лива аксиома, будто социализм исторически возможен лишь в одной недобро известной миру бесчеловечной советской генерации, и ни в какой другой? А, между тем, в условиях глобального экологического кризиса, ставящего под вопрос самое существование человечества, иррациональный идеализм, исповедующий примат общественного перед личным, может оказаться ценней и полезней для социума, чем ориентированное на частный интерес прагматическое отношение к действительности. И в этом смысле очищенный от мессианских претензий социализм мог бы, думается, сыграть еще свою роль как фактор духовного обновления и консолидации общества перед лицом глобальной угрозы.

...И по сей день ощущаю неуютную пустоту оттого, что не могу поделиться этими мыслями с Петром Григорьевичем, не могу спросить, что думает он по этому или другому поводу. Да и не вижу, если честно, сегодня людей, которые принимали бы близко к сердцу подобного рода материи и кто, как он, умел откликаться на чужие беды и проблемы, ни лично, ни профессионально их не затрагивающие. Может, потому так «удобно» было с ним психиатрам, мерившим его на свой привычный аршин, куда не укладывались ни его участие в судьбе крымских татар (о чьем существовании они, должно быть, только и узнали из дела своего подопечного), ни его донкихотская попытка предупредить А. Дубчека об угрозе советского вторжения в Чехословакию, ни озабоченность – на раннем этапе его «диссидентской карьеры» – искажением ленинских принципов в партии и государстве (когда на то есть специальный штат партийных идеологов и целые научные институты). Словом, не укладывался самый масштаб его личности, которой было тесно в прокрустовом ложе так называемого здравого житейского смысла.

Когда в июне 1991 года в Москве бурлили страсти вокруг выборов первого президента России, из Нью-Йорка позвонила Зинаида Михайловна, пристально следившая за всем, что происходит в ее родном отечестве. К тому моменту Петра Григорьевича уже четыре года как не было в живых. Но на вопрос, кого бы ей хотелось видеть президентом Российской Федерации, она прокричала в трубку: «Только моего Петро». Мы с женой переглянулись: блажит, мол, старуха. Но спустя немного, не сговариваясь, подумали: а почему бы и нет? Ведь это и в самом деле был его уровень, а лучшей кандидатуры, пожалуй, трудно и придумать. Однако по зрелом размышлении все же пришли к выводу: нет, не смог бы генерал Григоренко стать профессиональным политиком. Для этого ему не хватало лишь одной «малости» – он не умел думать одно, делать другое, а говорить третье. И люди менее со-

вестливые и, как говорят, прожженные обошли, обвели, обставили бы его на первом же крутом повороте и выдавили бы в конце концов с политического игрового поля.

Постскрипtum

В конце 1990-х годов, перед отъездом в Германию, мне пришлось заняться приведением в порядок семейного архива. Переезд и ремонт – два «стихийных бедствия», которые поневоле заставляют нас разбираться в бумажной завали, потому что хранить, как известно, проще, чем решиться что-нибудь выбросить. Дошла очередь и до знакомой голубенькой папки с листками полурасплывшейся, со следами подтирок и подчисток, машинописи. Везти ее или оставить? Но уже решив, было, не везти, почувствовал, как что-то шевельнулось в груди. А, может быть, она кому-нибудь еще интересна? Хотя бы как реликт безвозвратно канувших шестидесятых. И тогда я снял трубку и позвонил Инне Андреевне Щекотовой, сотруднице общественного Центра им. А.Д. Сахарова, с которой был немножко знаком и чья доброжелательность и сердечность стали для меня как бы визитной карточкой этого коллектива.

«Живому» самиздату 30-летней давности Инна Андреевна обрадовалась и сказала, что они с удовольствием ее у меня заберут. Только попросила написать коротенький, в две странички, комментарий: предысторию, обстоятельства создания, сведения об авторе и т. д. Я пообещал и с этим уехал. Однако руки все не доходили: не умею я писать коротко, да и как уместить на двух страничках целый драматический кусок жизни. А ведь только через жизнь и можно, наверное, понять содержимое этой папки. И тогда я решил писать без оглядки на внешние рамки и ограничения, писать, как получится. Вот так и родилась на свет эта история – то ли комментарий к самиздатовской рукописи, то ли к отчеркнутым ею годам и причастным к ее судьбе людям.

*Франкфурт-на-Майне
2006–2007 гг.*

ИЗ ПИСЕМ П.Г. ГРИГОРЕНКО ИЗ ЧЕРНЯХОВСКОЙ СПЕЦСИХБОЛЬНИЦЫ⁵⁰

Черняховск, 15.07.1971

Дорогой Игорь!

Письмо Ваше получил 12 июня. Шло не так уж долго – всего шестнадцать дней. Могут, конечно, найтись остряки, которые скажут, что и конная почта за такой срок доставляла корреспонденцию, даже на более далекие расстояния. А если на конверте был штамп «аллюр три креста», то могла доставить на такое расстояние в 2,5 раза быстрее. Но эти остряки просто не понимают сути технического прогресса. И поскольку Вы к таким непонимающим не принадлежите, я эту суть разъяснять не буду. Скажу просто, что письму Вашему очень и очень рад. Ваши письма для меня просто как окно в иной мир. Я ни с чем, ни с одним Вашим выводом и наблюдением не могу спорить. Они покоряют меня своей убедительностью и логической последовательностью. С этим письмом я снова перечитал два предыдущих и вижу, может это и не запрограммировано было, но получилось единое, связанное. Один только провал – полученное мною письмо о завмаге, как я считал, о завлабе, как я теперь понял из Вашего разъяснения. Этого письма явно не хватает. Ну прямо как листы, вырванные из книги. Жду, не дождусь встречи с Вами. Надеюсь, что если не в записи, то в устном изложении Вы восполните провал от потери того письма. Не знаю, где застанет Вас эта моя весточка. Если в больнице, то я желаю Вам наискорейшего (но без спешки) излечения. Если же дома, то здоровья и работоспособности Вам, дорогой друг.

Крепко обнимаю, глубоко уважающий и любящий Вас П. Г.

Черняховск 19.08.1971

Дорогой Игорь!

Вчера получил Ваше, как Вы его называете, последнее письмо из «Боткинского цикла»⁵¹. Получение писем от Вас для меня всегда

⁵⁰ Публикация Игоря Рейфа.

⁵¹ Письма писались из больницы им. Боткина.

очень большая радость, но не потому, что Вы всегда очень умно и тонко, мимоходом, так сказать, преподнесите мне комплименты (в этом письме Вы это сделали дважды). Нет, я люблю их за саму суть, за содержание. Мы по-разному смотрим на одни и те же явления. Если придерживаться Вашей терминологии, то я, как и описанный Вами С.⁵², прагматик. Вы же, пожалуй, более теоретик. И я всегда радуюсь, когда выясняется, что об одном и том же явлении суждения наши аналогичны.

Вот и сейчас, читаю Ваши суждения в связи с гибелью трех космонавтов⁵³ и с удовлетворением отмечаю, что наши суждения почти полностью совпадают. По горячим следам я написал об этом событии З.М. Попросите у нее это письмо, почитайте и убедитесь, что это так. Я, как и Вы, захватил сообщение не с начала. Я тоже услышал о перенесении приборов. Но дальше немного не так. Сработал мой «прагматизм». Я с первых слов понял, что стряслась непоправимая беда, и все слова пошли мимо меня. Я ждал только одних слов – «погибли» – и я их дождался, правда, в той необычной форме, о которой Вы писали уже. Почему моя реакция была такой? Я очень долго работал в науке. Притом более пяти лет в кибернетике. И меня нельзя сбить с толку фанфарно-триумфальной формой. У меня перед глазами всегда будни науки. Я почти осязаю тот волосок, на котором держится каждый космический эксперимент и связанные с ним жизни подвижников науки. Во время любого такого эксперимента я нахожусь в состоянии тревоги от его начала до полного завершения. Телепередачи из космоса я тоже смотрел всегда с чувством восхищения смешанным с тревогой. Именно поэтому тяжелое горе, постигшее весь мир (я подчеркиваю это), неожиданным для меня не было. Хотя тяжесть утраты от этого, к сожалению, не становится меньшей.

Дорогой Игорь, мне хотелось бы написать Вам очень много, но, к сожалению, у меня нет такой возможности (материально – бумаги). Бумага заканчивается, а я не успел высказать своих замечаний даже по половине намеченных мною вопросов. Ничего не поделаешь, надо кончать. Если ничто не помешает, продолжу в следующий день писем, т. е. 24.8. Обнимаю Вас, желаю здоровья. П. Г.

⁵² Описываемый в моем письме сосед по палате.

⁵³ Речь идет о гибели в июне 1971 года космонавтов В. Волкова, Г. Добровольского и В. Пацаева в результате разгерметизации спускаемого аппарата при возвращении с орбиты.

Черняховск 24.08.1971

Дорогой Игорь!

Хочу надеяться, что мое письмо от 19.8 Вами уже получено, а потому я начинаю прямо с того, на чем остановился, т. е. продолжаю отдельные замечания по Вашему письму.

Несколько слов по поводу того, что Вы, следуя Твардовскому, называете извечным спором – кому было тяжелее, тем, кто был непосредственно на фронте, или тем, кто ковал победу в тылу. С моей точки зрения такой спор надуман. В современной войне фронт без тыла ничто, фикция. На день его не хватит без тыла. Правда, на фронте, в боевых порядках, я имею ввиду по крайней мере в минувшую войну, для жизни было опаснее, чем в тылу, даже в районах, подвергавшихся воздушным бомбардировкам. Фронтовики, особенно пехота, переносили и ряд бытовых невзгод, которых в тылу обычно переносить не приходится. Но на фронте не голодали, а это немаловажный фактор. Когда я впервые попал в московский тыл и увидел «рабочий класс», который для работы на верстаке (у станка) должен предварительно сделать себе подмости, когда я увидел таких рабочих у кассы столовой просящих: «тетенька, выбей еще одни щи, пожалуйста, я есть хочу», а эти щи даже помоями назвать нельзя (мутная водичка, которую на фронте никто не стал бы есть), то у меня сердце кровью облилось и мне захотелось как можно скорее на фронт вернуться. Там такого, по крайней мере, не увидишь.

Конечно, Ваш С. питался не так, как эти дети. Но зато он ежедневно видел это. А еще не известно, что тяжелее для честного человека: мучиться самому или смотреть на мучения других и не иметь возможности ничем помочь. Но и это не все. Есть еще моральная сторона. Честный человек, находясь в тылу, чувствует постоянное угрызение совести. Я все это испытал на себе. Я очень долго добивался отправки на фронт. И, попав туда, по-настоящему почувствовал себя выполнившим свой долг. Ни тяжелое ранение, ни контузия никогда не заставили меня раскаиваться в том, что я добился фронта. А если бы мне это не удалось, я, наверное, до сегодняшнего дня чувствовал бы ущербность и морально переживал бы. А почему, собственно говоря? Разве те, кто в тылу, сделали меньше моего для победы? Ведь кто-то мои обязанности выполнял, хотя ему, может, больше моего хотелось на фронт. Нет, спор подобный в настоящее время не только бессмыслен, но и вреден. В современной войне победа останется за более высокой организованностью. А высокая организованность предполагает, чтобы каждый вложил всего себя на том месте, куда его поставили.

Я не согласен, что одна палата – узкий горизонт. Нет, пожалуй, в такой именно обстановке можно заглянуть поглубже. Конечно, если смотрящий смотреть умеет. По-моему, Вы сумели. Я не говорю, что это то же, что и описание палаты раковых больных⁵⁴, но Вы все же увидели очень много. Я, безусловно, не сумел бы. На этом, пожалуй, можно бы и закончить, мои замечания. Но Вы, характеризуя последнего из своих соседей, сказали о его отношении к новому искусству. При этом говорите, что здесь его позиции непоколебимы. Так вот я Вам скажу, что это не частность данного характера. Это черта, присутствующая «прагматикам» моего поколения, которую мы, к несчастью, сумели передать и в поколение. Наша твердость в этом деле объясняется очень просто. Мы, люди науки, организаторы производства, полководцы, создатели нового общества, в области искусств нередко, за неимением времени, остались невеждами. А ведь известно, что самые твердые убеждения имеют самые невежественные люди. Где Вы найдете, например, религиозный фанатизм? Не среди же интеллигенции? Нет, в среде самого темного невежества, самого дремучего, самого непроходимого. Конечно, невежество в области искусств у таких людей, как я и Ваш С., преодолеть проще, чем невежество религиозных фанатиков. Но преодолевать его нужно.

Обнимаю Вас, дорогой. П. Г.

Черняховск 09.09.1971

Дорогой Игорь!

Письмо Ваше получил еще 3 сентября, но все никак бумаги не выкраивалось. Даже и сегодня получился урезанный листочек, но я решил уже не откладывать и послать хотя бы столь краткое.

Письму Вашему я очень обрадовался. Нет, не так, как всегда. Кроме радости общения с Вами, радости чтения содержательного и душевного письма появилась радость от общего тона письма. Я не скажу, чтобы Вы когда-либо высказывали пессимистические настроения или взгляды, но это письмо чем-то неуловимым отличается от предыдущих писем именно своей бодростью, жизнелюбием и жизнерадостностью. Если бы меня попросили показать, в чем это выражается, то я наверняка не смог бы это сделать. Но несмотря на это я чувствую перелом в состоянии Вашего духа. И это меня очень радует. Человек многое может и на многое способен, если у него есть воля совершить данное деяние.

⁵⁴ Имеется в виду ховивший тогда по рукам «Раковый корпус» А.И. Солженицына.

Вы мне дали ряд рекомендаций по Хатха-Йога. Я Вам исключительно благодарен за это. Но Вы меня не обратили в эту веру. Нет, Вы этим письмом только подтвердили, что Вы стали и в этом отношении моим единомышленником, так как я в эту веру обращен лет пятнадцать назад. Я увлекаюсь не только Хатха-Йога. В ней я как раз не очень скрупулезно выдерживаю все рекомендации. Я смешиваю упражнения Хатха-Йоги с обычными упражнениями. У меня свой комплекс, индивидуальный, пригодный именно для меня, только для меня, а не для людей моего возраста. Дело в том, что я еще в юности попал на настоящего физкультурника, и у него я научился тому, что каждый человек индивидуален во всем, в том числе и в физкультуре. Главное, что он мне преподавал: надо уметь слушать себя, свой организм. Надо научиться отличать его нежелание заниматься физкультурой в данный момент в силу природной лени или потому, что в организме совершаются какие-то нарушения, которых пока что ни один врач не обнаруживает. Иными словами, что это – охранительная реакция или инерция? Всю жизнь я совершенствовал себя в этом искусстве, и мне кажется, что ныне я владею им довольно прилично. Иногда чувствуешь себя совершенно разбитым, а смело идешь на упражнения и кончаешь занятия здоровым и бодрым, а иной раз даже и недомогания как будто нет, а я знаю – нельзя. И комплексы я меняю и приспосабливаю к своему сегодняшнему состоянию. И будучи уверен в пользе йоговских упражнений, я знаю, что моему организму нужны и ударные нагрузки, которых у йогов нет. И я смело ввожу в комплекс таковые, смешиваю их с йоговскими, хотя йоги утверждают, что смешивать нельзя.

Я не буду описывать все, что мне с ее помощью удалось излечить, но поверьте на слово, что если бы это было не со мной, я сказал бы, что это чудо или вымысел рассказчика. У нашего организма, оказывается, имеются в запасе колоссальные силы, и если человек поверит в возможность мобилизовать эти силы и мобилизует их, то происходят действительно чудеса.

Но на этом я и закончу. Рад, что наши взгляды сошлись еще в одном пункте. Обнимаю Вас. П. Г.

Черняховск. 11.11.1971

Дорогой Игорь!

Вашу открытку я получил 9 ноября, т. е. уже после праздников. Но Вы не огорчайтесь, это вина не Ваша. Вы даже оказались счастливее других. До Вашей открытки я получил поздравление только от одной Зин. Мих. От нее поздравление пришло во время, хотя и написано одновременно с Вашим. В тот день, кроме Вашего, больше

никаких поздравлений не прибыло, и я, готовясь к ответу Вам, хотел даже пожаловаться на то, что поздравления мне не доставляют. Не на то, что друзья не поздравляют, а на то, что их поздравления не доходят. Но сегодня жаловаться поздно, сегодня я получил сразу пачку поздравлений <...> Теперь по поводу Ваших йоговских дел. Я очень не одобряю Вашу травму. Запомните одно правило, поверьте старому физкультурнику, а физкультура йогов это тоже физкультура, правило, которое гласит: «Не гонись за скорым результатом». А у йогов это, по-моему, еще сильнее подчеркивается. Да, дорогой Игорь, постепенность. Такая постепенность, при которой даже вроде бы и результатов никаких, но настойчиво и с терпением продолжайте. И тогда обязательно настанет день, когда количество перейдет в качество. А ломать себе шею – это не резон. Запаситесь терпением, делайте только то, что посилено, но делайте каждый день – из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Только в этом случае дело будет прочно.

С Буниным, видимо, произошла ошибка. Я отверг, что называется «с порога» все, что было привезено. А привезли не только Бунина. Если бы я мог посмотреть то, что привезено, то Бунина я наверняка оставил бы⁵⁵. Но я не видел. Жалею об этом, но второй раз везти или посылать вряд ли стоит. Насчет фронтита мне нечего сказать. Болей сейчас нет, а закончился ли процесс полностью, это мог бы, по-моему, сказать только отоларинголог, но его у нас нет. Я очень рад за Александра Трифоновича, хотя и понимаю, что в этом ему помогло несчастье. Эти действительно чудесные стихи без этого несчастья могли бы и не получить такого высокого признания⁵⁶. Кстати, за сборник я Вас еще и еще раз благодарю. Просто упиваюсь, уже больше половины знаю наизусть. Забыл написать З.М., скажите Вы, пусть передаст А.Т. мои самые искренние поздравления. Обнимаю Вас, мой дорогой друг. Ваш П. Г.

Черняховск 28.03.1972

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Знаю заранее, что места для того, чтобы написать Вам хотя бы самое важное из того, что хотелось бы, не хватит, поэтому с самого

⁵⁵ Теперь, пожалуй, могу признаться, что том Бунина, содержащий его эссе «Освобождение Толстого», я специально «зачитал» для Петра Григорьевича в библиотеке санатория, в котором тогда лечился. – *И. Р.*

⁵⁶ Имеется в виду Государственная премия, присужденная опальному, а за год до того снятому с поста главного редактора «Нового мира» А.Т. Твардовскому за сборник «Из лирики этих лет», а также его последняя роковая болезнь.

начала начинаю лепить погуще и заранее предупреждаю, что Вам придется нелегко при чтении из-за отрывочности и прерывчатости текста. Но места мало, и специальных извинений приносить не буду. Перейду прямо к делу, а извинения самые исчерпывающие представьте сами.

Итак, за дело. Ваше письмо полное не только медицинскими советами, но и чувствами добрыми, я получил 23 марта, т. е. в очень дорогой для нас с З.М. день⁵⁷. Будучи всегда особенно рад Вашим письмам, я воспринимаю прибытие именно от Вас в такой день столь теплого письма за хорошее предзнаменование. Но прежде чем говорить об этом письме подробнее, я должен поблагодарить Вас за телеграмму «бывшему от небывших» и за бандероль с тремя вырезками из «Нового мира». Все это просто неожиданно великолепно. Но не скрою, самое сильное впечатление на меня произвел Эфроимсон⁵⁸. За одно только обоснование того, что «естественный отбор, шедший с доисторических времен, так же не мог не выработать этику, устойчивость к обольняющей технике... как он не мог подготовить наш организм к перенесению взрывов водородных бомб», за одно это нельзя не поклониться этому ученому. И, конечно, академик Астауров, давший столь высокую оценку статье Эфроимсона. Правда, я лично не получил от Астаурова⁵⁹ ничего, что хоть на миллиметр изменило бы мое собственное впечатление от прочтения «Родословной альтруизма».

Чудесны и стихи Евтушенко. За их присылку я Вам особенно благодарен. Они меня в известной мере помирили с поэтом, которого я, честно скажу, в последние годы не жаловал. Хотя, пожалуй, слова «в последние годы» лишние – просто не жаловал. Эти стихи, как я уже написал, чудесны. Они полны глубокого философского смысла, гражданственны и литературно обработаны в хорошем и своеобразном стиле. Но я почему-то никак не могу понять третье стихотворение (без заголовка). Особенно я становлюсь в тупик перед этим местом: «Я корчусь, но блажен мой смертный крик. Огнем уже оправдан еретик (подчеркнуто мною)... А если от костра еретика огонь скакнет на крышу бедняка, навеки будет проклято навзрыд все то, за что тот еретик горит». Сколько я ни вчитывался в это место, оно меня уби-

⁵⁷ День начала совместной жизни Петра Григорьевича и Зинаиды Михайловны в марте 1942 года.

⁵⁸ Эфроимсон В.П. (1908–1989), советский генетик, переживший репрессии в годы гонений на эту науку, один из основателей генетики человека и медицинской генетики, автор ряда научных монографий и статьи «Родословная альтруизма», напечатанной в 1971 году в журнале «Новый мир» (№ 10) и вызвавшей большой общественный резонанс.

⁵⁹ Астауров Б.Л. (1904–1974), советский биолог, цитогенетик, академик АН СССР.

вает возможностью непримиримых разночтений. Это или гениально по Шекспиру, т. е. так, что непонятно современникам, либо подло. О третьей из присланных Вами вырезок писать не буду. К Сухомлинскому⁶⁰ мы, кажется, относимся одинаково, поэтому если говорить, то много и глубоко. А если такой возможности, к сожалению, пока что нет, то лучше совсем не говорить.

Теперь о письме. Ну, результаты уже имеются. Я писал об этом З.М. и сегодня повторю Вам, что хотя «Мексазе» закончилась вчера в обед, живот мой пока что в порядке. Думаю, что сыграл роль не только этот препарат, но и некоторые из Ваших советов. По-моему особо рекомендованное Вами йоговское упражнение. Я очень внимательно изучил все Ваши советы. Подавляющее большинство мне известно было ранее и использовались мною в жизни. К сожалению, далеко не все приемлемо для здешних условий. Вернее, не все возможно осуществить. Вы знаете, что истина конкретна. И когда Вы «делите» завтрак на два приема, Вы имеете в виду конкретный завтрак. А посмотрел бы я на Вас, как бы Вы поделили мой завтрак. Повторяю, я очень серьезно отнесся ко всем советам, но многое выполнить я не смогу. Вы просто не представляете обстановки и поэтому преподносите истину в неконкретной, т. е. неприемлемой для жизни форме.

Чтобы Вы хоть чуть-чуть поняли смысл этого, я отвечу на Ваш вопрос, снимает ли мне нитроглицерин за грудинные боли. Отвечаю: н е з н а ю. Почему? Поясню примером. Представьте себе обычную больницу, в которой кардиологическим больным нитроглицерин не дают, а говорят: если будет плохо, нажмите эту кнопку. Что получится? Один из больных изведет своими необоснованными вызовами всех сестер. Другой будет вызывать, когда нужно или, может, с некоторым запозданием. А третий, может, и нажмет, теряя сознание (до этого он будет терпеть), но к его несчастью сестры в это время на месте не будут. Так вот я принадлежу к этой третьей категории. Откуда же мне знать, как на меня действует нитроглицерин? У меня еще не было таких болей, которые заставили бы меня нажать кнопку. А вообще-то спасибо. В меру возможности буду пользоваться всеми Вашими советами. Кстати, они меня очень приободрили. Многое из того, что я знал практически, теперь закреплено Вашим медицинским авторитетом. А это очень немало.

⁶⁰ Сухомлинский В.А. (1918–1970), советский педагог, многолетний директор школы с. Павлыш Кировоградской области Украины, создатель оригинальной педагогической системы, в центре которой личность каждого отдельного ребенка, а ядро школы представляет коллектив педагогов-единомышленников.

Какой чудесный подарок мне стихотворение Эренбурга о весне прислали Вы⁶¹. Я совсем не знаю Эренбурга-поэта, несмотря на то, что имел счастье лично узнать этого выдающегося писателя и всегда любил его произведения. Сегодня утром в 9-00 – 10-00 была передача «Поэтическая тетрадь». В передаче было стихотворение, кажется, Жемчужникова «Скворец». Так оно перекликается (философски) с присланным Вами. В передаче были, кроме того, чудесные стихи А.К. Толстого. Если можно достать программу сегодняшней «Поэтической тетради» радио, а это, по-моему, нетрудно, то мне хотелось бы ее иметь. Ну, вот и все. Все – по бумаге, а не по сути, конечно. Обнимаю Вас. Ваш П. Г.

Черняховск. 04.05.1972

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Получил Ваше письмо непосредственно накануне 1 мая. Очень ему рад. Для меня Ваши письма всегда были дороги, но это особенно. Как Вам написать, что это за письмо? Вы пишете, что у Вас нет ясного представления, что из посланного Вами я получил. Но это Ваша вина. Вы пренебрегаете тем, что у меня написано в правом верхнем углу сего листка. Дату Ваших писем я определяю лишь по почтовому штемпелю. И если конверт затеряется, то можно будет определить, и то лишь по косвенным признакам, что оно написано в 50-х – 60-х или 70-х годах 20-го столетия. Поэтому я Ваши письма регистрирую в своем уме не датами, а имеющими к ним отношение событиями. Данное письмо для меня письмо о Зое. В общем, обо всех, полученных от Вас письмах я общал (обязательно) Зин. Мих. и отвечал Вам. Тоже на все, если принять три письма из больницы за одно, поскольку они связаны общей темой. Следовательно, у Вас были все данные для того, чтобы опреде-

⁶¹ Речь идет о стихотворении «Да разве могут дети юга...». Но поскольку не всем читателям оно, вероятно, известно, имеет смысл привести его здесь целиком:

Да разве могут дети юга,
Где розы плещут в декабре,
Где не отыщешь слова выюга
Ни в памяти, ни словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Все то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне.

Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
...А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

лить, что я получил и чего не получил. Не сердитесь за упрек, это всего лишь справка, полезная и на будущее. На этом я закончу справочные вопросы и перейду к ответу на само Ваше письмо.

По поводу сообщения о Зое⁶² мне вначале захотелось просто отшутиться. Но так как письма дорогих мне людей я читаю не по одному разу, то вскоре желание шутить у меня прошло. То есть прошло не совсем. Когда я, наконец, окажусь на свободе и увижу Вас с Зоей у себя дома, я обязательно пошучу, не боясь даже осуждения за «плоскошутие», а сейчас поговорю серьезно. Прежде всего, я до самой глубины души тронут тем, что Вы доверились мне в важнейшем жизненном вопросе, что Вы захотели поделиться своей радостью и своими сомнениями именно со мной. Смешно было бы, чтобы Вы при Вашем жизненном опыте нуждались в моих советах и чтобы я был до сих лет столь неразумен, что считал бы себя компетентным давать советы в таких вопросах, тем более зная лишь одну сторону. Но поскольку Вы высказали не только свою радость, но и сомнения, я обязан высказать свои суждения, но не по конкретному случаю, а в общетеоретическом, так сказать, плане.

Из всего, что Вы написали по этому поводу, я считаю важным только одно Ваше утверждение: «...в правильности своего выбора я не сомневаюсь несколько...» Это и только это важно. Что же касается извечного вопроса – за что нас любят и за что мы любим – то на него искать ответ – напрасная работа. Я после десятилетий совместной жизни не знаю, чем я заслужил и любовь и преданность такой женщины, как моя жена. По-моему, так от меня ничего кроме неприятностей ей не досталось. Теперь о Вашей болезни. На последней странице «Известий» за 1 мая есть фотоочерк «С днем рождения семьи» и в нем следующее место: «На этой фотографии невеста оперлась на руку жениха. Так всегда бывает на свадебных фотографиях.. Муж – опора семьи. Но часто хрупкая женская рука оказывается тоже крепкой опорой. Крепкой и, главное, верной. Все зависит от того, как сложится жизнь».

Я, когда создавал семью, ни в чем не сомневался. Я всегда был уверен, что пока я жив, я буду надежной опорой семьи. А как получилось? Не буду объяснять, Вы знаете. Поэтому я не могу посочувствовать Вашему сомнению: «...пока оно (нездоровье) вредило мне одному, было еще полбеды. Если же оно станет на пути двоих, не будет ли это хуже для обоих?» А если бы на моем пути стало мое «нездоровье» когда я был бы один? Я думаю, что на этот вопрос Вам легче ответить,

⁶² Зоя, З.Б. Ареткулова, на тот момент – моя будущая жена. – *И. Р.*

чем на свой. Ответьте и сделайте вывод для себя сами. Главное, по-моему, в том, чтобы каждому уже сегодня думать об обоих, а может, и о большем числе, о семье. Что же касается Вашей болезни, то, извините, я никогда не верил в ее непреодолимость. По-моему, Вам не хватает оптимизма, а не здоровья.

Коротко по другим вопросам... О поэтах и поэзии. Здесь я вынужден в корне не согласиться с Вами. Это, кажется, впервые за время нашего с Вами общения. Впервые, но зато возражение будет очень резким. Вы пишете, что и Пушкину случилось писать «О чем шумите вы народные витии». Да, случилось. Но по этому поводу уместно будет напомнить слова Ленина по поводу ошибок Розы Люксембург, которые меньшевики пытались поставить ей в пику. Ленин писал (цитирую, конечно, по памяти, но за правильность смысловую ручаюсь): «Случается и орлам спускаться ниже кур, но никогда курам не подняться в орлиную высь». Разве можно равнять тех, о ком у нас речь, с Пушкиным⁶³? Рядом с Пушкиным разве Лермонтова поставить. Да еще, быть может, Есенина. А дальше надо будет обратиться не к Пушкину, а к Некрасову, который, по выражению Плеханова, сумел превратить свой небольшой поэтический дар в общественное явление и стал властителем дум всей передовой общественной России. Разбирая стихотворение Некрасова «У парадного подъезда», Плеханов говорит, что оно потрясло многие поколения передовых людей, потрясло несмотря на то, что это не поэзия, а рифмованная проза. Так вот, дорогой Игорь, по Некрасову чаще всего приходится мерить поэтов, ибо большой поэтический дар явление очень редкое. Кроме трех вышеназванных можно, пожалуй, назвать еще трех (рангом пониже): Блок, Маяковский, Пастернак... А дальше все небольшие или даже совсем не поэты, а люди, думающие прозой, а пишущие стихами (выражение Л.Н. Толстого). Хорошие стихи есть и у Щипачева, и у Прокофьева, и даже у Грибачева. Так, может, и их мы начнем сравнивать по лучшим их стихам с Пушкиным? Нет, этого не будет, дорогой Игорь, никогда не будет. Почему я Вам написал о том стихотворении? Не потому, что хочу его автора сравнивать с Пушкиным. Нет, я все время думал, тянет ли он к Некрасову. И пришел к заключению: нет, не тянет. Они с Рождественским, кажется, представляют особое явление и в поэзии, и в морали.

Ну, вот я и подошел к концу. Но ответ на Ваше письмо не закончил. Постараюсь сделать это в следующий четверг, т. к. во вторник снова будет праздник (9 мая). Обнимаю Вас. Мой поклон Зое. П. Г.

⁶³ Речь, по-видимому, идет о стихах Евтушенко, на которого в те годы многие возлагали неоправданно большие надежды.

Черняховск 28.12.1972

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Письмо Ваше получил 21 декабря, а новогоднее поздравление 25-го. За поздравления и добрые пожелания Вам и Зое огромное спасибо. Насчет одиночества я с Вами согласен на все 100, как говорят. Где-то я читал и слышал (теперь уже не помню) такое: «Каждый человек это целый мир. И от того, каков человек, зависит то, каким он видит окружающий мир». Текстуально я, наверное, не очень точно передал слышанное или читанное, но смысл точный – в этом я уверен. И этот смысл подтверждает Вашу мысль об одиночестве. Каков мой мир не мне судить, но во всяком случае одиноким я не буду. Мой Новый год пройдет в кругу семьи и друзей, хотя все они удалены от меня на многие сотни километров. Мои близкие уже сейчас окружили меня плотным кольцом, и столько тепла идет от них. Приходят письма, открытки, фотографии. И во всем этом столько изобретательности и настоящего тепла душ замечательных, что не почувствовать это просто невозможно. Вот и Ваше с Зоей поздравление и прибывшие одновременно с ним от жены, сыновей, друзей растрогали меня, я не стесняюсь признаться в этом, до слез. Читаю, перечитываю, вижу вас всех, живу среди вас.

Теперь о письме. Начну с делового – о тете Зои⁶⁴, ибо боюсь, что начав с «теории», не сумею оставить место на это. Деловой вопрос – обращаться ли с этой историей к Смирнову⁶⁵. Честно, так мне он не очень нравится. Боюсь, что я к нему не обратился бы. Но с этой историей, по-моему, больше обращаться не к кому. Тут дело обстоит не так просто, как вам с Зоей, может быть, кажется. Попросите З.М. рассказать о ее подруге Гале Скулдыцкой. Ее здоровые мужики фактически кинули в плен к немцам. Когда она вернулась и ей надо было как-то входить в жизнь, она разыскала этих мужиков и попросила, чтобы они подтвердили, что она не просто сдалась в плен. Видимо можно

⁶⁴ Зайтуна Альбаева, погибшая в августе 1942 года на подступах к Сталинграду, в селе Садовое, где она приняла свой последний бой и где взвод девушек-связисток, следивших за приближением вражеских самолетов, был оставлен фактически без прикрытия. Впоследствии около 30 лет Альбаева числилась пропавшей без вести, причем ее бывшие однополчане, в том числе командир и комиссар батальона, пытались сложить с себя ответственность, всячески уклонялись от правдивого рассказа об обстоятельствах ее гибели. Подробнее об этом см.: Рейф И. Последняя высота Зайтуны Альбаевой. Горькие примечания к подвигу // Труд. 1997. № 84.

или http://www.belousenko.com/books/reif/reif_albaeva.htm

⁶⁵ С.С. Смирнов, автор книги «Брестская крепость», впервые рассказавший широкому читателю правду о ее героической обороне. За эту книгу автор был удостоен Ленинской премии.

было найти форму, в которой они свидетельствовали бы в ее пользу, но ее так душило все пережитое, а также нынешний вид преуспевающих трусов, что она высказала все, что думает о них. И... помощи не получила. Даже наоборот. Вы спросите, почему? На это ответу примером. Уже давно у нас шел итальянский фильм «Банда подлецов». Если не видели, попросите З.М. рассказать. Суть там в том, что группа пассажиров автобуса попала в руки к немцам. При этом достойно вел себя только один. Остальные оказались трусами и предателями. Но когда их у немцев отбили, то все самым согласованным образом начали действовать против одного честного. Вы спросите, откуда такая согласованность у людей, которые никогда не встречались? Ответу – их объединила общая подлость. Я не хочу сказать, что кто-то виноват в смерти Зоиной тети. Но нередко поступки человека затормаживают мысль, что могут подумать, будто он виноват. Комбат и комиссар – почему они могут ничего не предпринимать? Да потому, что приказ на отход ведь не был отдан. В этом, может, и не их вина, но пойдя теперь докажи это...

Черняховск 17.04.1973

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Вчера получил Ваше письмо. Поскольку Вы не имеете привычки ставить дату на письме, то я ссылаюсь на почтовый штемпель Москвы – 4.4.73 г. В последнее время количество моих корреспондентов резко сократилось, поэтому я имею возможность ответить на Ваше письмо немедленно. Прежде всего, не могу не сказать, я ему очень рад. Ваши письма мне особенно интересны, и каждое из них я перечитываю по нескольку раз. Отвечать буду в той последовательности вопросов, как Вы их поставили в своем письме.

Начнем с поговорки, всеобщность которой Вы поставили под сомнение. Нет, дорогой Игорь, «лучшее враг хорошего» это один из основных и важнейших законов научного творчества. Да, сопротивление материала есть и в научной работе, но беда в том, что начинающие ученые страдают не от сопротивления материала, а от того, что тонут в материале, плывут туда, куда плывет он помимо их воли. Тот, кто не сможет выбраться из этого потока, никогда ученым не станет и ни одной научной работы до конца не доведет. Да, появляются новые вопросы, которых ты раньше не заметил. Но что из этого следует? Только то, что их надо отложить в новую папку для новой, будущей работы. А то, что сделано, надо довести до конца.

Я ведь Вам не теорию даю. Я все это выстрадал. Когда я вспоминаю свою диссертацию, мне вчуже страшно становится. Я захватил

такой материал, что утонул бы и трупа моего не нашли бы, если бы умные люди не наставили меня на путь истины. И я написал, защитил кандидатскую, а вслед за тем как из рога изобилия посыпались одна за другой новые работы, исходной точкой для которых явился материал, отброшенный мной при завершении кандидатской диссертации. Вопросы политэкономии, затронутые Вами, конечно, очень интересны, но с этим Вам можно и повременить. Заканчивайте диссертацию⁶⁶!

Теперь насчет театра на Таганке. «Десять дней, которые потрясли мир» на меня произвели такое же впечатление, как и на Вас. Там слишком много оригинальничанья, слишком режиссер увлекается внешними эффектами, и получается нечто, напоминающее балаган. «Жизнь Галилея» произвела на меня и на всю нашу семью сильное впечатление. У меня даже не возникло тех претензий к Высоцкому, которые, я теперь считаю справедливо, предъявили Вы исполнителю заглавной роли. Но сейчас у меня резко отрицательное мнение обо всем этом любимовском спектакле. Во-первых, и это главное, это не Брехт. Во-вторых, по-моему, режиссер не имеет права давать трактовку, противоречащую прямым указаниям автора. Брехт придавал этой пьесе особое значение. Я прочел 2 тома пьес Брехта на немецком языке (5 пьес), без каких бы то ни было купюр. Из всех этих пьес только к «Жизни Галилея» Брехт написал подробные указания, как ставить эту пьесу. Он указал даже актера, игравшего заглавную роль, как образец правильного исполнения этой роли. У меня нет возможности пересказать здесь эти довольно объемистые указания. Некоторые из них я изложил в письмах Зинаиде Михайловне. Если Вас это заинтересует, она может найти эти письма. Для примера приведу наугад одно из указаний: «Слова произносить с предельной четкостью и не торопить речь. Публика должна успеть не только услышать, но и осмыслить сказанное. События очень не простые и не так легко правильно их понять». Создалось у Вас впечатление, что в постановке Таганки речь не торопят? А я, узнав авторский текст, знаю, что ее там ускоряют. Вспомните две реплики. Ученик Галилея: «Несчастлива та страна, у которой нет героев». Галилей: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях». Любимов поставил эти реплики рядом, а у Брехта между ними полторы страницы текста.

Мой горячий привет Зое. Обнимаю Вас, дорогой мой друг. П. Г.

⁶⁶ Имеется в виду предназначавшаяся для самиздата рукопись «Трансформация большевизма», с которой я успел познакомить П. Г. незадолго до его ареста. — *И. Р.*

ПИСЬМО ТЮРЕМНЫМ ПСИХИАТРАМ

Калининградская область,
гор. Черняховск,
администрации учреждения 216-2

Уважаемые Товарищи,

Очень прошу Вас возможно скорее передать Петру Григорьевичу Григоренко прилагаемые книги. Эти переводы и подлинники повести известного немецкого писателя Генриха Белля. Сопоставляя перевод с подлинником, Петр Григорьевич может совершенствовать свои знания немецкого языка, изучать теорию и практику перевода художественной литературы. Он проявляет серьезную заинтересованность этими проблемами, и могу вас заверить как специалист высказывает по этому поводу очень дельные мысли.

Бодрое, жизнерадостное письмо, которое я получил от него к Новому году, очень порадовало всех, кто знает Петра Григорьевича и, естественно, озабочен его судьбой. Его занятия немецким языком и проблемами перевода, несомненно, благотворны для него со всех точек зрения. Полагая, что и вы уже могли убедиться в этом, я решаюсь вас просить: позвольте, наконец, Петру Григорьевичу пользоваться письменными принадлежностями, без чего невозможно дальнейшее активное изучение иностранного языка. Я позволяю себе обратиться к вам с такой неофициальной и очень горячей просьбой, потому что принадлежу к числу тех, кто, не разделяя многих взглядов Петра Григорьевича, глубоко уважает его как самоотверженного, бескорыстного, благородного патриота, необычайно мужественного, талантливого и доброго человека. Вы, вероятно, знаете, что так думают о нем все, кто достаточно знаком с ним или с его научными и публицистическими работами. А таких людей очень много и у нас в стране, и за рубежом.

Решительное изменение его судьбы, видимо, от вас не зависит. Но от вас зависит, чтобы его жизнь в вашем учреждении была возможно менее тягостна. За это вы ответственны прежде всего перед вашей собственной совестью.

Петра Григорьевича Григоренко – героя Великой Отечественной войны, ученого и общественного деятеля никогда уже не забудут его

друзья – знакомые и незнакомые – ни беспристрастная история и никто из людей, с ним сталкивавшихся. Не забудьте его и вы. И поэтому для вас же хорошо теперь поступать так, чтоб через многие годы, вспоминая о нем, вам не пришлось испытывать угрызений совести и стыдиться перед своими детьми и внуками. Пожалуйста, поймите меня правильно: доброе человеческое отношение к Петру Григорьевичу может быть только полезным для всех – и для него и для спокойствия души каждого из вас и для достоинства государства.

Желаю всем, кто будет читать это письмо, и всем их родным в наступившем Новом году хорошего настроения, исполнения добрых желаний и доброго счастья.

24 января 1972 года

Примечание Копелева. Ответа на письмо я не получил, но в дальнейшем Григоренко передавали книги и письма, которые я ему посылал.

ПАЦИЕНТ «СЕРБСКОГО»⁶⁷

Новенький

Еще накануне следователь уведомил меня о направлении на судебно-психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского. Об этом институте я раньше никогда не слыхал и очень удивился, что возник вопрос о моей психической состоятельности. Долго раздумывая над этим в камере, я все же пришел к выводу, что с точки зрения простых советских людей (моих родителей, например), а тем более габэшных следователей, мои действия с листовками, в самом деле, выглядят странно. Ну как молодой, здоровый работяга, горячо любящий свою жену и сынишку, мог пойти на такое? Рисковать здоровьем, свободой, а может, и самой жизнью. Самому мне подобные случаи известны не были. Так, может, я и в самом деле слегка того, только не замечаю этого?

И вот из Лефортова в большом «воронке» меня одного везут куда-то в течение часа. После двухмесячного пребывания в камере в полнейшей тюремной тишине слышать звон трамваев, автомобильные гудки, говор свободных людей у светофоров было, конечно, очень волнующе.

Наконец «воронок» остановился и посигналил. Послышался звук отодвигаемых ворот, машина въехала, ворота закрылись, мотор умолк. Пока меня вводили в какое-то здание, успел заметить высокий каменный забор с колючей проволокой, охранников в форме МВД и людей в белых халатах. Так я оказался в «Сербском», ставшим через десяток лет известным на весь мир своими несправедливыми диагнозами и искалеченными судьбами многих честных людей.

Взамен собственной одежды мне выдали больничную пижаму и лестницами и коридорами повели в соседний корпус. Там, после условных звонков, открылась металлическая дверь на втором этаже, и я вместе с провожатым очутился в начале длинного, темного коридора, по обе стороны которого виднелись двери палат. Мой провожатый снова нажал звонок на ближайшей двери с глазком. И опять

⁶⁷ Фрагмент неопубликованной автобиографической повести. Названия даны составителями.

послышался лязг замков, нас пустили и снова заперли дверь на несколько запоров.

Теперь передо мной был метров в двадцать «предбанничек» с двумя дверьми по левую руку (в туалет и кладовую) и столиком медсестры по правую. А прямо перед собой в проеме без двери я увидел больничную палату с кроватями и людей в пижамах на манер моей.

После формальностей сдачи-приемки местная нянечка повела меня показывать мою койку. Все отделение состояло из двух смежных палат: одной побольше – на десятерых, другой поменьше – на шесть коек. Меня определили в меньшую. Совсем непривычно после тюремной камеры было видеть кровати, застеленные чистым бельем. Полтора десятка человек сидели и лежали на этих кроватях. Кто-то читал, другие дремали, а кто-то шагал из угла в угол, что-то бормоча себе под нос. В самом центре большой палаты стоял массивный круглый стол и несколько неподъемных тумб-табуреток. Широкие окна с толстыми стеклами были покрашены белой краской метра на два от пола.

После множества впечатлений минувшего дня внезапно навалилась усталость, и я решил отложить знакомство с новыми соседями и немного вздремнуть. Но не успел прилечь, как они сами окружили меня, и начались расспросы: откуда прибыл, по какой статье и т. д.

Я тоже, со своей стороны, стал интересоваться местными порядками. Выяснил, что наше 2-е отделение занимает пол-этажа и что содержатся здесь не за уголовные, а за государственные преступления, а потому и палаты наши называются «спецпалатами». Узнал также, что экспертиза может продлиться пять недель, что все дни заполнены разного рода обследованиями, что разрешены передачи, положена часовая прогулка и т. д.

Моим соседом по койке оказался молоденький моряк срочной службы с Северного флота, сын военного, полковника, обвинявшийся по статье «измена родине». Корабль, где он служил, в составе эскадры посетил с дружественным визитом Великобританию. Стоя на рейде Портсмута, они видели ярко освещенные набережные, толпы красиво одетых людей, слышали женский смех, джазовую музыку. Но, кроме высших офицеров, на берег не пускали никого. Однако соблазн был так велик, что сосед мой все же решился. Сменившись с вахты, достал веревку и, незаметно спустившись по ней в воду, поплыл к берегу. Но вода оказалась слишком холодной, так что спустя несколько минут у него свело ноги. Чувствуя, что вот-вот утонет, он стал звать на помощь. Его вытащили свои же. А когда пришел в себя, то был сразу помещен в трюм, в специальную камеру. По возвращении в Мурманск его забрали в особый отдел и после долгих допросов

подвели под 64-ю статью «измена родине». Пообещали не меньше «червонца» строгого режима.

И теперь он был в отчаянии: выйти из лагеря 30-летним «стариком», да еще с клеймом изменника – с этим невозможно было смириться! В тюрьме его надоумили «косить» под дурака, и он внял этому совету. Уж какие «примочки» он там выделывал, мне неизвестно, но в «Серпы»⁶⁸ попал. Он и меня стал уговаривать последовать той же тактике: лучше пару лет на больничной койке, чем годы на лесоповале. Этот здоровый, избалованный парень, прыгая в воду, не думал ни об исковерканной карьере отца, ни о страданиях матери – его влекла красивая западная жизнь. И папочка, надо думать, не пожалеет усилий, чтобы спасти свое чадо от лагеря, а потом найдет способ снять его с учета в психдиспансере. Да и не только родителям, но и военному начальству будет выгодней признать советского моряка душевнобольным, чем изменником родины.

Запомнился мне и еще один «изменник родины» – украинский сельский хлопец из Донбасса. Звали его Паша Едаменко, а доставлен он был сюда из Потсдамской тюрьмы. Отслужив год в Группе советских войск в Германии, Паша был поражен уровнем жизни восточных немцев, не сравнимым с тем, что он успел повидать в своей деревне. «Но ведь ГДР – это все же соцлагерь, – рассуждал он, – а за “железным занавесом” житуха, должно быть, и вовсе хоть куда. И если советская граница на замке, то внутригерманская охраняется, быть может, не так бдительно. Так что надо действовать – другого такого шанса не будет. А то так и сгнию у себя в деревне...»

Часть его находилась недалеко от западногерманской границы. И однажды, заступив в караул, сразу после ухода разводящего, он двинулся к этой границе. В безлюдном перелеске с автоматом в руках перелез через какие-то заграждения и, считая дело уже сделанным, вдруг услышал за спиной: «Хенде хох!» Из кустов выскочили двое восточногерманских пограничников и бросились ему наперерез. Павлуха не растерялся и дал по ним автоматную очередь. Один упал, но другой успел все же выстрелить и ранил его в ногу, а набежавшие откуда-то немцы дружно на него навалились.

После лечения и долгого следствия он и попал к «Сербскому», хотя каких-нибудь явных психических отклонений за ним вроде бы не замечалось. Если не считать низкого интеллекта и какого-то почти детского простодушия. Этому «гарному хлопчику» сочувствовали все. Наивный, неиспорченный, он досаждал нам лишь тем, что упорно общался с нами на своей родной украинской «мове». Мне никогда

⁶⁸ На жаргоне тех лет – институт им. Сербского.

не приходилось слышать живую украинскую речь, и, как и многим, казалось, что язык этот только искажает русские слова, привычные с детства. Нам, например, постоянно резало слух Пашино «пишлы» вместо «пошли» и многое другое. И тогда наши умники принялись его поправлять, заставляя повторять «как надо». Но обучение не приносило плодов, и мы злились на упрямого хохла, а он, в свою очередь, дивился на москалей: ведь мы же понимаем друг друга, так чего вы ко мне цепляетесь?

* * *

В нашем отделении круглосуточно дежурили две женщины: медсестра и нянечка. Основной их обязанностью было постоянное наблюдение за «контингентом». В журнале против каждой фамилии была графа о поведении поднадзорного в течение смены, а также общая обстановка на «спецу».

После завтрака всех, кому предстояло обследование, выводили в коридор и вели по кабинетам. В это время двери палат наших соседей, бытовиков и уголовников, запирались, а дюжие санитары в форме под белыми халатами готовы были в любой момент пресечь всякую попытку наших с ними контактов. Но, проходя по коридору, мы видели лица прильнувших к стеклам дверей своих соседей, пытавшихся разглядеть «особо опасных преступников». Им, зачастую бандитам и насильникам, было непонятно, что же такое надо совершить более страшное, чтобы попасть в нашу компанию, которую изолируют, как прокаженных. Из палат доносилась музыка из репродукторов, мы видели в руках у людей газеты и журналы – все то, чего были лишены мы, будучи полностью оторваны от событий в стране и в мире. Мы знали также, что после нашего прохода двери палат будут открыты снова, а их обитатели смогут свободно ходить из палаты в палату, общаясь друг с другом. И только приближаться к нашему тупичку было им категорически запрещено.

После прогулки каждый был предоставлен самому себе. Коротали время за чтением книг, игрой в домино, разговорами. И лишь привезенный из лагеря с семнадцатилетним сроком пожилой уже «лесной брат»-литовец избегал общения и вел себя как-то странно. Два настроения чередовались у него почти без переходов: неудержимая веселость или истерика со слезами и плачем. Причем рыдания могли мгновенно сменяться хохотом и наоборот. Это не прекращалось и ночью. С трудом провалившись в тяжелый сон, мы просыпались из-за его надсадного смеха и долго потом лежали без сна, пытаясь понять, над чем можно так смеяться в его положении. Не раз и не два просили

мы перевести его в пустовавшую одиночку, но нам обещали, что не сегодня-завтра его должны отсюда увезти.

– Вот признают тебя психом, – говорил я своему соседу-матросу, – и будешь чалиться с такими с утра до вечера. Поневоле и сам свихнешься.

– Плевал я на них, – отвечал он. – Заткну уши ватой, и порядок.

Но вскоре выяснилось, почему оставалась без внимания наша просьба изолировать нас от беспокойного соседа. Как видно, одиночную палату для кого-то придерживали. Это стало ясно, когда однажды после обеда дверь в нее вдруг отперли и нянька стала стелить там постель. Какая-то странная суэта предшествовала появлению нового постояльца. Входили и выходили люди из медперсонала, что-то обсуждая между собой вполголоса, пока, наконец, не послышался ляг входной двери, и мы краем глаза не увидели, как провели какого-то человека, записали в журнал и проводили в одиночку.

Нас, разумеется, распирало любопытство, и мы с нетерпением ждали конца тихого часа, чтобы поглазеть на пациента, появлению которого предшествовали такие приготовления. Но вскоре он и сам возник на пороге большой палаты. Очень высокий, статный пожилой человек с лысой обритой головой и добрыми, внимательными глазами. На нем была полосатая пижама с короткими, не достающими до запястий рукавами и штанинами выше щиколоток. В этом несуразном шутовском наряде вид у незнакомца был, надо сказать, немного комичным. А он, взглянув на нас с некоторым смущением, улыбнулся и произнес:

– Здравствуйте, хлопцы!

Ему нехотя недружно ответили, но все же освободили одну из тумб и предложили присесть. Он сел, представился:

– Григоренко Петр Григорьевич.

Оглядев высокий потолок, широкие окна и чистые койки, удовлетворенно заметил:

– А светло-то у вас как.

– Давно сидите? – спросил его кто-то.

– Кажется, что давно. А на самом деле и двух месяцев не будет.

– А откуда привезли?

– С Лубянки. Слыхали о такой?

Теперь уже новенький принялся нас расспрашивать. Интересовало его все. И долго ли держат на экспертизе, разрешены ли передачи, и есть ли радио, дают ли газеты. Спросил, по каким статьям мы обвиняемся.

– Здесь, Петр Григорьевич, спецотделение, – ответил ему кто-то. – Одни контрики.

– А бытовики и уголовники где же?
– Да ими все корпуса забиты. Завтра поведут вас к врачу – сами убедитесь.

– Общаетесь с ними?

– Как бы не так. Их в палаты загоняют, когда нас ведут мимо, чтобы мы на убийц и грабителей, не дай Бог, плохо не повлияли.

Пока шел обмен информацией, я со своей койки не спеша разглядывал этого человека, еще не подозревая, что встреча с ним перевернет в ближайшем будущем всю мою дальнейшую жизнь. На вид ему было лет под шестьдесят. Лицо, манера речи, явно нетрудовые мягкие руки выдавали в нем интеллигента, возможно даже университетского преподавателя. С одним из таких я сидел еще в Лефортово и с отвращением узнал, как он брал взятки с абитуриентов, да еще в валюте. Однако была в новеньком какая-то особенная твердость и властность, не свойственная институтским «очкарикам».

Тумбу, где он сидел, окружали человек пять-шесть молодежи. Остальные слушали в пол-уха, читали или думали свою думу. Вопросы он задавал много, а когда они иссякли, сказал:

– Спасибо, братцы, просветили старика. Как я понимаю, вас сюда со всего Союза понавезли. Ну, а из Москвы есть кто-нибудь?

Ребята указали на меня. Я сказал, что жил напротив Павелецкого вокзала.

– А я совсем недалеко отсюда, на Комсомольском проспекте.

Вот это да, живой москвич в нашем застенке! И я приклеился к нему с вопросами. Остальные не мешали, лишь с интересом следили за беседой. Все же какое-никакое развлечение, чтобы убить время до ужина.

– Так где же мы находимся, Петр Григорьевич? – спросил я его.

– Неужели не знаешь?

– Нет, откуда же?

– Да здесь рядом Садовое кольцо, метро «Парк культуры», Метростроевская улица.

Так вот где, оказывается, этот «Сербский»! А врачи от меня все скрывали... Даже странно было узнать свое местонахождение от новенького. Поговорили о том, о сем, и тут я его спросил:

– А Вы по какой статье идете?

– По первой части семидесятой.

– И я тоже.

– Да? А если не секрет, за что?

– За фотолитовки.

– Хм... И у меня литовки. Только на машинке. А как звать тебя, земляк?

– Юра.
– Семья, родители есть?
– Сынишка маленький, жена в положении. Они одни остались. Родители-то есть, но от них никакой помощи. Они ведь меня тоже «врагом народа» считают...

– Странно... А по профессии ты кто? Где работал?
– Машинистом башенного крана. В стройуправлении Академии наук.

– Так ты, Юра, рабочий. И... листовки? Как же так?
– А что ж тут удивительного? Вот и вы рассуждаете, как мой следователь. Если рабочий, то у него, кроме бутылки и футбола, никаких интересов и быть не должно? Даже обидно.

– Извини, Юра, но ты не обижайся и с гэбистами меня не равняй. Напротив, я приятно обрадован, что и рабочие начинают понимать ненормальность положения в стране. И что же было в твоих листовках?

– Не в моих, а в наших. Просто я в нашем деле «паровозом» иду. У нас ведь все работяги. А в листовках? О многом... О безальтернативных выборах. О безвозмездной помощи «братским странам». О культе Хрущева.

– Да, солидно и в основном верно. Только стоило ли из-за Никиты жертвовать семьей и идти в тюрьму?

– А мы с подельником в тюрьму и не собирались. Мы считали, что если уж попадемся, то живыми не выйдем: замучают на Лубянке, а потом расстреляют.

– Ну, слава Богу, прошли те времена. А о семьях подумали?

– Естественно. Но все же надеялись, что обойдется. Это я после Новочеркасска⁶⁹ не выдержал и сам изготовил фотоспособом первую листовочку. Распространил штук тридцать и не попался. Это вдохновило. А через год мы уже развернулись по-настоящему.

– Да-а... И все же Хрущев, по-моему, таких жертв не стоит.

– Думайте, что хотите, но только не мог я спокойно смотреть на этого жирного борова и слушать его «исторические» речи с плоскими шуточками. Более карикатурной фигуры для нашей огромной страны трудно сыскать. А его звон о преимуществах «социализмов-

⁶⁹ Имеются в виду массовые уличные беспорядки 1–2 июня 1962 года в г. Новочеркасске, спровоцированные повышением цен на мясные и молочные продукты и увеличением норм выработки на заводских предприятиях. В результате в город были введены войска и открыт огонь по безоружным людям. Всего в тот день были убиты 24 человека и арестованы 30 «зачинщиков», семеро из которых впоследствии приговорены к смертной казни. В 1996 году все осужденные были реабилитированы, а на месте массового расстрела открыт памятник. – Примеч. сост.

коммунизмов». Он у меня уже изжогу вызывает. И еще этот раздуваемый его культ при пустых полках... Ведь над ним все смеются. Об одном жалею, что завел семью и что друзья пострадали...

Воцарилось неловкое молчание. Я чувствовал, что моему собеседнику хотелось бы и еще кое о чем меня порасспросить, да не принято в период следствия откровенничать с малознакомыми людьми. Но в то же время было видно, как соскучился он по общению. И чтобы его поддержать, я тоже в свою очередь поинтересовался:

– Ну, а ваши листовки о чем?

– У меня немного посерьезней. Ведь дело, дорогой, вовсе не в Хрущеве, а в существующей системе, которая далеко ушла от ленинских принципов. Ну, не будет Никиты, придет другой, а все останется по-прежнему. Вот в чем беда.

После этого я, естественно, не мог не спросить о его профессии. Кто же он все-таки? Не преподаватель ли марксизма?

– Я кадровый военный, – просто ответил он.

– И в каком же звании?

– Генерал-майор.

Ге-не-рал? Мне, да и всем вокруг, показалось, что мы ослышались. Даже промелькнула мысль: нет, недаром здесь проверяют на вменяемость. Отчего бы полковнику не назваться генералом, да хоть бы и маршалом? Ведь институт-то судебной психиатрии... Да, может, я и вправду псих, но генерал?.. «Ведь генералы все больше толстые, пухлые и высокомерные, – соображал я про себя. – А этот-то совсем не такой. Простой, хотя вроде бы и очень умный. Как здорово он о Никите сказал: «Не в нем, мол, суть». Вот и попробуй после этого понять что-нибудь в политике. И неужто, в самом деле, напрасны были наши усилия и жертвы?»

А в это время один из слушателей незаметно отлучился в смежную палату, чтобы привести и других поглазеть на живого генерала. И через минуту все они тоже окружили нас, во все глаза уставившись на новенького. Теперь-то мы поняли, для кого сегодня прибирали одиночку, пустовавшую больше месяца. Персональная палата для генерала!

А он, прерывая наше замешательство, твердо произнес:

– Ну, довольно, хлопцы! Здесь нет генералов и нет рядовых. Все мы здесь зеки и, как в бане, все равны. Зовите меня по имени-отчеству, а я постараюсь и ваши имена запомнить... Мне, знаете ли, на Лубянке твердили, что я один такой умный нашелся. И что Хрущев на весь мир объявил, что в СССР нет политзеков. А оказывается вон нас сколько! Так вы говорите, что с соседями-бытовиками не общаетесь? Это жаль...

Уж как он выделил среди нас Пашу Едаменко, но только, поднявшись, он пересел вдруг к нему на койку и спросил:

– Я бачу, шо ти мій земляк?

– А ви з яких міст?

И начался их негромкий разговор, а мы с интересом прислушивались к диалогу молодого солдата с бывалым генералом. И я впервые обнаружил, как красиво может звучать эта непривычная для меня речь с ее обилием звуков на «э» и на «ы».

Они не скрывали радости общения на «ридной мове», видно, очень соскучились по родному языку. Позже, в мордовских лагерях, мне не раз пришлось слышать украинскую речь и наслаждаться песнями западных украинцев. Изменилось и мое отношение к этому языку – он уже не казался мне исковерканным русским, наоборот, очень приятным и мелодичным.

А Петр Григорьевич все продолжал расспрашивать.

– Як жэ додумался дээртырувати з армії?

– Тэршіння закінчилось.

– За батьків наперэд подумал?

– А як жэ.

– Жаліешь, шо натворыв?

– Тэпэр чого жаліть... Пізно вжэ...

И чем дольше длился их разговор, тем выше поднимался в наших глазах авторитет генерала и его младшего собеседника. И особенно недепыми казались теперь наши попытки обучения Павла «правильной» речи.

Но загремела входная дверь, и в отделение вкатили тележку с ужином. Разобрав миски, мы принялись за еду. Увидев манную кашу, Петр Григорьевич слегка удивился, а затем, извинившись, удалился со своей порцией к себе в палату.

Записка на волю

Весь вечер никто не решался беспокоить генерала, желая дать ему отдохнуть после трудного дня. А незадолго до отбоя он появился снова и, подойдя к моей койке, попросил заглянуть в его палату.

Лишь тумбочка и кровать умещались этой комнатке с небольшим окном. И там, подойдя ко мне вплотную, он спросил, понизив голос:

– Скажи, Юра, а нет ли какой-нибудь возможности передать весточку на волю?

Я обещал подумать. Потому что был у меня действительно на примете один парень из бытовой зоны по имени Костя, весельчак, заводила и хохмач, осужденный за хулиганство и драку. С такими, как он, в любых условиях не соскучишься.

Находясь в зоне, Костя собирал и записывал в тетрадку частушки и анекдоты. А анекдоты были тогда все больше про Хрущева да про Чапаева. И кто-то настучал про эту тетрадку «куму». После капитального шмона тетрадочку изъяли. Почитали, посмеялись и решили раскрутить ее автора по политике. А он, не веря в серьезность подобного обвинения, только смеялся над ними. И такое поведение выходило, с точки зрения дознавателя, за рамки нормального. Потому что какой же нормальный человек не боится политической статьи? Возможно, именно здесь лежала причина его направления на психиатрическую экспертизу.

Объявили отбой, и все разошлись по своим местам. А я все ждал, когда Костя выйдет в туалет покурить, и там пересказал ему просьбу генерала. Просьбу эту он воспринял с полной серьезностью, а к утру у него уже созрел план. Перед завтраком мы сообщили о нем Петру Григорьевичу. План наш он одобрил и стал готовить свою «ксиву».

А тем временем Костя выпросил взаймы апельсин у одного из соседей, получившего на днях посылку. Получив записку и апельсин, он уединился и ловко заделал эту записку в заморский фрукт. «Нашедшего просьба позвонить по такому-то телефону и сказать: “Петро в Сербском”, – только и было написано на той крошечной бумажке. Информация предназначалась для жены генерала.

Теперь для реализации Костиного плана нужно было уговорить как можно больше народу выйти на прогулку. Мы распространили слух, будто во дворе предстоят соревнования между палатами, и все сразу заинтересовались. Пошли одеваться и те, кто вообще не ходил на прогулки. Стали подбирать прогулочные ботсы, телогрейки и шапки, но тут впервые оказалось, что на всех не хватает, и удивленным санитарам пришлось идти одалживаться в соседнее отделение.

В прогулочном дворике, обнесенном каменным забором с колючей проволокой, люди вяло топтались на снегу в ожидании обещанных соревнований, пока Костя не прокричал на весь двор: «Эй, психи, поиграем в снежки!» Было холодно, и никому не хотелось морозить руки. Но получив пару раз снежком по голове, «потерпевшие» принялись отвечать обидчикам. И уже через пять минут все были по уши в снегу. Наши надзиратели не могли надивиться на своих порою не молодых поднадзорных. Усыпив, таким образом, бдительность персонала, Костя выбрал момент и, вместо снежка, запустил через забор на улицу оранжевый апельсин. Мы напряглись и пристально следили за реакцией санитаров, но ее, к счастью, не последовало.

– А где же соревнования? – дую на замерзшие пальцы, заныл один из молодых.

– Какие тебе соревнования – осадил его Костя. – Ты и так уже весь мокрый. Лучше отряхнись, спортсмен хренов, и дуй в палату, а то простудишься.

Но дело было сделано. Оставалось надеяться, что апельсин не упадет под колеса и что его подберет какой-нибудь порядочный человек. А если ребенок? А если кто-то из сотрудников Сербского? Много было этих «если», но все это от нас уже не зависело...

А после обеда Петр Григорьевич от своего имени написал заявление главному врачу, в котором говорилось о дискриминации и информационной блокаде нашего отделения. Во всех других отделениях имеются радио и газеты, которых лишены мы одни. Он потребовал восстановить равноправие и предупредил, что в противном случае будет вынужден объявить голодовку.

Прочитав заявление, я предложил, чтобы все, кто с ним согласен, тоже поставили свои подписи, но Петр Григорьевич меня остановил. Он сказал, что у подписавших могут быть неприятности, да и не принимаются в советских пенитенциарных учреждениях коллективные жалобы. И отнес свое заявление медсестре. А потом пригласил нас с Костей после ужина в свою каморку, и мы втроем провели там незабываемый вечер.

Расспросив Костю о семье, о жизни, об увлечениях, Петр Григорьевич перешел к главному – к его делу. Он никак не мог взять в толк всю несуразность предъявленных ему обвинений. Но что же все-таки содержалось в той злополучной тетради? Польщенный вниманием генерала, Костя рассказал, как стал записывать наиболее понравившиеся ему анекдоты и частушки и как разделил их для упорядочения тем на двенадцать разделов: про Хрущева, про Чапаева, про мальчика Вовочку, про взаимоотношения полов, про партию, космос и т.д.

Чувствовалось, что Петр Григорьевич впервые находится в обществе простых людей, на свою беду оказавшихся втянутыми в опасную сферу государственной политики. Костя же охотно отозвался на просьбу вспомнить кое-что из своих записей. Память у него была отличная, но он опасался, что не все может понравиться и не все будет правильно воспринято столичными слушателями. И вот, вместо тоскливого вечера, мы получили прекрасную возможность ненадолго отвлечься от окружающей нас мрачной обстановки. Смеялись мы оба, а у Петра Григорьевича порою даже слезы выступили из глаз. И только Костя сохранял полную невозмутимость, отчего смешной анекдот или частушка казались еще смешнее.

Вот кое-что из запомнившегося.

– Вопрос: «Можно ли завернуть в газету слона?»

– «Можно, если там напечатана речь Хрущева».

- За что Хрущеву присудили Нобелевскую премию?
- За то, что сеял пшеницу в Казахстане, а урожаем собирал в Канаде.

В музее революции гид демонстрирует скелет Чапаева.

- А это что за маленький скелетик рядом с ним?
- А это Василий Иванович в детстве.

Или некоторые из Костиных частушек:

Насмешили всю Европу,
показали простоту
столько лет лизали ж...,
оказалось, что не ту.

Наши спутник запустили,
вышел на орбиту.
В него лайку посадили,
надо бы Никиту...

Правда, были и частушки после которых Петр Григорьевич морщился и мрачнел, как, например, после этой:

На задворках, на помойке,
Я ребеночка нашел.
На большой советской стройке
Ему будет хорошо.

Но гораздо чаще наградой Косте служил еле сдерживаемый смех. Сдерживаться приходилось потому, что нам уже сделали замечание за нарушение тишины. А тех, кто жаждал узнать, что это за необычное веселье в одиночной палате, нянька и сестра безжалостно прогоняли.

Возможно, сегодня в ответ на приведенные здесь Костины хохмы кто-нибудь пожмет плечами. Но надо представить себе ту обстановку «Сербского суда» начала шестидесятих и нашу изоляцию от окружающего мира, от родных и близких. Представить всю неопределенность будущего всех троих участников этого импровизированного спектакля, чтобы понять, что значила для нас эта неожиданная психологическая разрядка. И сколько она вдохнула в нас бодрости и сил.

Вечер юмора подходил к концу. У меня уже болел живот от смеха, когда Петр Григорьевич, утирая слезы, спросил:

- Скажи, Костя, а есть ли у тебя какая-нибудь мечта?
- А как же, – встрепенулся тот. – Во-первых, поскорее освободиться. А потом как-нибудь добраться до Парижа, влезть на ихнюю

Эйфелеву башню и прокричать оттуда: «Эй, француженк-и-и-ии!!! Дуры вы все каг'тавые!!!...»

Позже Петр Григорьевич признался, что уже несколько лет так не смеялся, как в тот вечер. А после нашего ухода он долго размышлял над содержанием «криминальной» тетради и пришел к выводу, что если из-за безобидных частушек и анекдотов могли раздуть такое политическое дело, значит, сущность режима несколько не изменилась.

* * *

Следующий день проходил по обычному, заведенному в отделении распорядку: завтрак, вызовы на обследования, прогулка, послеобеденный отдых... Но все это на фоне напряженного ожидания ответа администрации на вчерашний генеральский демарш. Начало смеркаться, а газету так и не принесли. И вдруг, незадолго до ужина, загремели запоры, открылась входная дверь, и кто-то вошел и назвал фамилию Григоренко. Мы насторожились. А вскоре послышался звучный «командирский» голос Петра Григорьевича и в ответ ему чей-то глухой: «Это не положено. И это. И это...». Так прошло минут десять. В чем дело? Уж не хотят ли его в наказание перевести еще куда-то?

Но тут в проеме большой палаты появился сам улыбающийся генерал, с трудом удерживая огромную картонную коробку, и наши опасения в момент рассеялись. Поначалу показалось, что нам в отделение доставили телевизор. Вот теперь мы утрем нос нашим соседям! Все повскакали с мест и уставились на коробку, которую Петр Григорьевич водрузил на обеденный стол. А он, выдержав паузу, объявил с лукавой улыбкой: «А ну-ка, психи, угощайтесь!» И тут мы поняли – апельсин сработал!

Конечно, кто знал про Костину затею, не переставали надеяться, что рано или поздно записка дойдет до адресата, но чтобы так быстро? Всего за сутки?

Много позже выяснилось, что Зинаида Михайловна, жена генерала привезла передачу для мужа на Лубянку, но там ей сообщили, что такой у них не числится. Сообразив, что в Москве есть еще одна гэбэшная тюрьма в Лефортово, она потащилась туда через весь город, но и там получила тот же самый ответ, и это привело ее в отчаяние. Куда же, в конце концов, упрятали мерзавцы дорогого ей человека? Усталая и расстроенная вернулась она домой и стала обдумывать вместе с младшим сыном Андреем дальнейшие свои действия, когда раздался телефонный звонок от... «апельсина». Ура, он жив и невредим, да еще совсем рядом! В каких-то нескольких ста метрах от дома.

Теперь оставалось только добавить вес (в медицинские учреждения принимались передачи в два раза большие, чем в тюрьму – до 10 килограммов) и бегом туда.

После команды «угощайтесь» к столу сбежались все до единого. Поражал и объем «дачки». А когда Петр Григорьевич открыл коробку и стал выкладывать на стол ее содержимое, все ахнули. Чего-чего здесь только не было! Первым явился букет каких-то южных и, наверное, очень дорогих цветов, источавших опьяняющий запах. Потом, вслед за сушками-баранками, мандаринами-апельсинами и разным печеньем на столе стали появляться белая и красная рыба, масло, шпиг, лук с чесноком, палка копченой колбасы, развесные шоколадные конфеты. Последним показался средних размеров ананас. На большом круглом столе не осталось пустого места, и три десятка глаз заворожено смотрели на это богатство, будто сошедшее с прилавков «Березки».

– Да-а, натурально генеральская дачка! – нарушил оцепенение Костик и уничтожающе посмотрел в сторону двух сомневающихся, все никак не желавших поверить, что между нами настоящий генерал.

– Юра, Костя, поделите все это поровну, на всех, – распорядился хозяин этого изобилия, довольный произведенным эффектом, и добавил: – Только чтобы никого не обидеть! А то знаю вас.

– Ну что Вы, Петр Григорьевич, – загалдели в палате. – Если уж угощаете, то давайте по-честному: вам половину и нам половину.

Это предложение поддержали все, кроме самого хозяина.

– Хлопцы, решайте сами, но учтите, мне одному это не слопать. А вы молодые, вам только давай. А мне, старому, много ли надо?

Снова загремели засовы, и в предбанник вкатили тележку с ужином. Чтобы освободить стол, пришлось яства снова сложить в коробку. Но после увиденного ели вяло, без аппетита. Наскоро поклевали больничную кашку, быстро убрали миски и вновь окружили стол. Предстояла дележка.

– Петр Григорьевич, я отказываюсь делить, – пришлось сознаться мне. – Не умею я это, да и ножа нету. А как без него?

– Так. Сколько нас человек? Пятнадцать? Со мной шестнадцать? Слушай мой приказ: ты поступаешь под команду нашего «гранатометчика». Задача – достать нож, вымыть как следует руки и приступить.

– Разрешите выполнять, товарищ генерал? – гаркнул вставший по стойке «смирно» новоиспеченный командир.

– Отставить, Костя! – досадливо отмахнулся Петр Григорьевич. – Еще раз напоминаю, здесь нет ни генералов, ни рядовых. Все равны.

– Так Вы же сами меня назначили.

– Назначил только на время дележа. Все, я вас покидаю. Работайте.

И, взяв букет цветов и прижимая его к груди, он направился в свою одиночку, шепнув мне на ходу, чтобы были внимательнее при дележе на случай обнаружения весточки от родных.

А мы принялись уговаривать сиделку-надсмотрщицу выдать нам нож. Однако без дежурной медсестры она это сделать не могла. Но и медсестра без ведома дежурного врача не решилась доверить ножик «психам». И лишь после его разрешения нам выдали, наконец, закругленный тупой нож, и мы с Костей под присмотром двух женщин, вымыв руки, приступили к работе.

Колбасу, шпиг, рыбу и сыр мы быстро поделили пополам и одну часть положили в коробку, а другую оставили на столе для дальнейшей дележки. Резать эту вкуснятину на пятнадцать частей тупым ножом было сухой мукой, да и обильное слюноотделение мешало этому процессу. Не легче пришлось и с рассыпными продуктами – сушками, печеньем, конфетами. Их надо было пересчитать, поделить пополам и уже половину разделить на пятнадцать частей. То же самое надлежало сделать и с фруктами, луком, чесноком и орешками. Все это заняло немало времени, даже при участии добровольных помощников. Да и невозможно было получить совершенно одинаковые порции при разделе столь разнообразных продуктов. Приходилось идти на ухищрения. Например, меньшую долю чесночины компенсировать дополнительным орешком. Или в порции с крупной луковицей изымать сушку или дольку мандарина. С ананасом же справиться нам было и вовсе не под силу, но тут помогли пришедшие соседские санитары. А наблюдавшей за нами нянечке мы предложили кулек гостинцев для внука. Но она отказалась, быть может, из опасения потерять свое место.

Вернув ей ножик и взяв коробку с долей Петра Григорьевича, я пошел к нему. Он сидел на койке, поставив локти на тумбочку, и смотрел на цветы, стоявшие уже в банке с водой. Несмотря на сумрак в палате, я не мог не заметить глубокой грусти на его лице и даже в самой его позе. И лишь когда я поставил коробку на кровать, он, как бы очнувшись, спросил:

– Ну что, не наткнулись?

– Пока нет.

– Что ж, будем надеяться... Ну, как у вас там?

– Все готово. Ждем вас. Все раздадим по жребью, и – пировать.

Банкет в психотделении

Войдя в ярко освещенную палату, мы увидели, что стол накрыт чистой простыней, закрывая от жадных взоров выложенные на нем яства. Должен напомнить, что из всех пациентов нашего отделения лишь я и Григоренко, два москвича, были арестованы в начале этого года. Все остальные были доставлены издалека и о домашней пище давно забыли. Нельзя не вспомнить также и о пустых прилавках начала шестидесятых годов, когда советская экономика задыхалась под бременем помощи «братским режимам» и соревнования за лидерство в космосе, чтобы понять, что значило для собранных здесь людей наблюдать за дележом невиданных деликатесов.

Увидев нас с Петром Григорьевичем, зажмурившихся на мгновение от яркого света, неугомонный Костик провозгласил:

– Люблю, когда зазвенят ножами и вилками и доложат: «Закуска готова!»

И с этими словами он сдернул «скатерть-самобранку». Перед восхищенными взорами присутствующих предстал стол, разделенный на 15 секторов, в центре которых красовался нарезанный ананас и тот кулек, от которого отказалась наша бабулька. И все это источало невообразимый аромат, так плохо гармонирующий с этими голыми мрачными стенами. Великолепие стола и сияющие лица вывели Петра Григорьевича из задумчивости.

– Ну, братцы, это вы молодцы! Это ж надо так суметь! И сколько же порций у вас получилось?

– Ровно пятнадцать. А то, что в центре, – вам.

– Нет, мне сейчас не до еды. А мы давайте сделаем так: кто найдет «клад», тот мою долю и получит. А я разве кусочек сальца с чесноком попробую.

Как ни старались устроители, но сектора все же отличались друг от друга. В одном лежало румяное яблочко, в другом совсем зеленое. В одном блистала конфетка в заманчивом фантике, в другом ее шоколадная подруга вовсе без фантика. И все с нетерпением ждали, когда же начнется раздача, чтобы, получив свою порцию, вонзить зубы в розовое, с прожилками, сало или, зажмурившись от наслаждения, почувствовать на языке вкус сочащейся осетрины. Глаза разбегались от всего этого изобилия, и каждый решал про себя, с чего начнет.

А тем временем Костю, как старожила отделения, поставили спиной к столу, и Петр Григорьевич, усевшись на табурете и поочередно указывая на тот или другой сектор, спрашивал у «гранатометчика»: «Кому?» И тот, довольный возможностью лишний раз устроить спектакль, выдавал взамен фамилии ехидную характеристику очередного

арестанта, так что сразу было понятно, кому предназначается данная порция.

Вот карандаш в руке Петра Григорьевича ткнулся в ближайший сектор стола, и, обращаясь к стоящему спиной Косте, он спрашивает: «Кому?» И тот после секундного раздумья отвечает:

– Главному храпуну большой палаты!

И немолодой уже толстячок под общий смех неловко пробирается к столу с прихваченным полотенцем и сгребает в него свою долю.

– А это кому? – пряча улыбку, спрашивает наш ведущий.

– Тому, кто ржет по ночам во сне.

К столу подходит нахмуренный парень и, бормоча себе что-то под нос, забирает свою порцию.

– А теперь кому?

– Тому, кто всех больше захребетников настрогал.

К столу подходит дяденька лет под пятьдесят, отец пятерых детей, и, зло глядя в сторону Костика, оправдывается: «Я что ли виноват, что она сразу тройню принесла?»

А Костя только того и ждет:

– А почему свет не гасил, когда работал?

Тихо выругавшись, стахановец семейного фронта бредет с полотенцем к своей кровати.

– Кому? – следует очередной вопрос.

– Тому, кто отморозил яйца в британских водах.

Все покатываются со смеху, а мой сосед, получив свою порцию, шипит: «Посмотрим, что про себя скажешь, умник».

– Постой, Костя! – утирая слезы, говорит Петр Григорьевич. – Ты уж как-нибудь одними фамилиями обходись. А то, я смотрю, на тебя уже обижаются.

– А чего обижаться? Я ж ни про кого не соврал. А если неправда, зачем выходят?

Еще не дождавшиеся своих «характеристик» с завистью смотрят на тех, кто уже приступил к еде. Им тоже не терпится получить свою порцию, только вот чертовски боязно Костиного языка. Какую еще гадость он про них может выдать?

Раздается очередное «Кому?»

– Это «лесному брату». Самую вкусную дайте – дольше всех парится мужик!

– А это?

– Тому, кто дольше всех туалет занимает.

Пауза, но никто не выходит. Костя оборачивается к столу: «Что, мужики? За чем задержка?» Кто-то пытается вытолкнуть деревенского паренька. Тот красен, как рак, яростно сопротивляется, но не выходит.

– Один что ли я там сижу? С такой кормежкой хоть туалет закрывай... Третий день опростаться не могу. Чем я виноват?

– А мы тебе весь ананас скормим, добежать не успеешь! – заботливо успокаивает Костя. – Иди получай и не выеживайся.

– В гробу я видел твой ананас!

– А-на-нас, лапоть!

– Пошел ты знаешь куда! – чуть не плачет парень и под хохот палаты садится назад на свою койку.

Костик окидывает взглядом заметно очистившийся стол, искоса оглядывает своих «жертв», дожидаящихся уготованной им участи, и опять поворачивается спиной к столу, а на очередное «кому» невозмутимо роняет:

– Это выдайте тому подлецу, который призывает казнить на Лобном месте своего крестного Никиту.

Все с интересом смотрят друг на друга, пытаюсь понять, кому адресован этот выпад, а я, выдержав паузу, подхожу и сгребая свою долю на полотенце. «Спасибо, – думаю, – что ограничился только этим, от тебя и не такое можно услышать», и сочувственно смотрю на парня, так и не вышедшего за своим угощением. А он, отвернувшись от всех, тоскливо глядит в окно, быть может, сожалея в душе, что не попал под колеса машины тот перекинутый через забор апельсин.

И снова звучит вопросительное «кому?».

– Эту выдайте доблестному солдату, воевавшему с немцами через двадцать лет после окончания войны.

Поднимается Паша Едаменко и под аплодисменты аккуратно, до последней крошечки, складывает гостинцы на полотенце.

– А из этого сектора прошу выдать тому, под кого на ночь клеенку стелят, – не унимается наш доморощенный сатирик. И озабоченно добавляет: «Матрасов на него, беднягу не напасутся».

– Ты бы за собой последил, урка занюханная! – бесится молодой солдатик. – Тебя бы так погранцы отделали. Одной кровью ссал бы...

– Не журишь, Колюня. Сочувствую, но мы же сегодня шутим...

Но вот и последний сектор, очевидно, Костин, и он, повернувшись, уверенно направляется к столу. Но Петр Григорьевич его останавливает, требуя сказать что-нибудь и о себе.

– Правильно! – галдят все вокруг. – Пусть и себя нарисует, юморист долбаный!

Чего-чего, а этого от народа Костик не ожидал и попытался поскорей смахнуть свою порцию в подол куртки. Но ему не дали.

– Тебя слушаем. Ты правду любишь – вот давай гони ее!

– Ну что мне сказать о себе, дорогие мои друзья-арестанты? Кроме хорошего вроде бы нечего.

– Как нечего? А кто у нас курево каждый день стреляет? Кто своим трепом после отбоя спать не дает? Давай, давай, признавайся!

– Братцы, как же я от вас устал! Неужто вам хотелось бы, чтоб ни одного порядочного человека не осталось в отделении? Так пусть им буду я, – скромно охарактеризовал себя наш распорядитель и поспешил очистить предназначенный ему сектор стола.

Так закончился этот спектакль, предварявший наш тюремный банкет. За этот час Петр Григорьевич успел более-менее познакомиться с каждым из своих новых товарищей по неволе. А невестребованную порцию он самолично отнес деревенскому пареньку и попросил ни на кого не обижаться.

– Ты пойми, сынок, мы все здесь под двойным следствием, нервы у всех напряжены, недолго и сорваться. Разве Костя над одним тобой трунил? Да над всеми. Счастье мое, что я не попал к нему на язычок. Уж он бы, поганец, и меня, старика, не пощадил бы.

– А че он, – дуется пострадавший.

– Все. Кончай дуться. Титан уже закипел, бери кружку и угощайся.

Кому хватило места, подсели к столу, где по-прежнему возвышался разрезанный ананас. Разделить его на шестнадцать долей не смогли даже санитары со своим острым ножом. А потому решили оставить его на загладку. Разложив деликатесы, каждый стремился угостить Петра Григорьевича из своей доли. Жевали, улыбались, подшучивая друг над другом.

– Ну и жена у Вас, Петр Григорьевич! Какой же она молодец!

– Да, жена у меня замечательная. Трудно ей с сыновьями без меня.

– А сколько сыновей?

– Вы не поверите, но их пятеро.

– И ни одной девки?

– Ни одной.

– Вот это да... Учись, Семеныч! (Это тому, который пятерых «настрогал».)

... Да, был он нам не чета, этот человек, выделявшийся среди всех присутствующих не только возрастом, званием, эрудицией, но и необычной для своего возраста выправкой, и какой-то подкупающей порядочностью, и... добрыми глазами. И все это так не вязалось с его шутовской большой одеждой, которую, словно в издевку, напялили на него в отделении.

Но тут Петр Григорьевич попросил тишины и обратился к пирующим:

– Друзья, мне радостно сознавать, что и в условиях несвободы случаются такие чудесные вечера. Благодарю всех вас за помощь. Без нее мы не сидели бы сейчас одной семьей. Поблагодарим же и жену мою, Зинаиду Михайловну, сумевшую передать нам столько вкусного. Спасибо и тому порядочному человеку, который ей позвонил. А теперь давайте поторопимся, а то скоро «отбой». И постарайтесь не проглотить записку, если она вдруг кому попадет. Приятного аппетита, хлопцы!

До самого отбоя продолжался пир, сопровождавшийся веселыми воспоминаниями из прошлой жизни, анекдотами, смехом.

– Эх, одного не хватило в этой коробке! – мечтательно произнес Костик.

– Это какого же рожна горячего тебе, наглецу, не хватило?

– Бутылочки доброго винца! Уж я бы поделил бы его «поровну»!

– И сигарет хороших! – крикнули с койки.

– И журнальчиков с девочками!

– А пару гранат, чтобы отвалить отсюда, не хотелось бы?

И пошло-поехало запредельное зековское воображение... Но на «ксиву» так никто и не наткнулся. Ананас же, к немалому удивлению горожан, несколько сельчан даже не захотели попробовать. Им и без него хватило невиданных до сих пор деликатесов.

Голодовка

На следующий день во время обхода мы заявили, что если генералу Григоренко не сменят пижамный костюм, мы затолкаем свои пижамы под койки и станем ходить в нижнем белье. Вернувшись после прогулки, мы снова не обнаружили газет. А когда привезли обед, Петр Григорьевич от него отказался и объявил, что начинает голодовку. А несколько минут спустя появилась завхоз со стопкой свежесглаженных пижам, и он ушел к себе переодеваться.

Он вышел в почти новой пижаме, которая на этот раз была в полном соответствии с его ростом и комплекцией. Теперь он выглядел совсем по-другому, но радости в его лице я не заметил. Увидев меня, попросил зайти к нему в палату, и, когда мы остались одни, сказал, чтобы я забрал коробку с оставшейся частью передачи в общее пользование.

С тяжелым сердцем выполнил я эту просьбу. Завернув коробку в простыню, я поставил ее к себе под кровать. А в отделении повисла напряженная тишина. Все лежали на своих койках и молчали. Ужин прошел в подавленной обстановке, совсем не похожей на вчерашнюю.

Мы переживали за генерала, но нарушить его одиночество не решились. Незадолго до отбоя я не выдержал и постучался к нему в дверь.

– Заходи, Юрок! – услышал я за дверью.

Вошел, присев на край койки. С минуту помолчали.

– Как Вы догадались, Петр Григорьевич, что это я?

– Не знаю... Возможно, интуиция.

– Простите, но мы не хотели вас беспокоить. А я, вот, набрался наглости.

– И правильно делали, что не беспокоили. И что пришел, хорошо.

Осмелев, я открыл тумбочку и положил туда два завернутые в бумажку кусочка сахара. На его недоуменный взгляд прошептал:

– Петр Григорьевич, я Вас очень прошу, выпейте с водичкой этот сахар. Он вас поддержит. Клянусь, об этом не узнает ни одна душа.

Прошло сорок лет с того момента, но и сегодня не могу вспоминать о нем без стыда. И как мог я, болван, предложить ему такое? Ведь это же был совсем другой человек, совершенно не похожий на всех, с кем мне доводилось до тех пор иметь дело.

Он посмотрел на меня так, как, вероятно, смотрит боевой командир на прощтрафившегося подчиненного, провалившего ответственную операцию. И сейчас, когда пишу эти строки, вижу этот его холодный, уничтожающий взгляд.

– Уж от кого-кого мог я ожидать такое, только не от тебя. За кого же ты меня принимаешь? И как тебе могло это войти в голову? Немедленно забери сахар! Эх ты, а еще политзек...

Я схватил кулек и хотел немедленно выйти, скрыться с глаз долой, чтобы только не видеть этого взгляда. Но все-таки продолжал сидеть, уставившись в пол. Уши пылали от стыда, а сахар жег руку.

И тут Петр Григорьевич тихо заговорил:

– Меня от вас могут скоро перевести. Судьба наша на ближайшее будущее неизвестна. Может быть, ты раньше выйдешь на свободу и сумеешь связаться с моей семьей. Запомни на всякий случай адрес жены и сына Андрея. Надеюсь, что он на свободе. Итак, запомни: Комсомольский проспект 14, квартира 96. Мы москвичи, и нашим женам легче будет пережить это время вместе. Запомнил адрес? Повтори.

Я повторил и встал, чтобы идти, но на пороге он меня окликнул:

– А передачу доедайте поскорей – иначе испортится! И не забудьте про эту, как ее... ксиву.

Уж больно хотелось ему узнать от жены что-то важное. Скорей всего, как и мне: кто еще арестован по его делу.

Авторитет старого генерала рос среди нас с каждым днем, и медперсоналу было приказано пресекать наши контакты с Григоренко. Жизнь в отделении, между тем, вошла в старое русло. Одних, кто прошел экспертизу, увозили, на освободившиеся места селили новеньких.

А на третьи сутки, наконец, принесли газету! Хотя и «Правду», но самый свежий номер. Было начало апреля, и я не держал в руках газет с самого Нового года. Три месяца полнейшей изоляции от всех и вся! Это тоже было своего рода пыткой. И вот она, первая информационная ласточка! Я схватил ее и, убедившись, что она сегодняшняя, пересилил собственное нетерпение и бросился в одиночку. За мной последовали еще с десятков ребят. Петр Григорьевич лежал на койке читал книгу. Увидев нас, заполонивших его крошечную комнатку, удивленно приподнялся:

– Что-то случилось?

– Случилась победа, Петр Григорьевич! Ваша победа!

И достав из-за спины газету, мы торжественно вручили ему ее. Он улыбнулся, подержал в руках, как бы взвешивая, а потом снова прилег и произнес с горьким вздохом:

– Поразительно. Каждую мелочь у них надо зубами выгрызать...

Оставив его наедине с «Правдой» – неразлучной спутницей всей его жизни, – мы потихоньку вышли. Вскоре нас повели на прогулку, а, вернувшись, мы застали его все еще читающим. Перед самым обедом, шаркая шлепанцами, он вошел в большую палату и, обведя всех медленным взглядом, положил газету на стол.

– Пока, хлопцы, все остается по-прежнему. Не изменилось ни-че-го.

Вид его на этот раз мне не понравился. Несмотря на новую пижаму, он казался бледнее обычного и выглядел словно бы постаревшим. Не было того огонька в глазах, которым они светились еще недавно при получении передачи и розыгрыше «призов».

Принесли обед, и мы с радостью посмотрели вслед генералу, уходящему с миской супа. К хлебу он не притронулся. И все же это был лучик света в темном царстве нашего бытия. Появилась газета – голодовка прекратилась!

«Ленинский» семинар

После обеда многие стали изучать газету, словно какую-то диковину. Мне тоже не терпелось ее заполучить, но чтобы ознакомиться доскональней, я решил, что буду читать после всех.

И вот я держу ее в руках, ненавистную мне обычно «Правду», но на этот раз такую желанную. Как и всегда, впереди тошнотная передровица. Успехи тружеников села, досрочное выполнение планов, вести с областных партконференций. Очередная поездка дорогого и любимого Никиты Сергеевича. Выступление Громыко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Заметки о счастливой жизни в странах народной демократии и прочая подобная муть. И, конечно, отклики зарубежной прессы на очередную болтологию нашего «вождя». Через две недели ожидалось 70-летие Хрущева, и вся страна готовилась отметить это событие.

Так же, как и в тюрьме, мы могли заказывать книги, но выбор их был очень беден. Петр Григорьевич выписал себе два тома Ленина и учебник со словарем немецкого языка. А однажды вдруг предложил провести семинар по марксизму-ленинизму! Желающие, как ни странно, нашлись, и после прогулки несколько человек, расположившись в большой палате за столом, приготовились слушать.

Поначалу мне показалось, что генерал, еще недавно возглавлявший кафедру в военной академии, просто соскучился по преподавательской работе и, чтобы не терять квалификации, решил немного попрактиковаться. Из кого же состояла его аудитория? Кроме молодого бухгалтера из Калининграда пришло еще несколько молодых ребят, старшим среди которых был я. Кроме бухгалтера, никто из нас не имел за плечами сколько-нибудь серьезного образования, хотя тяга к знаниям, по-видимому, ощущалась.

Во многих семьях, в том числе и моей, книжные полки, при всей их тесноте, занимали многотомные собрания Ленина и Сталина, и поневоле, больше из любопытства, я заглядывал в сочинения этих корифеев, не вдаваясь особенно в их смысл. Тем не менее, воспитываясь в семье просоветски настроенных родителей, я еще со школы возненавидел Сталина, но продолжал преклоняться перед «дедушкой Ильичом», считая беспредел «культы личности» следствием болезни и преждевременной смерти Ленина, который никогда ничего подобного бы не допустил. Одна из трех моих листовок заканчивалась словами: «Да здравствует свобода и счастье советского народа, как завещал нам великий Ленин!» А узнав, что Петр Григорьевич организовал и возглавил «Союз борьбы за возрождение ленинизма», я подумал, что вступил бы в него не задумываясь, поскольку тоже считал отход от ленинизма причиной всех наших бед.

И тут мне вспомнилось, как года два назад наш сосед по квартире, подполковник, заведующий военной кафедрой МАДИ, рассказывал, как какой-то генерал на партийной конференции прямо с трибуны

стал резать правду-матку в глаза большому начальству, а вскоре затем куда-то исчез. Я решил спросить об этом нашего лектора, не знает ли он случайно о дальнейшей судьбе того генерала.

– Генерала этого я знаю, – отвечал он, – а вот судьба его неизвестна, так как сейчас он в Сербском (!)

Больше вопросов не было, и Петр Григорьевич приступил к занятиям, для начала предложив нам познакомиться с работой Ленина «Государство и революция». Он рассказал, что Ленин работал над этой вещью в Разливе, скрываясь от агентов Временного правительства, всего за несколько месяцев до Октябрьского переворота. Слушать его было интересно, потому что рассказчик он был замечательный. Просто и доходчиво объяснял малопонятные места из книги, обращал наше внимание на особенно важные, с его точки зрения, моменты. По-моему, увлечены были все, а мне так даже захотелось вести конспект, для чего нужно было сначала разжиться карандашом и бумагой, которые нам, психам, были не положены. Но вспомнив, где я нахожусь, я отказался от этой затеи, поскольку по возвращении в Лефортово мои записи все равно были бы отобраны и легли на стол следователя.

Во все время беседы в палате стояла необычная тишина. Не было ни шума, ни хождений, ни смешков, хотя повода для них, казалось, было достаточно. Куда уж больше: психов приобщают к основам марксизма. Но, видно, таково было влияние генерала на окружающих, а его спокойный и твердый голос так овладел всей палатой, что она без возражений признала за ним право на эту «просветительскую миссию». Хотя, как стало ясно позднее, его заботило не столько наше идеологическое невежество, сколько хотелось научить нас думать, самостоятельно понимать и оценивать окружающее, сверяя (пусть и по Ленину) пустопорожние слова и лозунги с реальными делами и поступками.

Разумеется, не бывало еще в истории Сербского подобных мероприятий, и об этом сейчас же было доложено врачу Маргарите Феликсовне Тальце. Эта дама с узким лицом и тонкими, в ниточку, губами чем-то напоминала «железного Феликса», и по отделению даже ходил слухок, будто она побочная дочь Дзержинского. Мне казалось, что она люто ненавидит Петра Григорьевича и, где только можно, старается ему навредить. Так, когда он обратился к ней с просьбой выдать ему карандаши и бумагу, она ему отказала. А после его замечания, что даже Ленину разрешали в царской тюрьме ручку и чернила, записала в истории болезни: «...сравнивает себя с Лениным».

К сожалению, этот наш семинар (а кроме него проводилась еще и коллективная читка «Правды», которую, чтобы как-то прекратить эту самодеятельность, стали поскорей забирать, якобы для пациентов других отделений) просуществовал недолго. Григоренко, может и умышленно, начали подолгу задерживать на обследованиях. Да и меня, в нарушение всех законов, без конца тягали к приезжавшему сюда следователю. Кроме бесконечных допросов, он заставлял меня еще писать диктанты для почерковедческой экспертизы. А мой подельник Борис Хасянов, как я узнал от него впоследствии, изнывал в это время в своей лефортовской одиночке, не догадываясь, что его «паровоз» уже месяц находится на обследовании в институте судебной психиатрии. Услыхав об этом, он очень долго смеялся.

Напоследок хотелось бы сказать еще пару слов о «Государстве и революции». Оказавшись в мордовских лагерях, я узнал об одном питерском парне, который, закупив штук двадцать экземпляров этой брошюры, подчеркнул в ней красным карандашом все наиболее примечательные на его взгляд места и стал раздавать книжку рабочим у проходной Кировского (Путиловского) завода. За это он был арестован и осужден на три года. Ума не приложу, по какой статье? Неужели по нашей, семидесятой, – за антисоветскую пропаганду и агитацию? Как же точно было кем-то однажды сказано: «Отсутствие у вас судимости – не ваша заслуга, а недоработка системы».

Последняя неделя и возвращение в Лефортово

Все, что не подвергалось порче (шпиг, чеснок, сахар), мы после голодовки перенесли в тумбочку одиночки и следили за тем, чтобы генерал про это не забывал. А по вечерам «расслаблялись» как могли. Молодость есть молодость, она способна сохранять веселость даже в самых малоподходящих условиях. Смеялись над анекдотами, показывали друг другу приемы борьбы или фокусы. Иногда на шум приходил и Петр Григорьевич, отложив свои «умные» книги.

Особенно запомнился вечер накануне выписки Костика. Он, как и обычно, был гвоздем программы. В тот вечер он с кем-то поспорил на стакан компота, что за несколько минут снимет с любого нательную рубашку, не снимая пижамы. Для этого ему требовался ассистент, но на эту роль никто не соглашался, опасаясь с его стороны очередного подвоха. И все же ему удалось «уболтать» свежеступившего сельского пацана. Этот парень с грустными, как у коровы, глазами купился на обещанную Костей пачку «Примы». В уголовной среде, особенно в следственных изоляторах или на пересылках, фокусы с

картами, спичками, незаметным вытаскиванием из карманов кошельков обычное явление. Здесь же публика собралась еще не искушенная, и подобное ей было в диковинку.

Костя вывел ничего не подозревающего ассистента на середину палаты и объявил:

– Уважаемые арестанты! Только для вас и только сегодня напоследок показываю трюк, которым, при желании, вы сможете в тяжелую для себя минуту заработать на кусок хлеба.

Люди со всех сторон стали подтягиваться к фокуснику. Паренек же, увидев себя в центре внимания, покраснел и, видимо струхнув, попытался смыться. Но Костя удержал его за руку, шепнув: «Не дрейфь, фраерок. Больно не будет, сухой буду...»

– Итак, прошу тишины, – провозгласил он. – А Вы, Петр Григорьевич, следите особенно внимательно. Вам это тоже может пригодиться.

Костик попросил ассистента раскинуть руки в сторону на ширину плеч. Тот покорно выполнил это и стал ждать какого-то подвоха. «Факир» не спеша сделал круг, внимательно разглядывая при этом парня, словно цыган на базаре при покупке лошади. Потом обошел еще раз. Никакого действия пока что не было, но зрители уже покатывались от смеха. Да и как было не смеяться, глядя на деревенского парня, стоящего в центре круга с расставленными, как у огородного пугала, руками и напряженно следящего за поведением хитроумного чудесника.

Сделав несколько пассов перед лицом «пугала», Костя расстегнул пуговицы на его нижней рубашке, а свои рукава засучил выше локтя. После этого, крепко вцепившись обеими руками в левый рукав рубашки ассистента, он стал сильно тянуть ее на себя. Бедный парень качался, но добросовестно держал руки на уровне плеч. А Костя все тянул и тянул на себя его рукав. Подол рубахи выскользнул из-под пижамы и прикрыл половину лица «подопытного». Его глаза, полные слез, со страхом следили за мучителем. Наверное, он проклинал себя за слабость, что купился на эту чертову пачку сигарет на потеху всему отделению.

А в палате творилось что-то невообразимое. Зрители хохотали до слез и буквально катались на своих койках. Даже наши надзирательницы зашли поглядеть, что там вытворяют психи. Но вот Костя сделал последнее усилие и, наконец, велел жертве опустить руки. Тот с радостью это выполнил. Настушила полная тишина – все замерли. Рубаха ассистента обвивала его шею, а он стоял и хлопал глазами, не понимая, почему стало так тихо. И в этой тишине «факир», гром-

ко произнесся какое-то магическое заклинание, подошел к нему уже с другой стороны и глубоко просунул свою руку в правый рукав его пижамы. И через мгновение вся рубашка была уже у него в руках. Мы ахнули... Как это? А он победно размахивал над собой своим трофеем, тогда как его ассистент недоуменно разглядывал под пижамой свою голую грудь.

Раздались аплодисменты. Косте жали руку, поздравляли. А Петр Григорьевич, утирая слезы, обнял его и поблагодарил: «Ну, Костик, и уморил же ты нас! Спасибо».

И довольный Костя, зная, что завтра его увезут, и пользуясь редким к себе благорасположением, объявил: «Братья-славяне, неужели вы позволите моему помощнику умереть без курева? Скиньтесь, кто сколько может... А я ведь еще и кальсоны могу стянуть, не снимая брюк. Есть желающие?»

* * *

Наступил апрель, и моя экспертиза закончилась. Я снова в Лефортово. После светлых и шумных палат «Сербского» камера оказалась каменным мешком, а одиночество невыносимым. Но человек, как известно, привыкает ко всему... Вскоре следователь уведомил меня, что я признан вменяемым и могу отвечать за содеянное, а, следовательно, меня будут судить. Вспомнился разговор с Петром Григорьевичем, сказавшим, что меня, рабочего человека, наверняка пошлют в лагерь, а вот его скорей всего упрячут в психушку.

Этого я никак не мог себе представить. Разве можно его, боевого офицера, преподавателя академии, энциклопедически образованного и совершенно психически здорового человека бросить к маньякам и дебилам? В тишине лефортовской камеры я постоянно вспоминал этого необыкновенного генерала. Что он теперь делает, где находится? До «Сербского» его держали на Лубянке, может быть, и сейчас он там?

И вот однажды в солнечный день Первомая мы с сокамерником, придя с прогулки и прислушиваясь к доносящемуся к нам из коридора звяканью бачков с праздничным обедом, вдруг услышали, как тишину многокорпусного изолятора с замечательной акустикой взорвал громкий голос какого-то человека. Его должны были слышать обитатели всех до единой камер: «Товарищи! Поздравляю вас с празд...». Но тут послышалась короткая возня, и все смолкло, уступив место обычной тюремной тишине, нарушаемой только хлопаньем кормушек да звоном половника о миски.

Не узнать этот голос было невозможно. Это его, Петра Григорьевича, ни на кого не похожий голос. Значит, он здесь! Значит, он ошибся, и его, как и меня, признали психически здоровым. Ура, он здесь, и, значит, мы даже можем попасть в один с ним лагерь! Этот Первомай в самом деле стал для меня по-настоящему праздничным. Я обнял своего соседа-валютчика, закружился с ним, забыв даже про открытую кормушку с привезенным обедом. А потом до вечера рассказывал ему, какой это смелый, добрый и умный человек, хотя и коммунист, и генерал, но совершенно не похожий на обычного советского генерала.

* * *

А через две недели нас с моим поделником Борисом Хасяновым судил московский городской суд. Всего два дня при совершенно пустом зале. Мы получили на двоих «десятку» строгого режима и стали ждать этапа. В июне нам дали свидание с женами. Перед самым свиданием мелким почерком я написал записочку, в которой просил жену зайти на Комсомольский проспект к жене генерала, чтобы познакомиться и по мере сил помогать друг другу. Записку скатал в комок и сунул за щеку.

Свидание проходило в кабинете следователя в присутствии его хозяина и надзирателя. Оно было очень коротким, и мы не успели как следует наглядеться после полугодовой разлуки. Общие фразы о здоровье, о сынишке, и вот уже велят прощаться. Мы потянулись через стол для прощального поцелуя, во время которого я попытался протолкнуть спрятанный за щекой комок в рот жене. Но, видимо, от неожиданности она выронила его на стол. Мокрый шарик тут же подхватил надзиратель и передал следователю. Тот аккуратно его развернул, разгладил и стал читать. А, прочтя, со злорадством произнес:

– Нехорошо, Юрий Леонидович, нарушать правила СИЗО. А Григоренко-то вам зачем? Он же сумасшедший...

– Всем бы быть такими сумасшедшими, – буркнул я упавшим голосом и укоризненно посмотрел на ничего не понимающую Сою, сидевшую напротив с полными слез глазами.

И только по пути в камеру я вдруг понял, что это могло значить. Петра Григорьевича таки признали «психом»! Он и тут оказался прав. И каким неопытным и наивным в который уже раз оказался я сам.

* * *

На наше счастье Хрущева скинули той же осенью, но увидеться мы смогли лишь через два с половиной года. Когда я вернулся в Мо-

скву и пришел по записанному у меня адресу на Комсомольский проспект, то долго стоял перед дверью квартиры, моля Бога, чтобы генерал оказался дома. Дверь открыл молодой парень в очках. Волнуясь, я спросил его, можно ли увидеть Петра Григорьевича.

– Сейчас нельзя, – ответил он. – Да вы проходите. Он вышел в магазин за картошкой, скоро вернется.

Мы познакомились. Им оказался младший сын Григоренко Андрей.

Так началась наша дружба семьями, которая длилась два десятилетия. А умер Петр Григорьевич в 1987 году почти одновременно с моим сыном...

МЫ РАССТАЛИСЬ НЕ ДРУЗЬЯМИ – БРАТЬЯМИ⁷⁰

...Теперь я стал чаще бывать в Москве. Как инвалиду войны железнодорожный билет мне стоил в два раза дешевле. К тому же в отдельной кассе для инвалидов войны его не трудно было купить. Это было весьма значительным облегчением, которым я охотно пользовался. Было чрезвычайно удобно в девять вечера занять место в купейном вагоне, а на следующее утро проснуться в Москве. Неподалеку от метро «Сокольники» у нашей приятельницы, сочувствовавшей диссидентам, была неплохая квартира, где я всегда был желанным гостем.

Конечно, я замечал, что в наше купе всегда подсаживали «сопровождающих», но мы с Райсой так к этому привыкли, что просто не обращали на них внимания. Наверняка можно было бы и не тратить государственных денег на такое банальное сопровождение, но советская финансовая система базировалась на том, что бюджетные ассигнования обязательно надлежало потратить – иначе на следующий год будет запланировано меньше на столько, на сколько ты не сумел реализовать в этом году.

В один из таких приездов я позвонил по телефону жене Петра Григоренко – человеку, чей голос мне был хорошо знаком по ее радиовыступлениям в защиту мужа. Зинаида Михайловна пригласила меня домой, накормила обедом, а через час мы уже ехали в больницу, где находился Петро Григорович. Он страдал диабетом и жил на инсулине. Время от времени ему приходилось проходить курс лечения.

Дорогой пытался вспомнить все, что я знал об этом неординарном, всемирно известном человеке. Кадровый военный, который во время Второй мировой войны командовал дивизией. И вот неожиданность: после войны возглавил кафедру кибернетики в военной академии имени Фрунзе. Это была самая первая кибернетическая кафедра в Советском Союзе. Почему она создана именно в военной академии – вполне понятно. Но не понятно, как мог ее возглавить вчерашний комдив. Где он набрал знаний для такой работы? Однако ученые, с которыми я достаточно близко общался (Гурчин, Орлов, Твердохлебов и другие), признавали в крамольном генерале почтенного научного работника. Я мог бы назвать еще и Сахарова, но, как я уже писал,

⁷⁰ Перевод с украинского Андрея Григоренко.

к Андрею Дмитриевичу я ходил не часто и не был с ним, что называется, запанибрата. Однако мне хорошо известно, что легендарный академик высоко уважал и любил Григоренко. Они действительно были близки, и им было о чем поговорить. Уже это свидетельствовало о глубоком уме и богатой эрудиции Петра Григоровича.

Общеизвестно, что значительное место в его правозащитной деятельности занимала борьба за возвращение крымских татар на свою историческую родину – в благословенный, и, может быть поэтому, обделенный судьбой Крым. Как-то в разговоре со мной один украинский писатель заметил: – Не понимаю Григоренко. Страдать в психушках... И за кого? Разве не их предки из поколения в поколение разорвали Украину? Мне кажется, здесь действительно есть что-то ненормальное. Отдавать жизнь за врагов – это чистый абсурд.

Это был отнюдь не рядовой писатель, а один из тех, чье творчество изучали украинские школьники. Мне было стыдно за этого увенчанного государственными лаврами мужа. Ничего более примитивного и более банального, чем проповедь коллективной ответственности потомков за действия предков, я не знаю – думаю, что это не что иное, как обыкновенный фашизм. По крайней мере то, что делал с крымскими татарами Сталин и его приемники и против чего так мужественно восстал генерал Григоренко, на другое название не имеет права.

Достаточно часто это делалось будто бы ради того, чтобы восстановить историческую справедливость по отношению к украинскому народу. Можно утверждать, что и Крым был «подарен» Украине ради того, чтобы переложить на ее плечи ответственность за геноцид против крымских татар. Эта операция выглядела как достаточно выгодная акция: «подарок» ничего не менял, потому что был чисто условным. Зато ходатайства крымских татар относительно возвращения из Средней Азии на родную землю теперь надлежало адресовать не в Москву, а в Киев, откуда поступал такой же ответ, как и из имперской столицы: «Отказать». В глазах человечества и особенно в глазах обездоленных татар-крымчаков⁷¹ это преступление ложилось позором не столько на империю, сколько на украинский народ.

В человеческой истории время от времени возникают ситуации, когда подвиг Христа приходится повторять почти буквально: идти на

⁷¹ Руденко применяет здесь термин, который смешивает в одну кучу две этнорелигиозные общины – крымско-татарскую и крымчакскую. Обе общины уникальны, и хотя и говорят на одном и том же языке, но исповедуют разные религии: первые – ислам, а вторые – иудаизм. Судьбы и той и другой общины трагичны – крымские татары были поставлены на грань уничтожения, а крымчаки были практически полностью уничтожены нацистами. – *Примеч. А. Г.*

мучения, чтобы снять с собственного народа грех геноцида – на этот раз против народа татарского. В действительности украинский народ не имел такого греха – это всем хорошо известно. Но колониальная администрация действовала от его имени – и, видимо, этим можно объяснить, что молодежь татарской диаспоры, трагически воспринимавшая гибель тысяч и тысяч своих соотечественников, поневоле прониклась ненавистью ко всему украинскому. И тут явился украинский Мессия, который искупил чистое, непорочное имя Украины-страдалницы от лицемерно взваленного на нее греха. Годы и годы пришлось ему провести среди действительно психически больных, испытать на себе истязания продажных психиатров – истязания, которые мало чем отличались от голгофских.

Сам Григоренко никогда о себе так не скажет (вернее, даже не подумает), но на его плече будет всегда лежать длань Христа – и этого даже он отрицать не сможет. Генерал, которому пришлось прожить с юных лет вплоть до старости среди ледяной пустыни большевистского атеизма, действительно по-апостольски почувствует на себе эту руку. В отличие от Сахарова, который до конца своих дней остался агностиком, Петро Григорович стал верным христианином. Он дружил со священниками, а в эмиграции с митрополитом Мстиславом⁷² и другими деятелями Украинской Автокефальной Православной Церкви и похоронен под церковными стенами в Баунд-Бруке (США), месте, ставшем для диаспоры своего рода украинским Иерусалимом.

В больничном холле Зинаида Михайловна свела нас с Петром Григорович и сразу же уехала домой – по-видимому, так у них было условлено. Передо мной стоял высокий, худощавый мужчина с выбритым черепом. Ему тогда было около семидесяти лет. Зеленая полосатая пижама не могла скрыть, что он стоял не на ровных, а на немного согнутых ногах – согнутых годами, пытками и болезнью. Плечи также были ссутулены, будто на них лежала невидимая ноша. Особенное впечатление оставляло его лицо: оно было открыто, светилося доверием к людям и непобедимой добротой. Такая доброта не знает ненависти даже тогда, когда наталкивается на враждебность – она только обрастает болезненной скорбью, глубокой печалью по поводу того, что мир несвободен от зла. И никогда эта доброта, не умирает – даже тогда, когда умирает сам человек. Но и тогда она прорывается сквозь его дела и свершения.

Была и еще одна особенность в лице Петра Григорович: очертание губ, в котором угадывалось что-то вечно детское. По-видимому,

⁷² Патриархом всея Украины-Руси Мстиславом I. – *Примеч. А. Г.*

та чистота души, из которой рождается человек – действительно детская непорочность, которую впоследствии до дна изничтожает жизнь, слишком уж неприспособленная к бесхитростной открытости. И только вечный Дон-Кихот умудряется пронести непорочное ребячество характера через всю жизнь. Умея, когда нужно, быть твердым, он сразу же сбрасывает доспехи, если видит перед собой друга.

Именно таким предстал Петро Григорович во время той встречи со мной. Ему уже обо мне рассказывали друзья (Оксана Мешко, Валентин Турчин), и он видел во мне младшего брата. По возрасту он и в самом деле был ровесником моего брата Григория. Война выровняла нас в возрастном смысле, формируя из нас полки и дивизии – то есть, в сущности, причисляя к одному поколению.

– Неужели вы и в самом деле отдали компартии тридцать пять лет? – спросил он, весь как бы лучась своей удивительной добротой. – Где же вы их набрали? Это почти столько же, сколько отдал ей я.

– Нетрудно посчитать: с тридцать девятого по семьдесят четвертый.

– Выходит, Вы вступили в партию еще на школьной скамье?

– Так оно в самом деле и произошло. Приняли сразу, как только мне исполнилось восемнадцать лет. Принимали в соответствии с новым уставом. Как бы обновляли его моей персоной.

Петро Григорович сидел на больничном диване, колени согнутых ног были подняты выше пояса. Я сидел рядом в достаточно удобном кресле. Мы так быстро сблизились – без какой-либо скованности, без предварительного прощупывания друг друга, – как это случается лишь с людьми одной судьбы. Петро Григорович рассказал, как попала к нему первая часть моих «Экономических монологов».

– Отец Дудко все оценивает с евангельских позиций. Он находит в вашем труде подтверждение христианских истин.

– Интересно. Но для этого религиозные притчи и мифы нужно читать не буквально. При буквальном чтении такого родства заметить нельзя.

– Он умеет мыслить. Я вас когда-нибудь познакомлю. Ну, а я... Я, знаете, на протяжении жизни шесть раз изучал «Капитал»... От начала и до самого конца... Хотелось проникнуть в суть. Но мне этого так и не удалось. И только после того, когда Вы мне показали последнюю страницу «Капитала» – там, где Маркс выводит абсолютную прибавочную стоимость из естественного плодородия земли... А она же существует – эта страница! Собственно, целый раздел... Когда я это у Вас прочитал, сразу же поспешил к книжной полке. Не верилось, что такое может существовать. Это же напрочь ликвидирует все то, что писал Маркс на тысяче предыдущих страниц. Как этого могли

не видеть другие?.. Извините, но Вы здесь выступаете в роли мальчика, который провозгласил: «А король же голый!»

– Думаю, Вознесенский это также увидел. И именно за это был уничтожен Сталиным.

– Вы об этом пишете в «Монологах». Не знаю. Может, и в самом деле так оно и было. Но документально этого подтвердить пока невозможно. Следовательно, роль андерсеновского мальчика по праву принадлежит персонально Вам.

Григоренко говорил это с дружеской улыбкой, дабы избежать высокопарности. Затем перешел на серьезный тон.

– Мне бы хотелось написать предисловие к Вашим «Монологам». Мы с Сахаровым говорили на эту тему. Он мне объяснил, почему прекратил работу над предисловием. Для этого следовало сесть за изучение Маркса. Он его никогда по-настоящему не изучал... И знаете, когда я ему объяснил, что в Вашем труде нет никаких передергиваний, то он аж засиял от радости. Но, поверив в «солнечное» происхождение прибавочной стоимости, он все же испытывает сомнения – а не передергиваете ли Вы Маркса? А проверить это у него не было возможности. Но он не жалеет, что выступил в качестве консультанта в труде, который этого достоин.

Я догадывался о сомнениях Сахарова. Именно поэтому и не обременял его совести своими визитами. Интуиция подсказывала, что между нами должна существовать определенная дистанция. Теперь мне очень приятно было узнать, что все сомнения исчезли.

Я искренне поблагодарил Петра Григоровича за его предложение относительно предисловия к «Монологам». Он прочил моему труду большое будущее. Но не ошибался ли он? Прощались мы не просто друзьями – братьями.

О встречах с Григоренко я мог бы рассказывать без конца. Зачастую я бывал у него дома, засиживаясь до полуночи. Он жил в небольшой квартире неподалеку от парка им. Горького, еще более открыто, чем Сахаров, отворяя свои двери для всех, кто хотел с ним встретиться. Я иногда просиживал у него целые дни, не имея возможности обсудить то, ради чего, собственно, и прибыл в Москву. Люди шли и шли. Преимущественно это была молодежь. Ко мне он относился как к близкому родственнику – поэтому оставлял для разговора со мной вечер. Иногда спохватывался:

– И что это я, право? Ко мне приехал друг из Киева, а я совсем не уделяю ему внимания.

– Успеем побеседовать, Петро Григорович. Я никуда не спешу.

Я хорошо видел, что многие из его посетителей (так же, как и у Сахарова) приходили ради того, чтобы потом похвастаться: «А я, знаком

(знакома) с генералом, о котором толкуют все радиостанции мира. Не верите? Вот, взгляните на эту фотографию». И какой-нибудь мало приметательный, тщеславный человечек демонстрировал свою фотографию, где он сидит рядом с Григоренко.

Запомнилось, как мы ходили на просмотр фильма «Обыкновенный фашизм». Лента была порезана, многое из того, что поражало в оригинальном варианте, отсутствовало. И все же фильм был смонтирован из документальных кадров так, что скрыть аналогию между немецкой и советской жизнью времен Гитлера и Сталина было невозможно. Вот, например, Геббельс собрал писателей и вбивает им в головы идеи гитлеровского рейха. Вот мы на выставке скульптуры гитлеровских времен: громадные фигуры идеальных героев, которым надлежало прославить фатерлянд. И так кадр за кадром. Как это напоминало и нашу пропагандистскую машину, и наш соцреализм! И само название «Обыкновенный фашизм» касалось не только гитлеровской Германии – это понимал любой мыслящий человек. В советской прессе фильм не просто критиковали – его пытались уничтожить. Когда мы вышли из кинотеатра, Петро Григорович сказал:

– Знаете, Мыкола... Мне временами кажется, что мы живем внутри какого-то темного, злобного чудища. Мы словно его органы, оно мыслит и разговаривает за нас. Оно одинаково и в Берлине, и в Москве, и в Пекине. То же мышление, та же система образов.

– И при этом, – прибавил я, потому что также не раз об этом думал, – какая свирепая вражда между Берлином и Москвой, а теперь между Москвой и Пекином. Чем это объяснить? – Не знаю, – грустно улыбнулся Григоренко. – По-видимому, раздвоением личности. Помните четвертый раздел Краткого курса истории ВКП(б)?

Конечно, я хорошо помнил. Нас ведь соединяло еще и это: мы оба прошли одинаковый путь выздоровления от марксистской идеологии.

По пути домой Петро Григорович купил капусту и держал ее в ладонях, как вратарь держит пойманный футбольный мяч. Он был одет в хорошо сшитое осеннее пальто, но едва покрывавшее колени. Это пальто прислал его сын Андрей из Германии. Безо всякого перехода Григоренко заговорил об Украине:

– Ошибся Богдан, присоединившись к Московии. Очень ошибся.

Вот оно! – подумал я. – всю жизнь прожил москалем, а свое украинское нутро не потерял.

В другой раз я пошутил:

– А не пора ли Вас, Петро Григорович, из татарского мурзы переодеть в гетмана?

Он засмеялся:

- Для гетмана я уже слишком стар. Может, писарем возьмете?
- Подумаем, – в тон ему ответил я. – Без дела не останетесь.

В начале осени 1976 года мы с Раисой встречали супругов Григоренко на киевском вокзале. Я искренне жалел, что у меня теперь не было машины: повозил бы дорогих гостей по Украине, показал бы ее красоту и богатство.

Вот в дверях вагона показался высокий, худой генерал. Он радушно улыбался. Вслед за ним в наших объятиях оказалась Зинаида Михайловна, которая была почти его ровесницей. Мы повезли их в Кончужасцу. Там мы отдали им большую комнату в нашей небольшой квартирке, а сами разместились в десятиметровой, смежной с кухней.

КГБ к встрече Григоренко подготовился так, будто в нашей квартире расположился штаб враждебной армии. Вот что впоследствии (уже в Америке) напишет об этом Петро Григорович:

В сентябре 1976 года мы с женой приехали погостить к Миколе и Рае. Как обычно, за нами прибыло и сопровождение из тайных агентов КГБ. В Кончей-Заспе они встретились с агентами, которые следили за Руденко. Образовалась своеобразная наблюдательная база двух управлений КГБ – московского и киевского. Расположилась эта база в кинобудке местного клуба, прямо напротив входа в квартиру Руденко, в каких-нибудь 10–15 метрах. Тем самым жители Кончей-Засы были лишены возможности смотреть кино на протяжении всего нашего пребывания в этом поселке. Но никто в связи с этим не возмутился. Напротив, многие из местных жителей предупреждали Руденко, что из кинобудки их квартиру подслушивают и ведут за ней наблюдение. Рассказывали даже об установленном там техническом оборудовании.

К постоянной слежке мы привыкли и поэтому только смеялись над неловкой суматохой киевской ГБ на виду у здешних жителей. Вспомнили шутку, которой дал жизнь Александр Гинзбург: «И чего подслушивают? Все равно ничего хорошего мы о них не скажем». Посмеялись, сфотографировались на фоне этой кинобудки и перестали обращать внимание на свои «хвосты», которые теперь в удвоенном количестве тянулись за нами повсюду.

Однажды в лесу, неподалеку от кинобудки, я заметил на кучке хвороста изрядное количество использованной киноленты. Как видно, ее готовились сжечь, но не успели. Я догадался, что это лента из той же кинокамеры, которая непрерывно снимала вход в наш дом, чтобы зафиксировать всех, кто у нас бывает. Наклонился и начал рассматривать пленку. Она была узка, рассмотреть кадры я не мог, но делал вид, будто что-то там вижу. Понимал, что вот-вот должен

появиться тот, кто по какой-то причине не успел ее спалить. Он и в самом деле появился – молодой, белокурый, в спортивном костюме. Стоял поодаль, опасаясь приблизиться ко мне. Мне даже было видно издали, как побледнело его лицо: такой нелепый «прокол»! Наконец, мне стало его жаль, и я пошел себе дальше, а гэбист-кинооператор заторопился поскорее разжечь костерок.

Петро Григорович работал над статьей о Рое Медведеве, которого обвинял в бесосновательных нападках на Солженицына. Раиса перепечатывала его предисловие к моим «Монологам» – предисловие, которое было для меня самым высоким вознаграждением за все пережитое. Мне кажется, что никто не понял так глубоко и полно мой труд, как понял его Григоренко. Это порождало во мне надежду, что для моей работы еще наступит благоприятное время.

К сожалению, не обошлось и без грустного эпизода, о котором я и до сих пор сожалею. У меня это вышло само собой, без каких-либо намерений доставить неприятность моим дорогим гостям. Я так привык к ленинскому тезису о нациях притесняемых и нациях-угнетателях, что думал, будто все воспринимают их одинаково, без всяких сомнений и возражений. Поэтому в беседе, которая затронула проблему векового угнетения Украины, проронил такие слова: «Русскому народу придется многое сделать, чтобы забылись эти черные страницы нашей истории».

Боже, как оскорбили эти слова Зинаиду Михайловну! Мои гости не спали целую ночь, до самого утра. Зинаида Михайловна вышла на кухню с заплаканными глазами. Петро Григорович вызвал меня в коридор, а затем в лес, за гаражи:

– Я едва уговорил Зинаиду остаться. Она требовала, чтобы мы медленно вернулись в Москву. Ты ее очень оскорбил.

– Это же Ленин оставил учение о нациях притесняемых и нациях-угнетателях. Наверное же, не Украина угнетала Россию, а наоборот, – пробовал я оправдаться.

– Ленин, Ленин, – мрачно передразнил меня Григоренко. – Кто сегодня считается с Лениным? Он много чего наболтал. Временами такого, что хоть стой, хоть падай.

– Выходит, мы, демократы, в национальном вопросе стоим ниже его?

Григоренко заметно стушевался.

– Жена, Микола. Жена!..

Да, это был аргумент, против которого нельзя выставить никаких возражений. Я все же нашел слова, которые успокоили Зинаиду Михайловну. Забегая вперед, скажу: в эмиграции Григоренко пришлось много вращаться в среде украинской диаспоры, а они, как известно,

вслед за Донцовым и Стецко не очень почитали москалей⁷³. И все же Зинаида Михайловна сумела найти политическую формулу, которая устраивала и ее саму, и придирчивых слушателей:

– Я провозглашаю тост за самостоятельную Украину и самостоятельную Россию.

Так она выступала на всех торжественных собраниях. Тогда еще никто не представлял, что Россия также пожелает самостоятельности. Слова Зинаиды Михайловны звучали странно и необычно, но их принимали доброжелательно. Сегодня можно сказать, что она оказалась пророком.

Григоренко верил, что выход «Экономических монологов» на Западе привлечет к ним широкое внимание. Он хорошо видел, что учение физиократов, которые жили за двести лет до нас, было только здоровым началом энергетического понимания природы прибавочной стоимости. Лишь вторая половина двадцатого века дала возможность завершить это учение, чтобы создать «физическую экономию» (по аналогии с политической) как стройную, максимально обоснованную науку. Петро Григорович думал, что мне это в значительной мере удалось и что поэтому ученые на Западе не могут этого не заметить. Его беспокоило только, сумею ли я достойно держаться на пресс-конференциях, которые, по его мнению, меня ожидают, и именно поэтому он решил меня проэкзаменовать.

Мы вышли из поселка и через лесничество спустились в урочище Виты. Я уже несколько раз рассказывал об этом благословенном уголке, где можно встретить грибы-зонтики величиной со шляпу и грибы-порховки размером не меньше тыквы. И те и другие принадлежат к грибам съедобным. Понятно, что даже одного из них достаточно на обед для целой семьи. Однако не только грибами славилось урочище, но и лосями, косулями, дикими кабанами и, особенно, десятками бобровых «колхозов». Бобры искусно подсекали тополя и ольху, клали их с удивительной точностью поперек полустоячих рукавов Виты и заселяли свои сооружения чрезвычайно деятельными потомками.

⁷³ Стричь всю украинскую диаспору под одну гребенку не только не справедливо, но и опасно. На основе своего тридцатилетнего опыта скажу, что украинская диаспора намного толерантнее и снисходительнее, чем многие другие национальные диаспоры, а политический спектр соответствует спектру любой западной демократической страны. Замечу также, что термин «москаль», который использует здесь Руденко, распространен только в крайне правых кругах диаспоры, которые отнюдь не представляют ее большинства. – *Примеч. А. Г.*

Цветы уже отцвели, но трава еще не засохла, солнце пригревало щедро и весело. Мы присели на двух дубовых пнях и начали репетицию пресс конференции.

– Какую цель вы ставили, работая над «Экономическими Монологами»? Что Вы хотели сказать этим произведением?» – спрашивал меня Петро Григорович, вживаясь в образ зарубежного корреспондента.

– Хотел показать катастрофическую ошибку Маркса в определении субстанции абсолютной прибавочной стоимости. Не общественный труд, как думал Маркс, – сама природа лежит в ее основе. Человеческий труд является лишь направляющим фактором, но не субстанционным. Это такая огромная ошибка, что она обязательно разрушит государство так называемого развитого социализма. Люди потребуют объяснений, отчего это произошло. Без критического рассмотрения марксова учения они не в состоянии будут это понять. А это значило бы, что возможно повторение этой кровавой антинаучной утопии.

– Гм-м, – удовлетворено улыбнулся Григоренко, – вас разбудил среди ночи – и вы немедленно же прочитаете лекцию на эту тему.

– Чтобы было кому слушать, я создал несколько вариантов того же труда. На все вкусы.

– Мне известный лишь один, – заметил Петро Григорович.

– Есть еще «Энергия прогресса». Сахаров читал этот труд...

– И что?

– Посоветовал написать для «самиздата» как можно проще. Так появились «Экономические монологи».

– А что такое относительная стоимость? Чем она отличается от абсолютной?

– Тем же, чем отличается жестяная коврижка на витрине от натуральная коврижки на магазинной полке.

– Сравнение яркое, – сказал Григоренко, – но достаточно туманное. Нельзя ли перейти от метафор к научным определениям?

– Ладно, – согласился я. – В самом слове «стоимость» мы уже имеем не естественно производственный, а лишь монетарный подход к экономическим процессам. Вполне возможно, что, исходя из этих позиций, Маркс может быть полезным. Если это и в самом деле так, то польза от его трактовки имеет ограниченный характер и должна сопровождаться многочисленными предостережениями. А таких предостережений в «Капитале» нигде нет. Напротив, марксизм рассматривается как абсолют и даже руководство к действию. Именно отсюда выводится необходимость пролетарской революции и пролетарского государства. Что из этого вышло – хорошо известно: мил-

лионы, десятки миллионов человеческих жертв, реки крови и бесчисленные озера слез.

Между тем белая косматая собачка, которою я подкармливал во время своих сторожевых бдений возле лодок, начала свирепо обгавкивать ольшаник, возле которого мы сидели. Эта собачка напрашивалась ко мне в друзья, я же по большей части гнал ее прочь – поэтому она нас охраняла тайком. Теперь она прямо захлебывалась от ярости, заметив в кустах врага.

Григоренко, сразу же сообразив в чем дело, поднял обломок толстой ветки и двинулся к кустам. Оттуда выскочил молодец в спортивном костюме с магнитофоном в руке – такие амбалы изо дня в день сопровождали нас с Раисой, как только мы выходили из дома. Здесь недалеко спортивная база, именно поэтому гэбистские топтуны и рядились под спортсменов.

Григоренко швырнул в него обрубок, но не попал.

– Ах, ты выродок несчастный, – вслед за обрубком бросал тяжелые слова Петро Григорович. – И как вас только земля носит?

Ответа на этот риторический вопрос он, конечно, не дождался. Пошел в кусты по нужде и, вскоре вернувшись, озабоченно заметил:

– Аденома меня мучает. Нужна операция. Но разве в этой стране можно ложиться на операционный стол? При этой операции высокая смертность. Андрей зовет в Германию, а я боюсь – назад не впустят.

Так, между прочим, и не пустили. И я в сибирской ссылке слышал по радио, как плакал старый Григоренко по родной земле. Говорил о Родине, о друзьях (в том числе и о нас с Раисой), о нашей рабской судьбе – и не выдержал: разрыдался прямо в микрофон.

Петру Григоренко⁷⁴

Так просто все – напишешь покаянье.
Вот только что получишь в воздаянье
за пару фраз возврата во вчера...
Шумит в ручье прохладная вода,
деревья и цветы все в искорках росы
и за окошком гомон детворы.
В озерах – рыба, птицы – в небесах

⁷⁴ Это стихотворное письмо, присланное М. Руденко из Донецкой тюрьмы осенью 1977 года, впервые опубликовано в 1981 году в книге «В подполье можно встретить только крыс...» (Нью-Йорк, изд-во «Детинец»). Перевод с украинского Андрея Григоренко.

и сладость поцелуя на устах...
Так просто все!
Лишь будешь ты не ты,
согбенный недугом кромешной пустоты,
иссохший телом, ясный взгляд потух,
ты – только оболочка, а не дух.
Иди назад в свой кабинетный рай
и старые костюмы примеряй,
тропинкой прежней в роще пробежишь,
вот только душу вряд ли возвратишь...
Десяток пыткой вымученных слов –
не сбросить тех невидимых оков.
И нет тебя. Кругом сплошная тьма.
В людском обличье спрятана тюрьма.

«НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»

Я удивительно счастливый человек. Не по части рублей, долларов или прочей валюты, а по части друзей. И это везение началось даже до моего рождения, поскольку одним из моих друзей был мой собственный отец.

Я не могу сказать, что наши отношения с отцом всегда были безоблачны. Они претерпели все нормальные стадии взаимоотношений отцов и детей с той только разницей, что в довольно раннем возрасте я обрел то, что далеко не всегда удавалось другим сыновьям – в лице отца я приобрел друга, с которым меня объединяла и определенная общность взглядов и участие в казалось бы безнадежной борьбе с тоталитарным монстром коммунизма и его интернационал-социалистической идеологией.



Как-то уже в Америке отец, наблюдая как я играю с моей маленькой дочкой Татьяной, сказал: «А я с тобой маленьким совсем не занимался».

Мне все же кажется, что это не совсем так. Действительно в моем детстве я был в значительной степени предоставлен самому себе, что, строго говоря, было общим правилом, особенно учитывая, что среди моих ровесников детей одиноких матерей было значительно больше, чем в любой иной период советской истории.

Хотя у меня и были отец с матерью, но на меня у них времени явно не хватало. Мать была поглощена заботами о неимоверно большой семье – дети, племянники, оставшиеся сиротами в результате Большого Террора, дедушка с бабушкой, умирающая первая жена моего отца⁷⁵.

⁷⁵ Первая жена моего отца, Мария Пастушенко, прожила последние два года жизни в нашей семье. В Москву ее привезли мои родители по обоюдному согласию в связи с тем, что у нее был рак в запущенной форме, а в г. Сталино (ныне Донецк), где она жила, не было даже специалистов-онкологов. Единственной надеждой на какое-то облегчение были только московские врачи. Моя мать ухаживала за ней два этих трудных года. Мои родители были действительно «странные люди» с точки зрения «правильных» советских людей.

Отец же большую часть дня проводил в академии, а вечерами писал статьи для военных журналов, приносившие в семью дополнительный доход.

Но все-таки какие-то теплые картинки из детства, связанные с моими родителями, остались в моей памяти.

Вот я просыпаюсь от того, что сильные руки отца опускают меня на лежащие на полу диванные подушки. Когда я совсем открываю глаза, то вижу моих смеющихся родителей и... елку с висящим на ней мандарином. Конечно, сегодняшних детей одним-единственным мандарином не удивишь, но я тогда увидел этот фрукт в первый раз и еще долго потом помнил его сладкую, сочную мякоть.

А вот другой эпизод. Мы в Борисовке. Отец с дядей Олексием⁷⁶, у которого был свой баркас, взяли меня в море. Мне где-то года три, но я уже кое-что смыслю в снастях и мне говорят что б я проверил снасти на корме. Когда я добрался до кормы, дядя Олексий рванул баркас, и я оказался за бортом. До этого падения за борт отец неоднократно показывал мне, что надо делать в таких случаях – плыть, что я и начал делать. А отец из баркаса поощрял мои усилия: «Так синку, так! Пливи до нас». Правда, когда я уже почти доставал до баркаса, мои учителя плавания отплыли еще на пару метров. Так повторялось раза три, пока я не сообразил, что баркас-то может двигаться, а вот берег от меня точно не убежит. К удивлению старших я развернулся и поплыл к берегу, а они последовали за мной, чтобы при малейшей опасности вытащить меня из воды. Отцовские инструкции до этого моего первого заплыва, хотя и не на очень большое расстояние, оказались великолепными, и с той поры я чувствую себя в воде как рыба. Позднее я узнал, что и отца и дядю Олексия, как и всех прочих Григоренок и Беляков, учили плавать именно таким же образом. Я же из этого приключения вынес, кроме умения плавать, знание, что отец верит в мои способности, а с другой стороны, что сколько не надейся на других, но не забывай и про собственные силы, которых возможно больше, чем это тебе самому кажется.

Мои ранние воспоминания об отце состоят из ряда отрывочных эпизодов, которые порой трудно уложить в четкую хронологическую последовательность. Во многих случаях это не отдельный эпизод, а что-то повторявшееся из года в год, как например, наше ежегодное посещение Павлы Александровны Шлаевой на Пасху.

До 1962 года у отца не было гражданского костюма, поэтому он и в выходные дни ходил в форме. На Пасху у Павлы Александровны со-

⁷⁶ Олексий Семенович Беляк, на самом деле брат моей бабушки Ганны, но они с отцом были почти ровесники, и я его называл дядей.

биралось несколько приятельниц, и приезжали мы всем семейством. Хотя это и происходило каждый год, но эффект от полковника, а потом и генерала возглашавшего «Христос Воскресе» не ослабевал с течением времени. Самое интересное, что в то время мои родители были атеистами-коммунистами и эти пасхальные визиты были не более чем данью уважения к православной вере одного из друзей семьи. Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего дня, я могу с полной уверенностью сказать, что для меня это был важный урок толерантности, урок, сыгравшей в моей последующей жизни значительную роль, и, наряду с другими примерами гуманизма моих родителей, сделал меня таким, какой я есть.

Наверное, самым большим уроком уважительного отношения к другим были прогулки с отцом. Отец вообще любил физические упражнения. В молодости он серьезно занимался бегом на длинные дистанции. Он даже был однажды чемпионом РККА в беге на 10 километров. К этому виду спорта он пытался пристрастить и меня, но хоть я и бегал иногда с ним, но мне это занятие не нравилось. Другое дело лыжи, коньки, плавание и ходьба. Ну, вот поди знай! Когда отца уже не было в живых, а мне перевалило за пятьдесят, я начал бегать по собственной доброй воле и бегаю по сей день, то есть уже добрую дюжину лет. Что же касается отца, то от коньков и бега ему пришлось отказаться где-то году в 1960-м.

Летом того года мы снимали дачу в Химках на берегу канала Москва-Волга. Как-то утром мы с отцом собрались идти на канал купаться. До канала было около пятисот метров через сад наших дачных хозяев и прибрежный луг. Отец предложил мне пробежаться, но я предпочел идти, а он побежал. Когда я подошел к калитке сада, то увидел, что отец лежит на траве. Как потом мне объяснил хирург, причиной его падения было старое военное ранение голеностопного сустава. Сразу после ранения ему вообще хотели ампутировать ногу, но мать не дала, а отец потом приложил все усилия, чтобы заменить отсутствующую часть сустава мышцами. Он настолько преуспел в разработке этих мышц, что не только вернулся в строй, но, как я писал выше, смог заниматься многими видами спорта, требующими нагрузки на ноги. Это работало до поры до времени, но в то летнее утро сустав вывихнулся, и отец упал таким образом, что нога оказалась в положение рычага, на который он навалился всем телом. Результатом был двойной перелом и... запрет на бег и коньки.

Но плавание, лыжи и ходьба остались. Последнее занятие было, наверное, наиболее важным не столько для моего физического развития, сколько для развития духовного. Когда у отца было время, он исхаживал пешком многие километры и брал в эти походы и меня.

В моем раннем детстве одним из излюбленных маршрутов отца была прогулка от нашего дома вдоль Хамовнической (теперь это Фрунзенская) набережной, потом Лужнецкой до моста окружной железной дороги, через мост на другую сторону Москвы-реки, затем через Нескучный сад и Парк культуры им. Горького до Крымского моста, потом через Крымский мост, до Крымской площади, поворот на улицу Чудовку (ныне начало Комсомольского проспекта), назад к нашему дому на Хамовническом плацу (теперь это тоже часть Комсомольского проспекта). Для всякого, кто знает Москву, понятно, что такой путь в мои три–пять лет было мне не одолеть, поэтому часть дороги я проезжал на отцовских плечах. Я любил эти походы не столько за удовольствие от прогулки и катания на отцовских плечах, сколько за разговоры, а, точнее, отцовские монологи. Хотя тогда я воспринимал это как разговоры, так как отец всегда с большим вниманием выслушивал и то, что говорил я, но навряд ли я мог сказать что-либо дельное. Много лет спустя, когда я готовил к изданию в моем издательстве книгу отца «В подполье можно встретить только крысы...», я узнал, что этот стиль разговора с младшим, как со взрослым, отец перенял от своего дяди Олександра. Боюсь, что я не смог в полной мере передать эту замечательную традицию своим дочерям.

Как бы то ни было, но из тех разговоров я вынес три бесценных дара: любовь к русской и украинской поэзии, толерантность и знание украинского языка. В украинском языке для меня была и еще одна привлекательная сторона. Этот язык стал как бы специальным кодом, который превращал мое общение с отцом в некий секрет, недоступный другим. Меня вовсе не смущало, что в наши летние приезды в Украину на этом языке говорили не только наши родственники, но и все мои летние приятели. Зато в Москве дело коренным образом менялось, поскольку мать, несмотря на общение с украинскими родственниками и проводя с детьми лето в Украине, так никогда и не выучила украинского. Она вообще, похоже, была не в состоянии выучить какой-либо иностранный язык, хотя всегда поощряла мой интерес ко всему украинскому и даже первые мои книги, подаренные ей, были на украинском языке.

Мои братья по какой-то причине тоже не проявляли интереса к украинскому языку, несмотря на то, что Анатолий и Виктор, в отличие от Георгия и меня, даже учились какое-то время в украинских школах. Так что в Москве украинский для меня превращался в язык общения только с отцом. Когда я стал постарше я стал постоянным покупателем в магазине Украинской книги на Арбате, где время от времени у меня была возможность перекинуться парой слов с другими посетителями, но особых знакомств из этих случайных встреч

все же не получалось. Только в студенческие годы у меня появился украиноязычный московский друг Боря Дерев'янку, но эта дружба была прервана Бориной трагической гибелью. Однако Боря, а потом Леня Плющ и другие друзья в Украине, были значительно позднее, а в детстве был только отец.

Возвращаясь к детским годам, я вспоминаю те редкие дни, обычно по субботам, когда отец не засиживался допоздна в академии. В такие дни я бросал свои хулиганские затеи со сверстниками и отправлялся к академии, чтобы встретить отца на ее широких ступенях. Эти прогулки были значительно короче, каких-то несколько трамвайных остановок. Но отец никогда не ездил ни на трамвае, ни на своей персональной машине, как это делали другие. Одно такое путешествие с отцом от академии до дома обернулось курьезом, который я помню до сих пор.

По дороге к нашему дому находился пивоваренный завод, принадлежавший когда-то родителям Ильи Эренбурга. При этом заводе был пивной ларек, снабжавшийся свежайшим пивом прямо с завода. Иногда отец останавливался у этого ларька и выпивал кружку пива. Я же каждый раз просил его дать попробовать пива и мне. Короче говоря, в какой-то раз, как потом объяснял отец, он решил прекратить мое приставание и протянул кружку мне, рассчитывая, что пиво мне не понравится и отобьет всякую охоту клянчить его в будущем. Однако его ожиданий я не оправдал – видать, любовь к этому напитку была заложена в козацких генах. И, ухватившись за кружку двумя руками, я успел глотнуть изрядную порцию, прежде чем отец отнял ее у меня. Хмельной напиток ударил мне в голову, и всю дорогу домой я путался ногами в непомерно длинном пальто, перешитом на меня со старших братьев. Забавно, что реакция матери была сравнительно спокойной. Посмотрев на сконфуженное, виноватое лицо отца она сказала: «Ну вот два дурня – один малый, а другой старый».

Отец был человеком весьма умеренным по части потребления алкоголя. И хотя у него был хороший вкус к винам, но до войны он вообще не употреблял каких-либо крепких напитков. Эта умеренность передалась и мне, невзирая на то, что вся обстановка за пределами дома стимулировала злоупотребление горячительными напитками. И, наверное, совсем не мудрено, что алкоголизм унес преждевременно и нескольких приятелей моего детства.

На моей памяти отец любил иногда выпить рюмку хорошего коньяка. С коньяком связано и несколько забавных эпизодов.

На пятидесятилетие отца был устроен грандиозный банкет с массой гостей. Отец не сомневался, что почти каждый присутствующий захочет с ним выпить, поэтому он пошел на маленькую хитрость. Он

приготовил чай такого же цвета, как коньяк, перелил его в коньячную бутылку, а на горлышко надел детскую соску. Эта бутылка была преподнесена отцу одним из его сослуживцев в качестве шуточного подарка в самом начале банкета. Офицер не подозревал, что мать ловко подменила бутылку настоящего коньяка, бутылкой, приготовленной отцом. Вот этой бутылкой отец и чокался со всеми желавшими и преспокойно посасывал свой «коньячок», оставаясь на удивление всем трезвым.

Эта подмена коньяка на чай спустя пару лет навела меня на мысль подшутить над братьями и отцом. Как-то, по поводу сбора всех братьев, которые к тому времени все были офицерами, мать приготовила праздничный обед, а отец купил бутылку коньяка. Пока шли приготовления к семейному торжеству, я подменил бутылку на такую же с чаем. Я даже запечатал ее сургучом, как тогда запечатывались коньячные бутылки. Эта сургучная запечатка вынудила меня привлечь в заговорщики брата Георгия, так как я опасался, что тот, кто будет распечатывать бутылку, может заметить, что сургуч не имеет форменной печати. Когда все уселись за стол, Георгий торжественно откупорил бутылку и разлил коньяк. Шутка превзошла все мои ожидания. Отец выпил свою рюмку и без секунды колебаний крикнул от удовольствия и закусил лимоном. Анатолий, выпив, на какую-то долю секунды был озадачен, но тут же последовал отцовскому примеру. Самым же смешным было то, что Виктор был совершенно обескуражен, и на его лице была прямо написана обида за то, что все получили коньяк, а ему подсунули чай. Даже после того, когда я выставил на стол настоящую бутылку, Витя не присоединился к всеобщему хохоту.

Отцовская реакция на мою шутку не была, конечно, для меня полной неожиданностью. Чего-чего, но чувства юмора ему не нужно было ни у кого занимать. Внешность при этом его была обманчива, и окружающие, как правило, не ожидали от него шуток. Мне запомнилась одна такая история, имевшая место во время какого-то застолья в середине пятидесятых годов.

Разговор зашел о «вещих снах». Большинство присутствующих склонялось к тому, что эти сны определенно реальность. Но была и пара скептиков. Отец же слушал, но своего мнения не высказывал. Наконец кто-то спросил: «Ну а ты-то, Петро, все-таки что думаешь?»

– Да, – сказал отец, – с некоторых пор я стал верить в сны. Вот, например, всего лишь на прошлой неделе приснился мне сон, будто сижу я на научном совете. На трибуне какой-то дурак несет несусветную чушь, а я при этом сплю, да еще храплю. Просыпаюсь... и правда.

Однако было бы ошибочно из этой истории прийти к выводу, что отец напрочь отвергал все, что казалось странным или невозможным. Еще в раннем детстве я слышал от него массу украинских анекдотов. В одном из них украинский селянин на вопрос, можно ли пить хрен, с раздумьем ответил: «Як що дуже охота, то можна». Такой ответ был очень характерным и для отца, наделенного этой украинской хитрецой и непобедимым оптимизмом.

Но гневаться отец тоже умел. Как-то раз, опять же во время застолья, фронтовики вспоминали еще относительно недавнюю войну. Мать же заметила, что на фронте часом случались и комичные эпизоды. Она, в частности, вспомнила, как отцовская дивизия отбила у немцев колонну ромен. Спасенные от верной смерти люди в восторге начали качать спасшего их подполковника и делали это так усиленно, что разорвали на отце брюки и гимнастерку. Заканчивая свою историю, она сказала: «Когда они наконец опустили Петра на землю, то он выглядел таким же оборванцем, как и полуодетые освобожденные». Отец слушал эту историю и улыбался. Как вдруг один из присутствующих офицеров спросил: «А на кой черт фрицам понадобились те цыгане?». Я заметил, что улыбка тут же исчезла с отцовского лица и краснота с шеи разлилась до макушки его лысой головы: «Эх ты! А еще называешься политработником! Неужто ты не знаешь, что нацисты истребляли цыган и евреев только за то, что они цыгане и евреи?». Должен заметить, что для меня тогда это было новостью – в советской школе об этом не говорили, а то, что об этом говорилось в нашей семье, до этого момента почему-то не запечатлелось в моей памяти.

* * *

В мои ранние годы я не понимал, через какую сложную эволюцию проходили мои родители. Меня, как и всех детей, пытались предохранить от того знания, которое было бы опасно. Так что наша семья в этом отношении мало чем отличалась от других советских семей. Как я понимаю теперь, такое поведение родителей привело к тому, что я не спешил делиться с ними своими сомнениями и первыми исканиями.

Я, например, с трудом могу что-то сказать, базируясь исключительно на своем опыте, о том какова была реакция родителей на смерть Сталина, на XX съезд или на Венгерскую революцию. Разумеется, что-то до меня долетало и, скорее всего, повлияло на мое раннее прозрение. Я был немало поражен тем, что на смерть Сталина мать отреагировала улыбкой, в которой одновременно были и чувство удовлетворения, и плохо скрываемая радость.

Не прошло мимо моих ушей и то, что во время разговоров отца с Василем Ивановичем Теслой, с которым они были очень дружны, но постоянно спорили, последний не раз называл отца «сталинистом». И хотя всем вроде было известно, что «сталинист» – это хорошо, в дяди Васиных, как я называл Василя Ивановича, устах это звучало как порицание и даже, страшно подумать, как оскорбление.

Мне также часто приходилось слышать от родителей, как дружелюбно принимало советскую армию население Западной Украины в конце Второй мировой войны. Однако наши визиты в Закарпатье в середине 50-х годов давали совершенно иную картину, включая и непрекращающееся сопротивление УПА. Мои родители терялись в догадках, что привело к такому изменению. Как-то один из знакомых офицеров, который, как и отец, был украинцем, в разговоре с отцом заметил, что УПА считает украинцев в советских погонах – изменниками. У матери непроизвольно вырвалось: «А может вы и впрямь предатели?». Она тут же попыталась превратить свою реплику в шутку, но я успел заметить, что это вовсе не было шуткой. Все это вместе оседало в моей детской голове, не находившей ответа.

Мне трудно сказать, в какой момент я впервые всерьез задумался над тем, что что-то прогнило в королевстве Датском, то бишь СССР. Было ли это во время Венгерской революции, когда я выразил свое несогласие с ее подавлением, написав на стене общественного туалета «Руки прочь от Социалистической Венгрии!», или еще раньше, когда судьбе было угодно спасти меня и двух моих приятелей, таких же как я восьмилеток, от верной гибели на похоронах «вождя всех народов и друга детей и птиц». А, может, это случилось позже, когда я стал ходить на дискуссии полуофициального молодежного дискуссионного клуба и вечера вольной поэзии. Во всяком случае, к незабываемому сентябрю 1961 года мы с несколькими друзьями всерьез обсуждали вечный вопрос «что делать?», и среди них была уже и наша троица – Миша Харнас, Витя Резвый и я, которые двумя годами позже присоединились к «Союзу борьбы за возрождение ленинизма (СБЗВЛ)».

Поэтому когда я узнал о выступлении отца на партконференции и то, что мать полностью поддержала его позицию, это наполнило меня гордостью за моих родителей и подтвердило, что и мы с моими друзьями на правильном пути. Понимал я и то, что отцу это даром не пройдет. Поэтому без совета с родителями я устроился учеником слесаря на завод и перевелся в вечернюю школу рабочей молодежи. Мое беззаботное детство кончилось – наступила взрослая жизнь. Но именно тогда и началась по-настоящему дружба с отцом. С матерью было несколько сложнее, так как она, как мне кажется, никогда не смогла принять, что ее сын – взрослый человек, имеющий, в частно-

сти, и области, в которые ей доступ навсегда закрыт. А без взаимного признания права на персональное пространство настоящей дружбы не получается. Отец это хорошо понимал.

Конец 1961 года был наполнен тревогой. Отца вывели в резерв армии и засадили за какое-то бессмысленное перебирание бумаг. Только в самом конце года он получил назначение на должность начальника оперативного штаба армии, базировавшейся в Уссурийском крае.

После отъезда родителей в Уссурийск мы с Георгием, который в то время был слушателем Академии ракетных войск, не только зажили холостяцкой жизнью, но и, каждый своим чередом, дозревали до того, что воплотилось в СБЗВЛ. Как выяснилось, к осени 1962 года отец и Георгий уже обсуждали вопрос создания подпольной организации, но не хотели вовлекать в нее меня. Однако, после довольно откровенного разговора, брату стало очевидно, что я со своими друзьями уже занимаемся некоей потаенной деятельностью. Брат сообщил об этом отцу. В августе того же 1962 года я приехал в отпуск на Дальний Восток. Во время этого отпуска у меня с отцом состоялось несколько откровенных разговоров. Отец пытался меня убедить, что было бы разумнее, если бы наша молодежная группа никуда бы не лезла до поры до времени, но я убедил его в том, что мы уже пересекли свой Рубикон и остановится уже не можем. В результате была достигнута договоренность, что уже сформировавшиеся ячейки не будут искать контактов между собой, а связными будут брат Георгий, Алеша Егоров и я. Правда, почти тут же выяснилось, что и брат Виктор тоже сколотил тайную группу из пары молодых офицеров. С предполагаемой конспирацией тоже не очень получалось, так как многие знакомства пересекались. Я, например, знал добрую дюжину СБЗВЛовцев помимо нашей тройки. Вот эту не очень дисциплинированную компанию и возглавил отец.

Между отъездом отца в почетную ссылку на Дальний Восток и его арестом наше общение происходило только во время отпусков и нескольких приездов отца в Москву по служебным делам. Как я уже писал ранее, я приехал на Дальний Восток во время моего отпуска 1962 года. В то время генералов там было не густо, к тому же отец хоть и был опальным, но все же занимал высокую должность. Меня тогда удивляло, что и местное гражданское начальство, не говоря уж о военных, относилось к отцу, как к начальству. В то время во Владивостоке работал один из отцовских фронтовых товарищей – Павел Макарович Берсенев. Он был каким-то городским начальством и начальником штаба гражданской обороны Приморского края. Как-то я не удержался и спросил у него: «Павел Макарович, а чем объяснить, что отца практически везде принимают как большое началь-

ство. Я, может быть, мог бы понять вас, поскольку во время войны отец был вашим командиром, но для остальных гражданских ведь он вроде бы не власть». Павел Макарович засмеялся и сказал: «Ты просто ничего не понимаешь. У вас там в Москве, может, генералов, как собак нерезаных, а у нас тут раз-два и обчелся. К тому же и армия, и военно-морской флот на Дальнем Востоке самая главная институция – вся промышленность, сельское хозяйство и торговый флот задействованы на обслуживание армии и военного флота».

Да и сам я имел возможность убедиться в полной милитаризации Приморского края. Большинство населенных пунктов, включая и такие большие города как Владивосток и Находка, были закрытыми, туда было невозможно попасть без специального пропуска. Отец, разумеется, не нуждался ни в каких пропусках, но чтобы я мог сопровождать его в постоянных разъездах, меня обрядили в солдатскую форму. Таким образом, во время моего отпуска генерал Григоренко был в сопровождение двух солдат: настоящего, его водителя Васи Истомина, с которым я быстро подружился, и липового, меня. Это был удивительный отпуск, за который я, благодаря бесконечным дальневосточным просторам, не только провел много времени в отцовской компании, но и повидал природные красоты, к которым в те времена был закрыт доступ не только иностранцам, но и большинству советских граждан. Это был, кажется, и последний мой отпуск, над которым не нависала бы, или, точнее, не чувствовалась, зловещая тень КГБ.

Тот отпуск связан и с первой листовкой, которую написал отец. Поводом послужила публикация в «Комсомольской правде» погромной статьи против Е. Евтушенко под названием «Куда ведет хлестаковщина». Листовка была в форме письма в «Комсомольскую правду» и называлась «Лакейская правда». Хотя это и была в основном статья в защиту Евтушенко, но в ней затрагивалось и многое, выходящее за рамки травли популярного тогда в молодежной среде поэта.

Приблизительно в то же время отец приступил к подготовке листовок, которые мы позднее начали распространять уже под эгидой «Союза борьбы за возрождение ленинизма», или СБЗВЛ. Тексты листовок отец привез в Москву либо в конце 1962-го, либо в самом начале 1963 года. Процесс размножения затянулся на несколько месяцев, поскольку мы с Георгием были явно не профессиональными машинистками, да и закупка одновременно большого количества бумаги могла привлечь нежелательное внимание. Идея же была в том, чтобы создать достаточно большой запас листовок, а потом уничтожить печатную машинку.

Отец снова приехал в Москву накануне Дня Победы. Тут произошел еще один курьезный случай. Я, зная какое отрицательное отно-

шение ко всякому начальству и к генералам, в частности, бытует в рабочей среде, никогда не рассказывал ни своим коллегам по работе, ни моим одноклассникам в вечерней школе, что мой отец генерал. Но случилось, что наша преподавательница литературы была женой одного из выпускников академии им. Фрунзе. Ее муж был очень высокого мнения о своем бывшем профессоре, и с его подачи она пригласила отца сделать в нашей школе доклад о войне. Не знаю, на что я рассчитывал, но я попросил отца идти в школу без моего сопровождения. Однако когда я пришел в свой класс, одна из наших девушек во весь голос заявила: «Андрей, там пришел генерал, который будет делать доклад о войне, и он на тебя похож». Так моя тайна была разоблачена с использованием странного оборота речи о том, что отец похож на сына.

В этот же приезд произошло и окончательное формирование СБЗВЛ. Правда, с конспирацией у нас, как я уже заметил выше, дело обстояло из рук вон плохо. Георгий и я продолжали отстукивать на нашей машинке тираж и затягивали уничтожение самой машинки. В конце концов мы затянули это мероприятие вплоть до последнего приезда отца в Москву в канун 1964 года, несмотря на тревожные сигналы, усилившиеся после самого большого разброса листовок в канун празднования большевицкого переворота. Помню, что мы – отец, Георгий и я – даже обсуждали сгушавшиеся над нашими головами тучи. Правда, то обсуждение мы закончили на юмористической ноте. Отец, видимо для того, чтобы разрядить обстановку, напомнил нам с братом дворецкого из романа Уилки Коллинза «Лунный камень», который во всех трудных случаях жизни руководствовался Робинзоном Крузо. Метод такой «консультации» заключался в том, чтобы раскрыть Робинзона на случайной странице и прочесть первую попавшуюся фразу.

Отец снял с полки томик «Робинзона Крузо», открыл его на случайной странице, дал нам заглянуть в книгу и тут же закрыл ее, предложив каждому написать то, что он прочел. К нашему удивлению все трое прочли одну и ту же фразу о том, что после самых трудных обстоятельств неизбежно наступит улучшение. Эту же фразу вспомнил отец во время нашего свидания в Лефортовской тюрьме после того, как узнал, что его разжаловали в рядовые. Он заметил, что куда уж может быть хуже, чем признание человека сумасшедшим, но правительство решило сделать еще хуже и попало впросак. «Ведь чтобы больнее ударить по мне, надо было дать семье все, что положено по закону, а со мной поступить, как с сумасшедшим. А сейчас, кто же поверит в мое сумасшествие?» – заключил он.

Весна 1965 года оказалась примечательной не только освобождением отца после относительно недолгого по советским поня-

тиям заключения. Я уверен, что этому быстрому освобождению поспособствовало и счастливое стечение обстоятельств: снятие Хрущева и разыгранная матерью телефонная деза о том, что отец и Брежнев друзья. Проверить достоверность такого утверждения те, кто прослушивал наш телефон, не могли. Единственно, что они могли легко проверить, что полковник Григоренко и полковник Брежнев действительно были однополчанами. Другим фактором было, как и предположил отец сразу же после разжалования, что признание невеняемым с последующим разжалованием в рядовые никак не согласовывалось не только с формально существовавшим законодательством, но и с принятой практикой. В частности, сокамерником отца одно время был полковник – серийный убийца, которого никто не разжаловал, и он получал полную полковничью пенсию.

Та замечательная весна была и весной политической, в которой посчастливилось принять непосредственное участие и моим родителям, и мне.

Еще в питерской СПБ отец познакомился с Володей Буковским, человеком общительным и уже имевшим довольно широкий круг знакомых, независимо мыслящих людей, в который вошли и мы. Я также восстановил свое знакомство с Витей Тимачевым и Сергеем Мюге, с которыми я познакомился в конце 1963 года, но связь с ними прервалась разгромом СБЗВЛ, отцовским заключением и сложностями элементарного выживания.

Круг наших друзей начал стремительно расширяться, как несущаяся снежная лавина. Примечательным в этот период было то, что если отец знакомился с кем-то, то эти же люди становились и моими друзьями, и знакомыми. И наоборот, если я знакомился с кем-то, то потом мои знакомые знакомились и с моими родителями. Так, например, Юра Grimm, с которым отец познакомился в Институте Сербского, стал моим близким другом, а мой близкий друг Саша Харнас стал другом моих родителей.

Иногда это приводило к анекдотическим ситуациям. Как-то так получилось, что Сергей Мюге оказался в квартире моих родителей вне зависимости от меня. Он услышал где-то об отце и пришел знакомиться. Дверь ему открыла мать. В то время в нашей квартире были какие-то люди, среди которых Сергей распознал меня и спросил: «А ты как здесь оказался?» Я сразу сообразил, что Сергей не подозревает о моем родстве с генералом и ответил в лучших украинских традициях: «Случайно». Полагаю, что Сергей позднее оценил мою шутку – в конце-то концов факт моего, как и любого другого, рождения до некоторой степени случайность.

Нарастающий круг друзей был неким накопительным, количественным, так сказать, процессом. Что должно было случиться, чтобы этот количественный процесс перешел в новое качество? Нужна была какая-то искра. Такой искрой стал процесс Даниэля и Синявского. Именно в связи с этим делом пока еще не принявшее какую-либо формы сообщество знакомых и друзей заявило о себе неслыханным до того в СССР Движением за Права Человека. Первым известным документом этого Движения явилось Гражданское воззвание, написанное Александром Есениным-Вольпиным, которое призывало собраться на демонстрацию 5 декабря 1965 года около памятника Пушкину в Москве.

Мы с отцом направились на площадь, оставив мать в неведении. Мы не хотели ее волновать, а, может, отчасти и опасались, что она будет возражать против такого похода. Правда, через пару дней она пошла сдавать в химчистку костюм отца, и приемщик нашел в кармане пиджака и передал матери сложенный вчетверо листок бумаги, оказавшийся Гражданским воззванием. То, что нас с отцом вызвали в милицию, дало ей дополнительное подтверждение, что мы все-таки участие в демонстрации приняли. Этот вызов в милицию, куда вызвали и других участников демонстрации, представил нам с отцом возможность познакомиться еще с целым рядом людей.

5 декабря 1965 года стало, таким образом, днем рождения Движения за Права Человека в СССР, пока еще не имевшего каких-либо структур, но с уже принятой нравственной позицией. Хотя и структуры не заставили себя долго ждать. Первыми ласточками правозащитных структур явились Инициативные Группы крымско-татарского национального движения и издаваемые ими Хроники. Именно по их примеру позднее получили свои названия и издание «Хроника текущих событий» и Инициативная Группа защиты Прав Человека, хотя последняя, в отличие от крымско-татарских Инициативных Групп, не была демократически избранным органом.

В тот первоначальный период Движения за Права Человека отец продолжал считать себя коммунистом. Я же начал сомневаться в ленинизме еще до разгрома СБЗВЛ, но не осознавал до конца, что сталинизм и ленинизм являются логическим продолжением и развитием марксизма. Честно говоря, мои искания за пределами марксизма начались несколько раньше, в то время когда я соприкоснулся с черным книжным рынком. Мое знакомство с этим рынком, начавшееся с обмена и торговли научной фантастикой и приключениями, превратилось в знакомство с поэтами Серебряного века, восточной мистикой и полузапрещенной и запрещенной философией, произведе-

дениями Фрейда, Ницше, Мережковского и воинствующего христианского антиклерикала Льва Толстого.

Разумеется, я говорил с отцом об этом неизведанном море человеческой мысли, так долго скрываемом от наших взоров, но теперь, в ретроспекции, я все лучше и лучше понимаю, насколько трудно было моим родителям избавляться от груза интернационал-социалистической идеологии, как невероятно трудно признать ошибкой всю свою предыдущую жизнь. Даже мой собственный уход от марксистского догматизма был труден. Где-то в подсознании сидело то, что я сын двух коммунистов и внук старого большевика, стоявшего у самых истоков большевистской партии. Видимо только теперь я в полной мере осознаю, что отец еще долгое время надеялся, что среди приверженцев интернационал-социализма найдутся истинные поборники свободы и демократии. За эту надежду он цеплялся, как утопающий цепляется за соломинку. Даже когда я уезжал в эмиграцию, отец дал мне с собой обращение к лидерам западных компартий. Это обращение я передал через Иржи Пеликана непосредственно Берлингуэру сотоварищи. Разумеется, «товарищи» еврокоммунисты как были, так и остались «товарищами» тех, кто душил свободу, а вся словесная трескотня о приверженности принципам демократии и критика КПСС были не больше чем дымовой завесой. На обращение господ-товарищи даже не удосужились ответить.

Идеология идеологией, но логика и рутина постоянной борьбы за права все же занимала центральное место в нашей жизни. Тем, кто оказался на переднем крае этой борьбы, было не дано роскоши закрыться в башне из слоновой кости и заниматься искусством ради искусства. Это не следует трактовать так, что подписание, демонстрации и прочие правозащитные дела поглощали все наше время. Нет. Вторая половина 60-х и первая половина 70-х годов двадцатого столетия характеризовались всеобщим общественным бурлением. В Москве было просто невозможно поспеть на различные понедельники-вторники и прочие дни недели – эти импровизированные клубы неподцензурной мысли.

В Питере, Киеве и Харькове таких клубов было, может, и меньше, но, вероятно, мне это только кажется, так как я хоть и часто бывал в этих трех городах, но все же не был там постоянным жителем.

Будет также ошибкой считать, что все ограничивалось интеллектуальными и культурными клубами. Картина не будет полной, если не обратить внимания на существование, хотя и не столь многочисленных, богемных клубов, в которых все происходило в постоянном табачном дыму и пьяном угаре. Многие современные авторы высказывают немало горьких слов в адрес подобных сборищ, и особенно

достаётся от них Петру Якиру. Мне не хочется выступать апологетом этих пьянок, но все же должен заметить, что те, кто бросил вызов тоталитарной машине, жили под дамокловым мечом, и для какой-то категории людей алкоголь был панацеей. Тому, кто не испытал на собственной шкуре то невероятное напряжение, трудно представить себе, что значит изо дня в день, из года в год находится под постоянной неусыпной слежкой, а, выходя из дома, не зная, вернешься ли ты сегодня назад, подвергнешься ли нападению сексотов, от которых никакая милиция не поможет. Еще раз хочу подчеркнуть, что я не пытаюсь найти оправдания для заливания стресса алкоголем. Не пытаюсь и оправдать себя за те редкие случаи, когда сам искал облегчения в бутылке. Я просто возражаю против огульных наскоков даже на эту богемную часть оппозиции.

Мой покойный отец не раз пытался увещевать многих из богемствующей публики. В особенности это касалось Петра Якира, к которому он очень тепло относился и отступничество которого так тяжело переживал.

В связи с этим вспоминается такой эпизод. На старой квартире Виктора Красина, в которой он жил со своей первой женой Аней и двумя детьми, собралась однажды компания с намерением кое-что обсудить. Но, естественно, в Красинской компании ничего не происходило без возлияния. Чтобы лучше представить ту картину, которую застал появившийся там отец, нужно представить тот дом, где можно было проткнуть стену, а саму квартиру можно было назвать таковой только с натяжкой. Мебель тоже практически отсутствовала. Вся честная компания расположилась на полу комнаты, которая служила одновременно и кухней, и гостиной, и прихожей. Картинка завершалась стоящим посреди комнаты ведром самогона, купленным по случаю у соседки-самогонщицы. К приходу отца мы уже успели осушить то злополучное ведро на добрую половину.

Войдя и увидев нашу возлежащую на полу команду, отец с раздражением сказал: «Что вы тут бардак развели, революционеры хреновы?!» На это замечание Володя Дремлюга заметил: «Петро Григорьевич, революция и блядство всегда шли рука об руку». Однако на отца этот аргумент никоим образом не подействовал, и он гневно сказал, что не хочет иметь с нашей пьяной компашкой никакого дела. Развернулся и тут же ушел.

Этот демарш отца стал довольно широко известен и вызвал положительную реакцию тех, кому не нравилась царившая вокруг Якира и Красина обстановка.

Все же при всем при том отец никогда не стремился к конфликту и не раз выступал в роли миротворца, стараясь загладить те конфлик-

ты, которые время от времени однако возникали. В центре одного такого конфликта оказался я.

После суда над Анатолием Марченко 31 марта 1975 года я составил сборник по его делу под названием «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической республики». Толя был человеком, который мне лично был очень дорог. К тому же мне удалось пройти на суд и сделать его запись. Работа над сборником была завершена. В последний день мы с Ларисой Богораз считали окончательный вариант, но у нас возникло подозрение, что за моей квартирой плотно следят, и Лариса сказала, что у Людэ Алексеевой есть оказия для передачи сборника в издательство Валерия Чалидзе, находившегося в Соединенных Штатах. Время не терпело, и мы не сделали никаких дополнительных копий. Таким образом, единственный экземпляр должен был уйти по надежному каналу.

Однако случилось иное. Алексеева сборник не отправила, а вместо этого подвергла его беспардонной цензуре, выкинув и уничтожив добрую половину материалов. Узнав об этом, я стал возмущаться, назвав такое поведение ничем не лучше советской цензуры. В ответ на это Алексеева заявила, что она консультировалась с Юлием Даниэлем и что он якобы с ней согласился. Из разговора с Юлием я выяснил, что он в действительности сказал что-то уклончивое. Хотя, даже если бы он и принял на себя какую-то ответственность за цензурирование чужой работы, это ничего не меняло бы. Вот в этот разгорающийся скандал и вступил мой отец, чтобы умирить страсти и добиться хотя бы худого мира. Отец приехал к нам с Машей в Коньково. Это был трудный разговор, продолжавшийся целый день. Он уговаривал меня и в конце концов уговорил сделать вид, что ничего не произошло.

Как выяснилось позднее, то, что осталось от сборника, было все-таки отослано Чалидзе, но мое имя тоже было выкинуто. Остатки этого сборника были позднее включены издательством «Хроника» в книгу Анатолия Марченко «От Тарусы до Чуны» без какой-либо ссылки на меня.

Потом пришло время, когда под нажимом КГБ мы с Машей эмигрировали на Запад. Почти два года мое общение с отцом было преимущественно по переписке, так как дозвониться в Москву было весьма затруднительно и баснословно дорого. Когда отцу понадобилась срочная операция, я не на шутку испугался за его жизнь, так как в КГБ это вызвало оживленный интерес. Невольно вспомнилась операция, которой подвергли в 1925 г. М.В. Фрунзе. Тогда Сталин тоже проявил к ней необычайный интерес... и банальная операция закончилась смертью пациента.

Почти не рассчитывая на успех, я послал родителям приглашение приехать в США, где мы с женой к тому времени поселились. Конечно же, если бы мир был без добрых людей, нам, свежим иммигрантам, было бы абсолютно не по карману оплатить лечение. Но, на наше счастье, через американскую украинскую общину мне удалось познакомиться с докторами Олесницким и Кузьмаком (оба украинского происхождения), которые взялись провести операцию бесплатно и привлекли к этому еще двух докторов – Щёна и Кокса.

И вот все было готово к приезду родителей, но в душе я сильно сомневался, что им разрешат выезд. Как мало я понимал тогда! Невольно все мы помогли КГБ разыграть давно разработанный сценарий изгнания генерала Григоренко из СССР!

После лишения отца гражданства он с головой ушел в работу над книгой воспоминаний, чтение лекций и очень активную работу по привлечению внимания мировой общественности к нарушению прав человека в СССР. Я не стану перечислять здесь всего, что он сделал за десять лет в эмиграции. Хочу лишь упомянуть о том, что у нас вышла пара конфликтов при издании книги на русском языке и ее переводе на украинский.

Первым был длительный диспут о том, что раз книга пишется по-русски, то не следует оставлять в ней весьма большие куски написанные по-украински.

Для меня, русского издателя книги (издательство «Детинец»), это порождало техническую проблему. Если бы я оставил украинские куски в русском тексте, то мне пришлось бы давать их перевод на русский, что резко увеличило бы объем и без того весьма пухлого тома. Но в то же время, если дать только русский перевод, пропадет украинский колорит оригинала. И я предложил отцу переделать диалоги таким образом, чтобы украинская стилизация была понятной русскоязычному читателю, но при этом не было утрачено ощущение, что разговор ведется по-украински. Отцу эта идея, скажем откровенно, совсем не импонировала, но чисто утилитарные соображения вынудили его в конце концов согласиться и переработать текст.

Когда же был подготовлен украинский перевод, то издательство «Українські Вісті» самовольно поменяло название книги, а в тексте допустило массу ошибок и перекрутило многие имена до неузнаваемости. Мне казалось, что надо добиться исправления всех этих ошибок, но отец этого делать не стал.

Мне также не нравились определенные отцовские оценки, которые, как мне казалось, портили книгу. Я также хотел, чтобы он указал реальные, данные им при рождении, имена моих бабушки и дедушки, но он оставил их паспортные имена, которые им присвоил какой-то

писарь, которому настоящее имя бабушки Ганна показалось неправильным, и он переименовал ее в Агафью. А дедушкино настоящее имя Георгий, на взгляд другого писаря, было чересчур аристократичным. Вот Григорий – это более подходяще имя для селянина.

Правда, позднее отец сделал новую редакцию, выкинув ряд неудачных кусков, но настоящих имен своих родителей так и не назвал по причине, оставшейся для меня загадкой.

* * *

В октябрьский вечер 1983 года, накануне дня рождения моей жены и всего за десять дней до отцовского дня рождения, меня разбудил телефонный звонок: «Срочно вылетайте в Канзас-сити. Ваш отец при смерти».

В госпиталь я добрался только к утру. Отец был без сознания, и врачи сказали, что после такого обширного кровоизлияния в мозг он умрет, не приходя в сознание. Несколько суток я и прилетевший мне на помощь из Вашингтона Миша Макаренко просидели у отцовской постели. Мы готовили себя к самому страшному. Однако организм отца каким-то образом справился и на этот раз, настолько, что он смог встать на ноги и дойти до машины, а потом и до самолета, доставившего нас в Нью-Йорк. После этого первого инсульта отец прожил еще три с лишним года. Уже не в состоянии заниматься активной деятельностью, он до последних минут интересовался тем, что происходило на далекой Родине.

В канун 1987 года, в день Рождества по новому стилю, моя жена, тогда единственная наша дочь Татьяна и я по дороге из церкви к моим родителям попали в автомобильную катастрофу. Боюсь, что именно известие об этой катастрофе привело к повторному кровоизлиянию, и перед самым Новым годом отец оказался в нью-йоркском госпитале Бет Исроэл, из которого он уже не вышел.

Отец не боялся смерти. Никогда не забуду, как, в последний раз придя в сознание и узнав меня, он сказал: «Не сумуй, синку. Я не хочу больше жить. Бо це не життя».

* * *

С каждым годом время уносится все быстрее и быстрее. Уже более двадцати лет я лишен живого общения с отцом. Оборачиваясь в прошлое, я вспоминаю многие приятные моменты, о которых я не упомянул в этих записках. Я пытался представить его тем человеком, ко-

торым я его видел. Не знаю, смог ли я добиться этого в полной мере. В любом случае мне не хотелось бы, чтобы из его образа создавали икону. Он был, безусловно, выдающейся личностью, но это вовсе не означает, что он во всем и всегда был прав или не имел каких-то слабостей. Но как бы сильно он порой не заблуждался, он всегда оставался честным перед своей совестью.

*Нью Йорк,
10 октября 2007 года*

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Давно на білий берег порятунків
душа. Мов рідна чайка, звана;
з веселок: східці в стежку відімкнулись,
як розділ шостий, від Йоана.

Василь Барка

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ПЕТРОМ⁷⁷

...Пришла я обратно на строительство Дворца Советов, где меня полтора года назад арестовали⁷⁸. Выбора у меня не было.

Работа там оставила глубокий след в моей жизни. Там я восстановилась в партии. Об этом позоре, о восстановлении в партии, мне очень больно говорить. Я не хотела этого делать, но папа и Митя Черненко так меня уговаривали, что надо, мол, это сделать ради Алика, ради семьи, иначе вечно будут преследовать и жить будет очень тяжело. Митя говорил так:

– Ты не выпендривайся, не вылезай со своими способностями, особенно организаторскими. Сиди себе тихо, но в партии тебе надо быть.

И я подала заявление с просьбой восстановить меня в партии. Надеюсь, конечно, что мне откажут, однако восстановили. Но для себя я решила, что ни на какую идеологическую работу я никогда не пойду. Лучше буду мыть полы, грузить что-нибудь, но на идеологическую работу не пойду.

По прошествии многих лет, когда уже закончилась война и появился на свет второй сын Андрей, мой муж предложил мне работу:

– У нас освободилось место преподавателя политэкономии. Ты не хочешь пойти?

Меня как ошпарило.

– Ты вовсе не понимаешь, чем я дышу. Вот результат того, что уходишь из дома с утра и возвращаешься только спать. Так вот я тебе скажу, что для меня преподавать политэкономии и любую другую идеологическую дисциплину – все равно, что заниматься проституцией.

⁷⁷ Воспоминания Зинаиды Михайловны Григоренко взяты из записок, оставшихся после ее смерти и ранее не публиковавшихся. Названия даны составителями. Основные архивные материалы Петра и Зинаиды Григоренко распределены между тремя архивами: Архив Амхерст Колледжа, штат Массачусетс, США (The Petro and Zinaida Grigorenko Papers), Архив Киевского музея шестидесятников имени Васыля Стуса, Архив Российского правозащитного общества «Мемориал». – *Примеч. А. Г.*

⁷⁸ Здесь речь идет о полутора годах, проведенных Зинаидой Михайловной в заключении в 1937–1939 годах. Ей повезло, она попала в короткую оттепель, ознаменовавшую приход в карательные органы Лаврентия Берия. Тотальный террор перевалил через свой пик, и чтобы несколько умерить лихорадку, трепавшую страну, была освобождена небольшая часть политзаключенных. – *Примеч. А. Г.*

Он опешил:

– Как так?

– Вот так! Если не хватает твоей зарплаты, пойду лестницы мыть.

* * *

Как я уже сказала, пребывание на строительстве Дворца Советов оставило глубокий след в моей жизни. Там я познакомилась с Петром Григоренко, которому предстояло через несколько лет войти в мою жизнь на долгие-долгие годы, чтобы идти вместе, рука об руку, до самой смерти Петра. Мы прожили вместе сорок три года.

Однажды, в порядке партийной нагрузки, мне велели развесить объявления о том, что у нас будет доклад по международному положению⁷⁹.

– А вот и докладчик, пойді познакомься.

Я подхожу, встает наголо бритый мужчина, довольно молодой, тогда ему было лет тридцать, представляется:

– Петр Григоренко.

– Ну, какой же ты Петр? Ты – Петро! – ответила я.

И с моей легкой руки у нас на строительстве его начали звать Петро. Петро тогда подружился с заведующей парткабинетом Зинаидой Штейнберг. Когда я заметила его интерес к самой себе, то, чтобы отвести всякие сплетни, упорно настаивала, что Григоренко ухаживает за Зиной Штейнберг. Потом, вспоминая об этом, смеялись и Петро, и Зина.

На войне, как на войне...

(рассказ гвардии старшего сержанта)

Конец 1944 года. Граница давно уже оставлена позади, бои идут в Чехословакии, под Кошице. Не первый раз расстановка армий была, как слоеный пирог. Наш штаб вырвался вперед и попал в окружение. Была команда: всем в руки автомат, занять круговую оборону. Ко-

⁷⁹ К сожалению, я не смог найти в записках матери еще один эпизод, связанный со знакомством моих родителей. Мне неоднократно приходилось слышать его. Та политинформация была о событиях в Китае, и отец без бумажки называл множество трудно произносимых китайских имен. Мать заподозрила, что он просто дурит публику и на ходу сочиняет имена, которые, как ей казалось, запомнить невозможно. По этой причине она записала несколько упомянутых отцом имен. Спустя какое-то время, когда он уже вряд ли мог помнить то, что он говорил на политинформации, она спросила, не назовет ли он, кто занимал в Китае такие-то и такие-то посты. К ее великому удивлению отец преспокойно перечислил все выписанные ею имена. – *Примеч. А. Г.*

мандовал полковник Григоренко. Мне было страшно. Стреляла, часто закрывая глаза, но твердо знала, в плен не попаду, так как мы с Петром договорились: если кто из нас будет ранен в бою, то более здоровый застрелит раненого и покончит с собой.

До этого не дошло. Стреляем. Слышим где-то гул самолетов, идущих на подмогу. В этот миг майор Л., подняв руки, что-то начал кричать и сделал рывок в сторону немцев. Как подброшенный пружиной, мгновенно рядом с ним вскочил Григоренко, ударом наотмашь свалил майора, положил рядом с ним автомат и сам лег, продолжая отстреливаться от наседавшего противника.

С помощью подошедших отбили немецкую атаку; много врагов было уничтожено. Когда бой закончился, полковник Григоренко собрал всех участников боя и жестко сказал: «Когда мы отбивались, от немцев, никакого неприятного эпизода не было, был мгновенный шок, с которым майор быстро справился и исправился. Другой оценки быть не может. Рапорта не будет».

Надо было видеть просветлевшее лицо майора. Воевали вместе до конца войны Майор был легко ранен, но быстро вернулся в часть; воевал достойно, был награжден. Надолго запомнился, ему этот эпизод. Долго, уже после войны, мы получали от него теплые письма из далекой Сибири.

ГЕНЕРАЛ МОЕГО ДЕТСТВА

Он приходил к нам прямой и крепкий. Даже палка в его руке выглядела не как инвалидная, а оружием смотрелась – не подходи!

Что он – то ли в отставке, то ли разжалованный, – не имело для меня значения. Главным был его вид, умение держаться просто, но убедительно.

Все время он громко что-то обсуждал с дедом, спорил, но никогда они не ругались, не помню этого.

Дед, Алексей Евграфович Костерин, был уверен в справедливости марксистско-ленинского учения. Петр Григорьевич тоже. Оба они считали, что надо вернуться к «ленинским нормам» партийной жизни.

Да и как не быть им в том уверенными, коли всю жизнь отдали за идею торжества пролетариата? Хотя один был писателем, а другой генералом.

Когда дед сидел за письменным столом, нельзя было шуметь, громко говорить и топтать.

Но приходил Петр Григорьевич, и тишина заканчивалась – генерал не умел шептать.

Мне, мальчишке, было понятно, что в стране непорядок и надо что-то исправить, вот, наверное, старики и исправляют.

Но, судя по печали стариков, по их озабоченности и тревоге, – не все у них шло гладко. Я даже не знал, когда и за что Петра Григорьевича стали преследовать, сажать, за что исключили из партии, разжаловали.

Первый обыск был у нас, в Трубниковском переулке, аж в 1950-х, когда я совсем маленьким был. Но запомнил как фотографию – какие-то дяди снимают оконные трубки-багеты для штор, и заглядывают внутрь, крутят эти трубки. Даже меня поднимали, кроватку осматривали.

Вот эти самые дядьки, наверное, и мешали нашим старикам, не давали им что-то сказать и сделать что-то хорошее, а что они хотели именно хорошее – в том не было сомнения.

Помню один довольно ожесточенный спор. Петр Григорьевич крепко ругал за что-то Виктора Красина, а Володя Лапин, интеллигентнейший человек, все говорил, что у Красина слишком видна «по-

стоянная внутренняя мыслительная работа» и уже потому, дескать, он хороший, а не плохой.

Было это задолго до известного публичного покаяния этого самого Красина перед КГБ и советским народом.

К деду приходило много людей, много было споров и обсуждений, которых я не понимал.

Но все эти разговоры были уже тем невольным фоном, который откладывался для неизвестного тогда моего будущего. Было странное твердое чувство, что придется и мне узнать все то, о чем шли споры, и, может быть, даже весь путь повторить. Но вот передо мной живой генерал. Это уже слишком: неужели и воевать придется?

Еще при жизни деда, до его смерти в 1968 году, я забегал к Петру Григорьевичу в квартиру на Комсомольском проспекте рядом с метро «Парк Культуры». Дед ли что-то просил передать или Петр Григорьевич – неважно, я просто выполнял.

Квартира была уютная, жена Петра Григорьевича – Зинаида Михайловна – очень приветливая, открытая, теплая. Всегда кормила меня. Иногда и я помогал – сходить за хлебом, например.

Помню, было у них много народа, все сели за стол, а хлеба нет.

– Ну-ка, Алексей, сходи-ка к набережной, там магазин хлебный: белого два и черного буханку.

Я сгонял быстро, ощущая себя полезным, вернулся, а Петр Григорьевич из дальнего угла стола громко и при всех:

– Ты ЧТО это купил!? Ты разве не знаешь, какой черный хлеб нужен? Надо простой за 16 копеек, а ты купил обдирный за 18!

– Виноват. Товарищ генерал!

Через левое плечо кругом марш. Через 10 минут был ржаной за 16.

Это я уже в армии отслужил и стал бояться его всерьез – у нас в части, если даже майор, бывало, придет, так все боялись, а тут – генерал!

Петр Григорьевич потом написал книгу «В подполье можно встретить только крыс». Такое название он придумал, чтобы подчеркнуть – все его действия были принципиально открытыми и честными, ничего ни он сам не скрывал, и никто не смел повторять стиль партии большевиков.

Если писали тогда письмо протеста – подписывались своими именами и даже адреса указывали.

Мою маму выгнали за это из партии и с работы по защите от сельхозвредителей. Сразу рухнула разработанная ей «антивредительская система» против всяких жучков и личинок, но для властей все это было ничем – пусть хоть вся страна рухнет, лишь бы они властвовали вечно. Будь ты боевой генерал, будь академик или занят борьбой с действительными вредителями, но во вредителях окажешься

ты сам, если сомневаешься в правоте линии партии и ее «вооруженной руки» – КГБ.

Ощущение было как от нехватки воздуха, невыносимое для ищущих и творческих натур. Но для таких людей, как мой дед и Петр Григорьевич, это было время работы, возможности приложить свои силы, реализовать, как сейчас говорят, свои гражданские потенции.

Это тяжкое и душное время, как ни странно, породило необыкновенно теплую атмосферу среди участников правозащитного движения.

Семья Григоренко поддерживала мою маму, и когда ее уволили с работы, и когда смертельно заболела ее мать, моя бабушка, и когда сама мама попала в больницу, – всегда находили время зайти, проведать, поддержать.

Удивительно, но сейчас, в наши дни, ничего этого не стало. Люди дичатся, отходят в сторону, услышав про чужие проблемы. Настало пора безвременья, когда «всем на все наплевать». После десятков лет войн, лишений и репрессий люди устали. Вот, наверное, причина тотальной гражданской пассивности. И как не хватает сегодня той святой, братской взаимопомощи...

Был у генерала в семье взрослый сын Зинаиды Михайловны от первого брака Алик. Он был болен психически, от рождения, и я его боялся.

Однажды, я уже собирался уходить от них, а тетя Зина вдруг говорит, что Алик меня проводит.

Мне идти надо было мимо церкви на Садовое, чтобы на троллейбус сесть.

– А как же Алик вернется? – спросил я с тайной надеждой.

– Ничего, он сумеет, – сказала генеральша.

И вот идем. Алик рядом, что-то бормочет.

Вошли в церковный двор, что напротив их дома, на ограде голуби сидят.

Алик вдруг подошел к ним, взял одного и встал на фоне храма с голубем на руке...

Я сделал к нему шаг, но голубь тут же вспорхнул. Ударили колокола. Мороз по коже...

– Алик! – как же это у тебя получается?!

– Я – свят-о-о-й...

После вторжения советских танков в Чехословакию в 1968 г. сердце деда не выдержало. Он отослал свой партбилет в ЦК с осуждающим письмом. Вызвали его в райком партии, я пошел с ним. А там тетки ходят по коридорам, низкие, кривоногие, с усами, в пиджаках и с беломоринами в зубах.

Они вызвали деда в кабинет. Я услышал его странный крик...

Мы еле добрались домой, и я не знал, как ему помочь. Он слег и через два дня у него не выдержало сердце. Я его держал, пытался приподнять, думая, что так ему будет легче, но дед вдруг весь покраснел, захрипел и сделал долгий, облегченный выдох....

Петр Григорьевич приехал немедленно. Вошел молча, не поздоровавшись, уронил палку и сразу прошел к дедовской кровати. Почти упав на деда, он обнял его и закричал:

– Алешка!!! Алешка... Что же ты наделал?... Как же я без тебя?!..

– Странно, он же войну прошел, сколько раз видел смерть, почему же он так? – думал я.

Потом было все как во сне: много людей, бабка моя приемная – совсем никакая...

Все куда-то звали, спешили, что-то говорили.

Были знаменитые похороны, когда на гражданской панихиде впервые громко прозвучали свободные речи.

Сотрудники КГБ были и на похоронах, и у нас в квартире. Они успокаивали бабку, гладили ее по руке, говорили, что во всем виноват «этот Григоренко», который, мол, и довел деда до смерти.

И хотя это было очевидное вранье и все видели настоящую, редкую мужскую дружбу генерала и старого большевика, бабка испугалась, стала им верить и позволила забрать почти весь дедовский архив. Что-то я успел из него ночами перефотографировать, отдавая отснятые пленки Петру Григорьевичу...

После смерти деда я чувствовал себя совсем одиноко и стал чаще ходить в семью его друга. Зинаида Михайловна меня кормила, давала что-то из одежды, а то я немного «дошел»: студентом дневного отделения со стипендией в 35 рублей мне приходилось выпрашивать в столовке бесплатный соус с бесплатным хлебом... Но и стипендия была под угрозой – за две тройки деканат пообещал ее снять.

Физика, как хотел, из меня не вышло, – в институт пришли двое. Звали их, кажется, Владимирами Владимировичами, сейчас уже не помню, да это и неважно для того времени. Они вызвали меня в отдел кадров института, выгнав перед этим оттуда испуганных сотрудников.

Один Владимир Владимирович был мягкий, хороший, но сидел от меня дальше, чем другой Владимир Владимирович, который на меня кричал и требовал, чтобы я перестал ходить к «этому Григоренко».

Владимир же Владимирович первый, наоборот, был добрый. Он с укором, но и с некоторой симпатией говорил, что поможет мне, что они не дадут лишить меня стипендии (тут он слегка сдвинул брови, как бы осуждая в душе тех, кто собирается ее лишить). Но, чтобы помочь мне, всего-то и требуется, чтобы я тоже им помог и, наоборот,

ходил «туда» (он не сказал – куда), а потом бы с ним, Владимиром Владимировичем, встречался и рассказывал, что там и как.

Я попытался возражать, говорил, что в окружении моего деда и Григоренко замечательные люди, например, замечательный литератор Владимир Лапин...

Оба кэгебиста засмеялись: да он же больной!...

Я был потрясен этим сообщением и попросил время подумать, чем вызвал взрыв негодования и новых угроз у одного Владимира Владимировича и упрекающий взгляд у другого. Оба были настолько уверены в немедленном и нужном результате, что я почему-то обиделся, вышел, тут же направился к Петру Григорьевичу и рассказал ему обо всем.

Так появилась первая публикация по моему делу в нашем главном диссидентском сборнике – «Хронике текущих событий».

30 апреля 1969 г.

ВОКРУГ СЕМЬИ А.Е. КОСТЕРИНА

ВЕРУ ИВАНОВНУ КОСТЕРИНУ, вдову писателя, после смерти мужа «окружили вниманием» работники КГБ. Они звонят ей, спрашивают о здоровье, навещают дома и приглашают к себе – в КГБ. Из подробностей их бесед известно немного: под нажимом новых друзей В.И. КОСТЕРИНА подписала какое-то заявление против друзей мужа; она предпринимает какие-то действия, чтобы КГБ мог не возвращать П.Г. ГРИГОРЕНКО экземпляры произведений А.Е. КОСТЕРИНА, подаренные ему писателем при жизни и изъятые при обыске; ВЕРА ИВАНОВНА поверила и сама теперь рассказывает знакомым, что ГРИГОРЕНКО передал за рубеж половину произведений КОСТЕРИНА. Основное же, в чем хотят помочь ей сотрудники КГБ, – это надежно пристроить архив покойного писателя. Можно опасаться, что многолетний литературный труд А.Е. КОСТЕРИНА попадет в руки наиболее ненавистной ему организации.

Одновременно КГБ занялся «воспитанием» внука КОСТЕРИНА, студента Горного института АЛЕКСЕЯ СМИРНОВА. 31 марта и 1 апреля с. г. сотрудники КГБ провели две беседы с отцом АЛЕШИ, человеком, который никогда не принимал участия в воспитании сына, а последние два года вообще его не видел. В первый раз ему рассказали, что его сын связался с «яррым антисоветчиком» ГРИГОРЕНКО, и скоро их обоих арестуют. А если даже не арестуют, то сына выгонят из института. На следующий день линия переменялась: ГРИГОРЕНКО не арестуют, его оставляют как «приманку для молодежи»: кто к нему ходит – попадает на заметку. И от этой судьбы отец в союзе с КГБ может спасти АЛЕШУ.

С самим АЛЕКСЕЕМ СМИРНОВЫМ провели беседу 2 апреля с. г. в помещении отдела кадров института. Два со-

трудника КГБ, назвавшиеся ВЛАДИМИРОМ ИВАНОВИЧЕМ ВОЛОДИНЫМ и АЛЕКСЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ, провели с ним беседу – по сути дела, противозаконный допрос: его расспрашивали обо всех его друзьях и знакомых, выясняли политические убеждения, сообщали клеветнические сведения о друзьях А.Е. КОСТЕРИНА. В конце концов, от него потребовали прекратить «связь с Григоренко».

В 1982 году в Лефортовской тюрьме следователь предъявил мне обвинение как раз с этого момента. Мол, я начал свою преступную деятельность именно тогда.

Я спросил, почему же меня сразу не арестовали, а так долго ждали?

Майор Капаев ответил, что мое преступление непростое и относится к разряду «накапливающихся».

Я спросил, правильно ли понял, что, вот, например, если бы рассказал 99 антисоветских анекдотов за 10 лет, то этого бы еще не хватило для ареста, а вот сотый – он и есть тот самый последний, который и губит?

Следователь всерьез обиделся.

Но там, в камерах, я часто вспоминал крепкого генерала. Он мне помогал и там; ему и его друзьям обязан я тем, что выжил.

Москва, 2006 год

ГРАЖДАНСКИЙ КОСТЮМ

Улица Льва Толстого в Хамовниках начиналась от Фрунзенского плаца⁸⁰ и тянулась до военной академии им. Фрунзе. В дом номер один в начале этой улицы я переехал в 1957 году и оказался соседом семьи Григоренко. Нередко я видел идущего по полупустынной улице высокого военного под два метра ростом, с прямой спиной. Это и был Петр Григорьевич Григоренко. Он возвращался пешком из академии, где служил преподавателем.

Так случилось, что с его младшим сыном Андреем я оказался в одном классе 24-й школы. Мы быстро стали друзьями, и мне часто приходилось бывать в доме Григоренко. Помню, что на входной двери их квартиры был установлен неэлектрический звонок, на котором было написано «Прошу крутить».

Чаще всего я общался, конечно, с Андреем и его мамой Зинаидой Михайловной. Она часто приходила к нам в школу и принимала участие в нашей школьной жизни, устраивая нам экскурсии, походы, викторины и т. п. Она старалась воспитать своего сына образованным и порядочным человеком. Окружавшие его друзья вовлекались в ее орбиту.

В памяти сохранились и некоторые встречи с отцом Андрея. Однажды мы вместе поехали кататься на лыжах в подмосковные Химки. После прогулки мы, разгоряченные и уставшие, сидели за столом, и Петр Григорьевич стал вспоминать о войне. Мне хорошо запомнилось, что в своем рассказе он уделил внимание плохой солдатской обуви и тому, что несмотря на это простудных заболеваний было не много. Последнее скорее всего объяснялось тем, что во время тяжелых испытаний человеческий организм вырабатывает особый иммунитет против простуд.

Однажды, это было еще в наши с Андреем школьные годы, я увидел, что по длинному школьному коридору идет высокий военный с бритой головой. Он был виден мне со спины, и я подумал, что это, должно быть, отец Андрея. Быстро его разыскав, я сообщил ему об этом. Он спросил меня, в каком звании военный. «Кажется полковник», – сказал я. Андрей слегка улыбнулся и ответил, что это не его

⁸⁰ Так тогда называлась часть тепершнего Комсомольского проспекта от улицы Тимура Фрунзе до 1-й Фрунзенской улицы в Москве. – *Примеч. авт.*

отец, поскольку его отец – генерал. Так, спустя несколько лет после начала нашей дружбы, я узнал военное звание Петра Григорьевича.

Я не помню, чтобы в детстве видел его когда-нибудь в гражданском костюме – он всегда был в форме. Мне запомнилось, что когда мы ходили в театр, то после спектакля, уже выйдя в фойе, всегда легко находили возвышавшуюся над головами людей бритую голова военного, и нам, детям, трудно было потеряться.

Только где-то в начале шестидесятых годов я узнал из рассказа Андрея, который уже работал на заводе «Электросвет», что они с братом Георгием пошли для отца на заказ гражданский костюм и плащ. Это пришлось сделать потому, что советская промышленность не производила одежду такого большого размера, какой был нужен Петру Григорьевичу. Еще большая проблема возникла со шляпой, так как опять же таких больших шляп в магазинах попросту не было. С большим трудом братьям удалось найти шляпника, который принял заказ. (Между прочим, эту шляпу можно увидеть на одной из первых фотографий Петра Григорьевича, опубликованной на Западе в середине шестидесятых годов.) То есть у Петра Григорьевича, оказывается, просто не было долгое время гражданского костюма.

И напоследок несколько слов о «Союзе борьбы за возрождение ленинизма» (СБЗВЛ), созданном Петром Григорьевичем, в котором я тоже принимал участие. Правда, о том, что генерал возглавлял эту подпольную организацию, я узнал только, когда его арестовали. Сегодня это может показаться странным, но мы полагали тогда, что были хорошо законспирированы, и не пытались узнать имена других ее членов за пределами нашей молодежной ячейки. Святая простота. Для КГБ вся наша конспирация была детским лепетом.

В последующие годы я неоднократно встречался с Петром Григорьевичем, но поскольку, в отличие от Андрея и моего старшего брата Александра, я не принимал активного участия в правозащитном движении, то думаю, что об этом периоде его жизни лучше могут рассказать другие⁸¹.

*Москва,
16 октября 2006 года*

⁸¹ Действительно, подписи Михаила не найти под правозащитными документами той поры, но свою роль он принижает напрасно. Он и его жена Татьяна были частью того «молчаливого» слоя, без которого мы, активные «подписанты», просто не могли бы существовать. Не говоря уже о том, что они серьезно рисковали своей свободой, храня у себя дома правозащитные архивные документы и не скрывая своего общения с известными «отщепенцами». – *Примеч. А. Г.*

ОН НИ НА МИНУТУ НЕ ПРИВЫКАЛ К НЕСВОБОДЕ

Вмой московский период (1920–1970 годы) мне довелось встречаться и дружить со многими поистине выдающимися личностями – в самых разных областях общественной и художественной жизни страны. Среди них – и я чрезвычайно благодарна судьбе за это – особое место занимал разжалованный генерал Петр Григорьевич Григоренко. Никого похожего на него я в своей жизни не встречала.

Главное, что меня в нем поражало: совершенная самобытность, полное самообладание и – даже среди замечательных наших диссидентов-шестидесятников – исключительное бесстрашие, прибавлю еще, заразительное. Когда я находилась рядом с ним, мне передавались его спокойствие и уравновешенность. Мол, раз мы правы, то нам все нипочем.

И еще умение не тратить лишней энергии на «пустяки». Так, во время частых обысков в его квартире он просто ложился спать. Казалось, ни в каких обстоятельствах он не терялся, и естественно было в присутствии Петра Григорьевича подчиняться его авторитету.

Помню, как не менее мужественная, чем он, его жена Зинаида Михайловна захватила меня рано утром на вокзал, где надо было встретить Петра Григорьевича, проезжавшего транзитом: его переводили из заключения в психбольнице в Черняховске в другую психушку, поближе к Москве. Как только он появился на перроне – именно он, а не стража и «сопровождающие лица», повел нас, Зинаиду Михайловну, его сына Андрея и меня, через рельсы к поезду, который должен был доставить его в следующий пункт. И все это со спокойной, уверенной улыбкой.

И особенно запомнился день его освобождения (приуроченный к приезду Никсона) из подмосковной психушки. Зинаида Михайловна взяла меня с собой – Петр Григорьевич еще не знал, что его выпускают. Но, взглянув на новую голубую рубашку, которую привезла Зинаида Михайловна, ухмыльнулся. Все понял. После многочисленных формальностей нас всех вместе с лечащим врачом усадили в машину и повезли в Москву. И где-то на полпути, перебирая документы, выданные ему в больнице, Петр Григорьевич обнаружил, что очень важного среди них не было. «Стоп, – сказал он, – едем назад». Сказал, не

закричал. Я представила себе психологическую невозможность для него добровольно возвращаться туда, где его терзали «лечением», и мне удалось уговорить Петра Григорьевича ехать дальше с семьей. А посещение больницы взяла на себя.

Когда через несколько часов я приехала к ним на квартиру с нужной справкой, Петр Григорьевич стоял у окна и задумчиво водил пальцем по стеклу. Я подумала, что этот жест выражал неверие в отсутствие решетки, и сказала: «Привыкаете к свободе?» Он обернулся и проговорил: «К свободе мне не надо привыкать – я ни на минуту не привыкал к несвободе». Этот ответ содержал всю его суть.

*Январь 2007 года
г. Брайтон, Великобритания*

ДВА ОТРЫВКА ИЗ КНИГИ «ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИФА»

К правдолюбцам и правозащитникам, к тем людям, которые выступили против режима решительно и бескомпромиссно, я относился с заведомым пиететом поначалу ко всем подряд. Потом стал различать, что среди них были:

а) крупные личности (Сахаров, Григоренко, Орлов, Буковский, Амальрик, Турчин и другие), вступившие на этот путь, потому что не могли молчать, а не потому, что ничего не умели другого;

б) наивные и бескорыстные, но пустые романтики;

в) расчетливые дельцы, сообразившие, что и на диссидентстве, умело действуя, можно сделать карьеру;

г) глупые, напыщенные и просто психически нездоровые, вступившие в борьбу по неспособности к рутинному ежедневному труду, вместо которого может быть краткий миг подвига и – жизнь оправдана.

У многих тщеславие было первопричиной их поступков: где-то что-то дерзкое сказал, советскую власть обругал, Брежнева назвал палачом, и вот о тебе уже трубят наперебой все западные «голоса».

Ликбез

Про и контра

Сейчас у нас диссидентов многих забыли. Или точнее сказать предали забвению. Многие люди, даже не самые молодые думают, что у нас диссидентами были и с советским режимом открыто боролись только два человека: Сахаров и Солженицын. Не пытаюсь никоим образом умалить заслуги этих великих людей, я просто хочу напомнить, что были и другие. И даже, осмелюсь, сказать не менее достойные. Одним из них бы генерал Петр Григорьевич Григоренко, до преклонных лет оставшийся романтиком и правдолюбом. За что был разжалован, сидел в тюрьме, в психушке, все вынес и был, естественно, выпихнут за границу, в Америку. Был он при этом трогательным,

⁸² Публикуется с разрешения автора.

очаровательным и иногда вынашивавшим разные нелепости человеком. Так вот он однажды решил издавать самиздатский журнал, под названием «Контрсталинист». Поделится своей идеей со своим младшим единомышленником Анатолием Якобсоном и предложил ему вступить в редколлегию. Толя отказался. «Почему?» – спросил генерал. «Понимаете, Петр Григорьевич, – сказал Якобсон, – я очень чувствителен к словам. И мне не хочется, чтобы меня называли зас..нцем. Но мне будет так же неприятно, если меня назовут контрзас..нец».

ВОСПОМИНАНИЯ СЕКРЕТАРЯ⁸³

В 1978 году украинский Нью-Йорк с большим интересом воспринял весть о приезде члена-основателя Московской и Украинской Хельсинкских групп генерала советской армии Петра Григоренко, пережившего в Советском Союзе репрессии и психушки и изгнанного из страны, в которой он прожил многие годы.

Под влиянием публикаций в печати и многочисленных разговоров в украинской общине я уже создала себе образ этого легендарного человека. И поэтому, стоя перед дверью квартиры Григоренко в Квинсе, волновалась и со страхом ждала предстоящей встречи. Когда дверь открылась и я вошла в квартиру, то увидела перед собой могучего мужчину, но не в генеральском мундире, а в спортивной рубашке, который сидел за столом и ел борщ. Мы поздоровались довольно сдержанно, и мне показалось, что генерал почти не обратил на меня внимания, продолжая есть борщ. Я кое-как представилась, запутавшись в собственном имени, фамилии генерала и моей рекомендательницы, и вконец сконфуженная присела к столу по приглашению хозяйки. Зинаида Михайловна, жена генерала, милая, приветливая женщина, предложила мне присоединиться к их трапезе. Но я, хоть и была голодна, отказалась, поскольку не была уверена в том, что сумею спокойно есть в присутствии генерала.

Выслушав мой сбивчивый рассказ, Петро Григорович сказал: «Вас рекомендует Надия Свитлычна, называя Вас своей приятельницей. Этого мне достаточно. А сложатся ли у нас дружеские отношения, покажет время». Предполагалось, что я буду выполнять функции его секретаря. Мы обсудили технические вопросы и договорились, что я буду приходить дважды в неделю для разбора корреспонденции, а все остальное буду делать у себя дома.

Так началось наше знакомство. Понемногу официальность растаяла, и мы стали друзьями. И эта дружба сохранялась до конца его дней.

Я остановлюсь здесь только на двух коротких эпизодах из нашей совместной работы.

⁸³ Выступление на Вторых Григоренковских чтениях, посвященных 25-летию основания Украинской Хельсинкской группы, 16 октября 2002 года в Нью-Йоркском научном обществе имени Тараса Шевченко (перевод с украинского Андрея Григоренко).

Однажды Петро Григорович попросил меня: «Пришли мои архивы из Москвы, надо забрать их и привезти. Но сделать это нужно без огласки и осторожно. Никто не должен об этом знать, в особенности адреса, который Вам сообщат за два часа до вылета Вашего самолета. Направление – Европа, Франция. Билеты на самолет получите в тот же самый день».

Я восприняла это предложение с восторгом. В моем воображении смешались любопытство и интерес к детективным историям. Я живо вообразила себя в черных очках, в плаще с поднятым воротником, а также глаза шпииков, следящие за мной отовсюду. Но детективная сторона задания быстро отступила на второй план, и я приняла предложение, понимая всю важность этого задания.

Мое путешествие в Европу началось с участия в конференции в Англии, а затем посещения Мюнхена, после чего я вылетела в Париж. Там я провела время в обществе своих старых друзей, встретила по поручению генерала с Леонидом и Татьяной Плющами и... исчезла.

Я села на небольшой самолет, потом пересела на другой, потом около двух часов ехала на автобусе, а в конце – на такси. В соответствии с инструкцией я попросила водителя высадить меня на улице, не доехав приблизительно двух кварталов до нужного места. Огляделась. Надо мной снежное небо, серые тучи, лежащие на вершинах гор, а вокруг – высокие, могучие Альпы. Ветер притих, царил какая-то странная тишина, усиливавшая мое беспокойство. Я стояла, прислонившись к телеграфному столбу, в незнакомом горном городке, в чужом государстве, без знания местного языка, среди безлюдной улицы, и думала – а что же дальше? Побрела наугад, свернула в какой-то проулок и, к своему удивлению, оказалась перед указанным в адресе домом. Позвонила условным звонком. Вышел молодой человек и провел меня в помещение, своей обстановкой и мебелью немного напоминавшее персидское жилище. Из соседней комнаты был слышен телефонный разговор на непонятном мне языке. Единственное, что я смогла разобрать, было «курьеро генерало».

В комнату, где я находилась, вошла седая элегантная женщина в восточном наряде. Из последующего разговора выяснилось, что она иранская писательница. Женщина говорила со мной по-русски. Это она вывезла из Москвы архив генерала. Позднее к нам подсели еще два человека, немного владевшие английским. Они интересовались генералом Григоренко и его семьей. Мы обменялись письмами и приветами. Прощание было теплое. Я еще выпила чашку чая, немного перекусила, а затем той же дорогой возвратилась в Париж. Когда я ехала автобусом, то на пути нам встречались группы молодых людей с красными флагами, но еще больше их было на аэродроме. Позже мне объяснили, что

это были предвыборные агитаторы французской компартии. Не могу сказать, чтобы мне было очень приятно в этом «красном» обществе с коробкой-архивом генерала-диссидента в руках.

Из Парижа я снова заехала в Мюнхен, не выпуская из рук свой драгоценный багаж, и только через две недели вручила его владельцу.

Второй эпизод – мое путешествие с генералом в Норвегию в августе 1980 года. В Осло готовилась большая манифестация в поддержку польской «Солидарности». На манифестацию был приглашен генерал Григоренко в качестве главного оратора и спикера национального правозащитного движения. Между тем Петро Григорович чувствовал себя не очень хорошо, и врачи не советовали ему ехать. Но чувство ответственности возобладало над физическим недомоганием.

Ехали мы через Амстердам. В самолете генерал что-то записывал, читал, дремал и вообще был очень слаб. На аэродроме в Амстердаме ему было нужно пройти довольно длинным коридором, чтобы пересечь в другой самолет, однако сесть на тележку он категорически отказался. Я боялась, что он не выдержит, а ведь ему предстояли многочисленные выступления, требовавшие от него многодневного напряжения. На аэродроме в Осло его встречали представители правительства и различных комитетов, корреспонденты с наставленными фотоаппаратами и микрофонами. Посыпались бесконечные вопросы, касающиеся не только его приезда, но и актуальных мировых событий, в том числе только что введенного в Польше военного положения. И тут мои опасения относительно состояния генерала полностью улетучились. Его нельзя было узнать: он выпрямился, заулыбался и уверенным, громким голосом начал отвечать на вопросы.

На аэродроме нас встретил также знакомый Петра Григоровича доктор Мыкола Радейко и забрал нас к себе. В его гостеприимном доме мы чувствовали себя очень хорошо.

На другой день генерал принял участие в манифестации, проходившей на улицах Осло. Во время своего выступления Григоренко говорил о современной ситуации в коммунистических странах и о нарушениях прав человека. Во время манифестации он ехал в открытой машине, на улицах было полно народа. Люди с большим энтузиазмом приветствовали этого легендарного человека, бежали за его машиной. Мы с доктором Радейко сидели на заднем сиденье и были переполнены гордостью за нашего генерала.

Норвежская пресса широко откликнулась на все его выступления. В тот же день вечером генерал выступал перед студентами и профессурой университета Осло. Аудитория была забита до отказа. Когда он вошел в зал, присутствующие встали и приветствовали его бурными аплодисментами. Это был очень волнующий момент. Генерал гово-

рил о генезисе коммунизма и о теневых сторонах коммунистического режима, отвечал на вопросы. Когда он закончил, все присутствующие встали с мест и аплодисментами долго не отпускали генерала. Он был счастлив, и я вместе с ним. Это было как бы компенсацией за тот бойкот, обиду и пренебрежение, которые он претерпел от определенной части нашей украинской общины в Нью-Йорке. Генерал задержался в Норвегии дольше, чем планировалось, под опекой супругов Радейко. Он собирался побывать и в других скандинавских странах, а я вернулась в Нью-Йорк.

Пролетели годы. В 1987 году Петра Григоровича не стало. Но годы моего сотрудничества с ним навсегда останутся самым дорогим воспоминанием в моей многотрудной жизни.

Нью-Йорк, 2002 год

ГОРЕСТНАЯ ОДА СЧАСТЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

*Посвящается замечательному человеку
Петру Григорьевичу Григоренко*

Когда хлестали молнии ковчег,
Воскликнул Ной, предупреждая страхи:
«Не бойтесь, я счастливый человек,
Я человек, родившийся в рубахе!»
Родившийся в рубахе человек
Мудрейшие, почтеннейшие лица
С тех самых пор, уже который век,
Напрасно ищут этого счастливец.
Который век все нет его и нет,
Лишь горемыки прут без перебоя,
И горячат умы, и застыт свет,
А Ной наврал, как видно, с перепоя!
И стал он утешеньем для калек,
И стал героем сказочных забавок, —
Родившийся в рубашке человек,
Мечта горластых, повивальных бабок!
А я гляжу в окно на грязный снег,
На очередь к табачному киоску,
И вижу, как счастливый человек
Стоит и разминает папироску.
Он брал Берлин! Он, правда, брал Берлин,
И врал про это скучно и нелепо,
И вышибал со злости клином клин,
И шифер с базы угонял «налево».
Вот он выходит в стужу из кино,
И сам не зная про свою особость,
Мальчонке покупает «эскимо»,
И лезет в переполненный автобус.
Он водку пил и пил одеколон,
Он песни пел и женщин брал нахрапом!
А сколько он повкальывал кайлом!
А сколько он протопал по этапам!
И сух был хлеб его, и прост ночлег!
Но все народы перед ним — во прахе.
Вот он стоит — счастливый человек,
Родившийся в с м и р и т е л ь н о й рубахе!

ПРИЛОЖЕНИЯ

**ВЫСТУПЛЕНИЕ П. ГРИГОРЕНКО
НА ПОХОРОНАХ А. Е. КОСТЕРИНА
В МОСКОВСКОМ КРЕМАТОРИИ
14 НОЯБРЯ 1968 ГОДА**

Подвиг воина гигантский
И стыд сраженных им врагов
В суде ума, в суде веков –
Ничто пред доблестью гражданской.

К. Рылеев.

Ода «Гражданское мужество».

Да, далеко не каждый наделён таким качеством, как гражданское мужество. Алексею Евграфовичу, тело которого мы провожаем сегодня в последний земной путь, это качество было присуще органически.

На моих глазах совершались героические воинские подвиги. Совершали их многие. На смерть во имя победы над врагом на поле боя шли массы. Но даже многие из тех, кто были настоящими героями в бою, отступают, когда надо проявить мужество гражданское. Чтобы совершить подвиг гражданственности, надо очень любить людей, ненавидеть зло и беззаконие и верить, верить беззаветно в победу правого дела. Алексею все это было присуще. И тем тяжелее нам сегодня.

Дорогая Вера Ивановна, дорогие Лена и Алеша, дорогие Ирма и Вера, дорогие родственники покойного! Мы понимаем, как всем вам тяжело, особенно вам, Вера Ивановна, – его самому близкому человеку. Мы понимаем как тяжело его дочери Лене и воспитывавшемуся у вас внуку – наследнику имени и дела своего деда – Алеше Костерину. Понимаем и горе Ирмы, для которой в лице Алексея Евграфовича ушёл из жизни не просто брат ее расстрелянного отца, а человек, на которого она перенесла дочернюю любовь. Но поверьте, что наша скорбь, горе его друзей и соратников, тоже очень тяжелы. Наши ряды поредели, и утрату эту мы ничем восполнить не можем. В наших рядах мы, видимо, ещё долго будем ощущать большую брешь, а в сердцах – неутраченную боль. Вот почему, выражая вам самое сердечное соболезнование, я одновременно соболезную всем его друзьям, всему демократическому движению, особенно всем борцам за национальное равноправие малых наций. Они потеряли в лице Алексея Костерина

горячего и непоколебимого, умного и душевного своего защитника. Я вижу здесь представителей многих наций. Их было бы куда больше, если бы люди вовремя узнали о его кончине. Но, к сожалению, наша печать не пожелала оповестить об этом, а телеграф позаботился, чтобы некоторые телеграммы шли не очень быстро. В Фергане, например, телеграмма получена только вчера вечером. Поэтому, выражая соболезнование всем вам, я одновременно не могу не выразить своего возмущения и презрения тем, кто всячески пытался помешать нам провести похороны достойно того, что заслужил этот человек.

Дорогие товарищи! И моя душа стонет от горя. И я плачу вместе с вами. Особенно соболезную я вам, представители многострадального крымско-татарского народа. Многие из вашей нации знали Алексея Евграфовича при его жизни, дружили с ним. Он был всегда с вами и среди вас. Он и останется с вами. Думаю, что Нурфет, звонивший вчера из Ферганы, выразил общее мнение вашего народа, когда заявил: «Мы не признаём его смерти. Он будет всегда жить среди нас». Вы знаете, что Алексей Евграфович питал чувства большой любви к вашему народу. Недаром он и прах свой завещал крымским татарам. И мы – Вера Ивановна и все его друзья – выполним этот завет и перевезем урну с его прахом в Крым, как только будет восстановлена крымско-татарская автономия на земле ваших предков. Верьте, Костерин будет продолжать бороться за это. Мы надеемся также, что среди советских писателей найдутся люди, способные подхватить костеринское знамя и вести борьбу за равноправие малых народов не только в США, Латинской Америке и Африке, но и у себя дома, в своей стране.

Я очень недолго знаю Алексея. Меньше трех лет. Но у меня прошла с ним рядом целая жизнь. Самый близкий мне человек еще при жизни Костерина сказал: «Тебя сотворил Костерин». И я не спорил. Да, сотворил – превратил бунтаря в борца. И я ему буду благодарен за это до конца дней своих. Я буду помнить каждый шаг, пройденный с ним рядом. Мы были неразлучны, даже когда находились территориально врозь. И я могу сказать, что знаю этого человека всю жизнь и одобряю каждый его шаг, каждую его мысль. И он дал мне право называться одним из самых близких его друзей.

Что же могу сказать я о нем, как самый близкий его друг? Что привлекало меня в нем с особой силой?

Прежде всего, – его человечность, его неиссякаемая любовь к людям и вера в них, вера в то, что человек создан для того, чтобы идти по земле с гордо поднятой головой, а не ползать – то ли перед властью денег, то ли перед «авторитетами», то ли перед властью имущими. Человек по Костерину – мыслящее существо. Поэтому ему от природы

присуще стремиться к познанию, т. е. критически оценивать действительность, делать собственные выводы и свободно высказывать свои убеждения и взгляды. Он и сам был таким человеком – мыслителем с очень зорким взглядом на жизнь. За эту черту его жутко ненавидели те, кто считает, что люди существуют для того, чтобы создавать фон для «вождей», аплодировать им и кричать «ура!», слепо верить в них, молиться на них, безропотно сносить все их издевательства над собой и похрюкивать от удовольствия, если в корыто нальют пошла побольше, чем в другие, и погуше.

Алексей отвечал таким существам в человеческом образе полной взаимностью. Людьми их он не считал и верил, что недалеко то время, когда человечество навсегда избавится от подобной мерзости. Он ненавидел не только их, но и созданные ими порядки. Он не уставал повторять слова Ленина: «Нет ничего более жестокого и бездушного, чем чиновничье-бюрократическая машина». Поэтому он считал, что у коммуниста нет более важной задачи, чем разрушение этой машины. Но он не был экстремистом в принятом ныне значении слова – бунтарем-разрушителем. Он был уверен, что работа разрушения этой машины – не просто разовое силовое действие, что это – длительная работа, связанная с преодолением многовековых предрассудков и мистического преклонения перед государством, веры в то, что люди могут существовать только в условиях надзора над ними, в условиях подавления их мысли и воли извне навязанной силой. Иначе говоря, разрушение чиновничье-бюрократической машины это, прежде всего – революция в умах, в сознании людей, что немыслимо в условиях тоталитаризма. Поэтому важнейшая задача сегодняшнего дня – развитие подлинной ленинской демократии, бескомпромиссная борьба против тоталитаризма, скрывающегося под маской так называемой «социалистической демократии». Этому он и отдавал все свои силы.

Сегодня на примере жизни, смерти и похорон Костерина мы воочию убеждаемся в правоте ленинской характеристики «нравственного лица» чиновничье-бюрократической машины. В условиях господства этой машины любой из тех, кто сидел на партийном собрании, разбиравшем «персональное дело Костерина», молча слушал клевету на своего товарища по партии, зная, что тот стоит на краю могилы, и потом голосовал за его исключение, понимая, что это не только морально-психический удар по тяжело больному человеку, но и санкция на дальнейшую его травлю, может сказать – «Ну, что я мог поделаться один?» – и, освободив, таким образом, совесть, спать спокойно. До этих людей, воспитанных не в духе личной ответственности за все, что происходит в мире, а в бездушном подчинении «указаниям», так

и не дойдет, что они участвовали в убийстве человека, т. к. не только травмировали больного, но хотели лишить его того главного, что делает человека человеком – права мыслить.

А те, кто организовали исключение из партии, а затем как воры, в глубокой тайне, пытались лишить Костерина писательского звания, а вернее, тех преимуществ, кои вытекают из права быть записанным писателем в бюрократических кондуитах, – они что скажут? Они получили «указания» и с видом всемогущим взялись за «разжалование», даже не понимая, что имя писателя приобретается не путем подачи заявления о приеме в ССП. Они забыли, а, может, и не знают, что ни Пушкин, ни Толстой в этой организации не состояли. Они настолько веруют в силу своих бюрократических установлений, что пытались лишить писательского звания даже такого величайшего поэта нашей страны, как Пастернак. Они не понимают и того, что Солженицын и без их Союза останется великим писателем, а его произведения переживут века, в то время как их бюрократическое творение без писателей, подобных Пастернаку и Солженицыну, – никому не нужная пустышка. Им и невдомек, что каждому действительному писателю приятнее разделить судьбу Пастернака и Костерина, чем заседать рядом с воронковыми и ильинскими. Им еще многое непонятно – этим винтикам чиновничье-бюрократической машины «во писательстве». Ни у кого из них даже угрызений совести не появится. Как же! Они ведь «долг свой выполнили» – крутили колеса не ими заведенной машины. А что погиб человек в результате этого – так при чем тут они?!

Никто не виновен. У всех совесть чиста. И у директора столовой, который накануне дня похорон принял наш заказ на поминки по усопшему, а за 2 часа до похорон, после того как его навестили двое с синенькими книжечками, категорически отказал и вернул полученный накануне задаток; и у коменданта крематория, который под руководством таинственной личности в цивильном сократил положенные нам полчаса (два оплаченных срока) до 18 минут; и у тех многочисленных типов в гражданском и чинов милиции, которые непрерывно маячили у нас на глазах, омрачая и без того тяжёлые минуты нашего горестного прощания, – у всех у них совесть спокойная. Все они выполняли «указания», хотя никто из них даже не знает толком, от кого они исходят. Только у одного человека – работника морга, который, тоже руководствуясь указаниями таинственной личности, выдал нам тело нашего друга не за час, как было условлено, а за 20 минут до отъезда из морга, – только у него, после того, как он прослушал выступления нескольких друзей писателя-большевика, шевельнулось, видимо, что-то человеческое, и он с просительно-извиняющимся вы-

ражением на лице сказал нам вслед: «Поймите, пожалуйста, что я же не по своей воле сделал это».

Вот какова эта машина, машина, вращаемая нашими руками и головами, беспощадно нас давящая, уничтожающая лучших людей нашего общества, делающая всех невинными, ответственными за совершаемые ей преступления, освобождающая своих слуг от совести. Страшная, жестокая, бездушная машина.

Именно против этой машины и боролся Костерин всю свою жизнь. Именно от нее он защищал людей. И люди шли к нему, становились с ним рядом, заслоняли его собой. В его кругу не возникал ни национальный вопрос, ни проблема отцов и детей. Украинцы, немцы, чехи, турки, чеченцы, крымские татары и многие другие национальности (всех и не перечислить) находили теплый прием в его доме; среди всех них, а особенно среди крымских татар, чеченцев и ингушей, у него было много близких друзей. То же и с возрастными. Наряду с людьми его поколения, с ним дружили и люди среднего возраста, и молодежь – такие, как талантливый физик-теоретик, сведенный в могилу той же чиновничье-бюрократической машиной, 28-летний Валерий Павлинчук, как ныне отбывающий срок в лагерях строгого режима организатор демонстрации на площади Пушкина в защиту Галанскова, Гинзбурга и других – Володя Буковский, и многие еще более молодые, которых я, по понятным причинам, не назову.

В надгробной речи нельзя рассказать все о таком человеке, как покойный, особенно, когда горло сжимается горем и душит злоба против убийц этого замечательного человека – коммуниста, демократа-интернационалиста, негнимога бойца за человеческое достоинство, за права человека, когда слуги убийц пытаются прервать тебя, не дать тебе высказать все что просится наружу из самой глубины сердца.

Прощаясь с покойником, обычно говорят: «Спи спокойно, дорогой товарищ!». Я этого не скажу. Во-первых, потому что он меня не послушает. Он все равно будет воевать. Во-вторых, мне без тебя, Алеша, никак нельзя Ты во мне сидишь. И оставайся там. Без тебя и мне не жить. Поэтому не спи, Алешка! Воюй, Алешка Костерин, костери всякую мерзопакость, которая хочет вечно крутить ту проклятую машину, с которой ты боролся всю жизнь! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя.

Свобода будет! Демократия будет! Твой прах в Крыму будет!

**РЕЧЬ П. ГРИГОРЕНКО
НА БАНКЕТЕ 17 МАРТА 1968 Г.,
УСТРОЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДА В МОСКВЕ,
В РЕСТОРАНЕ «АЛТАЙ», ПО СЛУЧАЮ
72-ЛЕТИЯ ПИСАТЕЛЯ А. Е. КОСТЕРИНА**

(Приводится в сокращении)

<...> Теперь позвольте мне коротко высказать наши с Костериним взгляды по актуальным проблемам вашего движения.

Скоро исполнится четверть века с тех пор, как ваш народ был выброшен из собственных жилищ, изгнан из земли своих предков и загнан в резервации, в такие условия, в которых гибель всей крымско-татарской нации казалась неизбежной. Но выносливый и трудолюбивый народ преодолел все и выжил назло своим недругам.

Потеряв 46 % своего состава, он начал постепенно набирать силы и вступать в борьбу за свои национальные и человеческие права.

Эта борьба привела к некоторым успехам: снят режим ссыльнопоселенцев и произведена политическая реабилитация народа. Правда, последнее сделано с оговорками, значительно обесценивающими этот акт, и, главное, кулуарно широкие массы советского народа, которые в свое время были широко информированы о том, что крымские татары продали Крым, так и не узнали, что эта продажа – вымысел чистой воды. Но хуже всего то, что указом о политической реабилитации одновременно, так сказать, походя, узаконена ликвидация крымско-татарской нации. Теперь нет, оказывается, крымских татар, а есть татары, ранее проживавшие в Крыму.

Один этот факт может служить убедительнейшим доказательством того, что ваша борьба не только не достигла цели, но в известном смысле привела к движению назад. Репрессиям вы подвергались как крымские татары, а после «политической реабилитации» оказалось, что такой нации и на свете нет.

Нация исчезла. А вот дискриминация осталась. Преступлений, за которые вас изгнали из Крыма, вы не совершали, а возвратиться в Крым вам нельзя.

На каком основании ваш народ ставят в столь неравноправное положение?! Статья 123 Конституции СССР гласит: «Какое бы то ни

было прямое или косвенное ограничение прав... граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности... карается законом».

Таким образом, закон на вашей стороне. (Бурные, продолжительные аплодисменты.) Но, несмотря на это, права ваши попираются. Почему?!

Нам думается, что главная причина этого заключается в том, что вы недооцениваете своего врага. Вы думаете, что вам приходится общаться только с честными людьми. А это не так. То, что сделано с вашим народом, делал не один Сталин. И его соучастники не только живы, но и занимают ответственные посты. Они боятся, что если вам возвратят незаконно отнятое, то им придется со временем отвечать за свое участие в произволе. (Бурные аплодисменты.) Поэтому они принимают все меры, чтобы не допустить успеха в вашей борьбе. Ведь если сохранить все, как есть, то вроде бы в прошлом и не было никакого беззакония.

А вы избрали тактику, которая помогает им добиваться этого. Вы обращаетесь к руководству партии и правительства со смиренными письменными просьбами, которые идут через руки тех, кто настроен против вашего национального равноправия. А так как просят лишь о том, на что безусловного права не имеется, то ваш вопрос преподносится тем, кто его решает, как вопрос сомнительный, спорный. Ваше дело обволакивается не имеющими к нему отношения суждениями. Например: «В Крыму нет свободных мест для поселения татар», «Если татары уедут, в Средней Азии некому будет работать», «Крымско-татарский народ обжился на новом месте. К тому же, он не представляет из себя самостоятельной нации, поэтому, кому из них хочется жить в татарской республике, пусть едет в Татарскую АССР», «На переселение надо много денег» и т. д.

Все перечисленные, как и множество других мотивов, выдвигаемых врагами вашего национального возрождения, яйца выеденного не стоят. Но так как вы просите, а против вашей просьбы выдвигаются «веские» возражения, то дело не двигается или двигается в обратном направлении. Чтобы покончить с этим ненормальным положением, вам надо твердо усвоить то, что положено по праву, не просят, а требуют! (Бурные аплодисменты, возгласы: «Правильно!», «Верно!», «Ура!»)

Начинайте требовать. И требуйте не части, не кусочка, а всего, что у вас было незаконно отнято – восстановления Крымской Автономной Советской Социалистической Республики! (Бурные аплодисменты, возгласы: «Да здравствует Крымская АССР!», «Ура!»)

Свои требования не ограничивайте писанием петиций. Подкрепляйте их всеми теми средствами, которые вам предоставляет

Конституция – использованием свободы слова и печати, митингов, собраний, уличных шествий и демонстраций.

Для вас издается газета в Москве. Но делающие эту газету люди не поддерживают ваше движение. Отберите у них газету. Изберите свою редакцию. А если вам помешают сделать это – бойкотируйте эту газету и создавайте другую свою! Движение не может нормально развиваться без собственной печати.

В своей борьбе не замыкайтесь в узко национальную скорлупу. Устанавливайте контакты со всеми прогрессивными людьми других наций Советского Союза, прежде всего, с нациями, среди которых вы живете, с русскими и украинцами, с нациями, которые подвергались и подвергаются таким же унижениям, как и ваш народ.

Не считайте свое дело только внутригосударственным. Обращайтесь за помощью к мировой прогрессивной общественности и к международным организациям. То, что с вами сделали в 1944 году, имеет вполне определенное название. Это чистейшей воды геноцид – «один из тяжчайших видов преступления против человечества...» (БСЭ, т. 10, стр. 441).

Конвенция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г., отнесла к геноциду «...действия, совершенные с намерением уничтожить полностью или частично какую-нибудь национальную, этническую, расовую или религиозную группу...» различными методами и, в частности, путем умышленного создания «для них таких условий жизни, которые имели бы целью ее полное или частичное физическое уничтожение...» (там же). Такие действия, т. е. геноцид, «...с точки зрения международного права является преступлением, которое осуждается цивилизованным миром и за совершение которого главные виновники и соучастники подлежат наказанию» (там же). Как видите, международное право тоже на вашей стороне. (Бурные аплодисменты.) И если бы вам не удалось решить вопрос внутри страны, вы вправе обратиться в Организацию Объединенных Наций и в Международный трибунал.

Перестаньте просить! Верните то, что принадлежит вам по праву, но незаконно у вас отнято! (Бурные аплодисменты, в едином порыве все вскакивают со своих мест и скандируют: «КрымАССР!, КрымАССР!..») И запомните: в этой справедливой и благородной борьбе нельзя позволить противнику безнаказанно выхватывать бойцов, идущих в первых шеренгах вашего движения.

В Средней Азии уже состоялся ряд процессов, на которых незаконно, по ложным мотивам, осуждены борцы за национальное равноправие крымских татар. Сейчас в Ташкенте готовится процесс такого же характера над Энвером Маметовым, Юрием и Сабри

Османовыми и другими. Не допустите судебной расправы над ними. Потребуйте, чтобы в соответствии с законом суд был открытым. Добейтесь открытого суда, массой придите на него и не допускайте, чтобы зал заполнили специально подобранной публикой. В зале должны сидеть представители крымско-татарского народа.

И последнее. Алексей Евграфович просил передать вам, что он получил много писем и телеграмм с поздравлениями от крымских татар. Ответить на них он сейчас не может и поэтому просит вас передать его самую искреннюю и глубокую благодарность всем, кто так или иначе прислал ему свои слова привета и поздравления. Он заверяет, что и впредь он будет отдавать все силы выполнению своего патриотического и интернационального долга, делу борьбы за полное равноправие всех наций, за искреннюю дружбу между всеми народами мира.

Я поднимаю свой бокал за смелых и несгибаемых борцов за национальное равноправие, за одного из наиболее выдающихся бойцов этого фронта, за писателя, большевика, интернационалиста Алексея Костерина, за здоровье крымско-татарского народа! Я желаю вашему народу полного успеха в его справедливой борьбе! За встречу в Крыму, дорогие друзья, на территории восстановленной и возрожденной Крымской Автономной Советской Социалистической Республики!!!

(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, здравицы в честь Крымской АССР, пение «Интернационала».)

Запись проверил и исправил П. Григоренко

ПРАВООЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.Г. ГРИГОРЕНКО В ЗЕРКАЛЕ ДОКУМЕНТОВ КГБ И ЦК КПСС

№ 13

Записка Ю. Андропова в ЦК КПСС
от 10 июня 1968 года

Секретно

СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

10 июня 1968 г[ода]

№ 1342-А

г. Москва

ЦК КПСС

Комитетом госбезопасности оперативным путем получены данные о том, что ГРИГОРЕНКО в беседе с одним из своих знакомых заявил об известном ему якобы намерении представителей крымских «автономистов» подготовить и направить в ООН обращение, под которым они имеют в виду собрать подписи 250 000 татар, с призывом выступить в поддержку их требований. ГРИГОРЕНКО, одобряя эту акцию, заявляет, что она вызовет «колоссальный резонанс».

Комитет госбезопасности принимает меры к предотвращению возможных враждебных действий со стороны националистически настроенных лиц из числа крымских татар и других антиобщественных элементов⁸⁴.

Председатель Комитета госбезопасности
АНДРОПОВ

ЦХСД. Ф. 89. Оп. 28. Д. 20. Л. 1 (копия)

⁸⁴ Как писала в 2000 году начальник отдела Генеральной прокуратуры РФ Г.Ф. Весновская, «методика репрессий была уже несколько иной: неблагонадежных изолировали от общества, фальсифицируя материалы, и осуждали по надуманным основаниям. Кроме того, с помощью специально разработанной судебнопсихиатрической индустрии помещали в специальные психиатрические лечебные учреждения. Даже выдворяли из страны. По имеющимся данным, к уголовной ответственности только по ходовым в то время ст. 70 и 190-1 УК РСФСР привлечено к ответственности более 8 тыс. человек, около 20 тыс. человек были помещены в политические застенки лагерей и психбольниц по сфабрикованным уголовным делам». (Весновская Г.Ф. ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. Международное Общество Прав Человека (МОПЧ), Франкфурт-на-Майне; Москва. 2000. С. 408).

Записка Ю. Андропова в ЦК КПСС
от 12 февраля 1976 года

Секретно
экз. № 1

СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

12 февраля 1976 г[ода]

№ 360-А

г. Москва

ЦК КПСС

О предупредительно-профилактической беседе
с ГРИГОРЕНКО П.Г.

Сообщаю, что 30 января 1976 года проведена предупредительно-профилактическая беседа с ГРИГОРЕНКО Петром Григорьевичем, 1907 года рождения, бывшим генералом Советской Армии, исключенным из членов КПСС, пенсионером, проживающим в городе Москве по адресу: Комсомольский проспект, д. 14/1, кв. 96, ранее дважды судимым за антисоветскую деятельность и распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

С 1970 по 1974 год ГРИГОРЕНКО по определению судебных органов находился на принудительном лечении в психиатрической больнице.

После освобождения из больницы ГРИГОРЕНКО восстановил связи с САХАРОВЫМ и другими ревизионистскими элементами – активными участниками антиобщественной деятельности. Совместно с ними принимает участие в провокационных сборищах, подготовке и передаче за границу клеветнической информации о якобы имеющих место нарушениях прав человека в Советском Союзе, в том числе по так называемому «крымско-татарскому вопросу», которая используется во враждебной антисоветской пропаганде.

В беседе ГРИГОРЕНКО было указано, что его деятельность наносит вред интересам нашего государства и в случае ее продолжения ему будет вынесено официальное предостережение органов КГБ.

ГРИГОРЕНКО заявил, что никакой антиобщественной деятельностью заниматься не будет, а по возникающим у него вопросам он будет обращаться в соответствующие советские инстанции официальным путем.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета госбезопасности
АНДРОПОВ

ЦХСД. Ф. 89. Оп. 60. Д. 5. Л. 2 (копия)

Записка Ю. Андропова в ЦК КПСС
от 15 ноября 1976 года

Секретно

СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

15 ноября 1976 г[ода]

№ 2577-А

г. Москва

ЦК КПСС

О враждебной деятельности так называемой
группы содействия выполнению
хельсинкских соглашений в СССР

В последние годы спецслужбы и пропагандистские органы противника стремятся создать видимость наличия в Советском Союзе так называемой «внутренней оппозиции», предпринимают меры по оказанию поддержки инспирируемым антиобщественным проявлениям и объективно содействуют блокированию участников различных направлений антисоветской деятельности.

Так, в 1969 году антиобщественные элементы во главе с ЯКИРОМ и КРАСИНЫМ в целях организационного сплочения участников так называемого «движения за демократизацию» создали «инициативную группу».

В 1970 году для активизации антиобщественной деятельности враждебно настроенных лиц ЧАЛИДЗЕ создал так называемый «комитет защиты прав человека», в который кроме него вошли академик САХАРОВ и член-корреспондент Академии наук СССР ШАФАРЕВИЧ.

В 1973 функции организованного объединения антисоветски настроенных лиц взяла на себя так называемая «русская секция “Международной амнистии”», возглавляемая ТУРЧИНЫМ и ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ.

Члены указанных организаций устанавливали контакты с некоторыми зарубежными антисоветскими центрами и в целях дискредитации советского государственного и общественного строя занимались сбором и распространением клеветнических материалов.

В результате принятия Комитетом госбезопасности мер «инициативная группа» и «комитет защиты прав человека» полностью себя скомпрометировали и практически прекратили свое существование, а деятельность «русской секции» была локализована.

Однако, несмотря на неудачи с попытками создать в СССР «внутреннюю оппозицию», противник не отказался от этой идеи.

12 мая с. г. по инициативе члена-корреспондента Академии наук Армянской ССР ОРЛОВА Ю.Ф., 1924 года рождения, нигде не работающего, антиобщественные элементы объявили о создании «группы содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР».

В «группу» входят следующие лица: неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности ГИНЗБУРГ А.И., 1936 года рождения, еврей, нигде не работает; ГРИГОРЕНКО П.Г., 1907 года рождения, украинец, пенсионер, профессиональный уголовник МАРЧЕНКО А.Т., 1938 года рождения, русский, отбывающий ссылку в Иркутской области; еврейские экстремисты: РУБИН В.А., 1913 года рождения, еврей, выехавший в Израиль, ЩАРАНСКИЙ А.Д., 1948 года рождения, еврей, нигде не работает, и СЛЕПАК В.С., 1927 года рождения, еврей, нигде не работает; участник различных враждебных акций жена САХАРОВА – БОННЭР Е.Г., 1922 года рождения, еврейка, пенсионерка, БЕРНШТАМ М.С., 1949 года рождения, еврей, выехавший в Израиль, ЛАНДА М.Н., 1918 года рождения, еврейка, пенсионерка, АЛЕКСЕЕВА Л.М., 1927 года рождения, русская, нигде не работает, и КОРЧАК А.А., 1922 года рождения, украинец, сотрудник Института земного магнетизма ионосферы и распределения радиоволн Академии наук СССР.

Созданием «группы» указанные лица преследуют провокационную цель – поставить под сомнение искренность усилий СССР по выполнению положений Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и тем самым оказать на правительство Советского Союза нажим в вопросах реализации хельсинкских договоренностей, прежде всего по «третьей корзине».

Члены «группы» осуществляют сбор материалов о якобы имеющих случаях невыполнения Советским правительством Заключительного акта, в частности о «нарушениях основных прав советских граждан», «преследованиях за инакомыслие» и т. п.

Собранную по этим вопросам информацию они передают по различным каналам правительствам стран, подписавших Заключительный акт. По замыслу членов «группы», в особых случаях они будут обращаться к этим странам с просьбой о создании международной комиссии для расследования обстоятельств дела. При этом «группа» делает ставку на давление западного общественного мнения на Советское правительство и не стремится, по словам ОРЛОВА, «искать опору в народе».

Антиобщественные элементы выступают с призывом к главам государств, принимавшим участие в хельсинкском совещании, учредить в их странах подобные неофициальные группы контроля, которые в последующем могли бы быть объединены в международный комитет.

За период своего существования «группа» предприняла ряд попыток добиться ее официального признания правительственными органами США. Так, в беседе с первым секретарем политического отдела

посольства США в Москве РИЧАРДОМ КОМБЗОМ в сентябре с. г. ОРЛОВ настаивал на официальном признании «группы» госдепартаментом США и использовании американцами передаваемой «группой» информации на уровне правительств и глав государств, в том числе и на предстоящем совещании в Белграде.

Комитетом государственной безопасности принимаются меры по компрометации и пресечению враждебной деятельности участников «группы».

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета госбезопасности
АНДРОПОВ

ЦХСД. Ф. 89. Оп. 37. Д. 4. Л. 1–4 (копия)

Записка Ю. Андропова в ЦК КПСС от 24 ноября 1977 года

Секретно

СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

24 ноября 1977 г[ода]

№ 2531-А

г. Москва

ЦК КПСС

О выезде в США в частном порядке
ГРИГОРЕНКО П.Г.

Последние годы среди лиц, проводящих антиобщественную деятельность, активную роль играет бывший генерал Советской Армии ГРИГОРЕНКО П.Г. С ним связаны многочисленные пресс-конференции, различного рода «заявления» и «обращения» по пресловутому вопросу о «правах человека», постоянно используемые зарубежной пропагандой в антисоветских целях.

Дважды ГРИГОРЕНКО привлекался к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность и оба раза в судебном порядке направлялся на принудительное лечение, так как, по заключению экспертов, страдал и страдает психическим заболеванием (шизофренией).

В октябре месяце ГРИГОРЕНКО возбудил ходатайство о разрешении ему поездки в США (там находится его сын, выехавший ранее в Израиль), мотивируя это необходимостью операции предстательной железы. По заключению советских врачей, ГРИГОРЕНКО действительно нуждается в этой операции, которая, однако, невозможна по состоянию его здоровья.

Возможный неудачный исход операции, если она будет проводиться в СССР, может вызвать нежелательные кривотолки и политически невыгодный для нас резонанс. Учитывая эти обстоятельства, принято решение не возражать против его выезда в США в частном порядке.

Предложения по вопросу о возвращении ГРИГОРЕНКО в Советский Союз будут представлены в зависимости от его поведения за границей.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета госбезопасности
АНДРОПОВ

ЦХСД. Ф. 89. Оп. 60. Д. 12. Л. 2 (копия)

Записка Ю. Андропова в ЦК КПСС
от 4 февраля 1978 года
Разослано членам Политбюро
ЦК КПСС на голосование

Секретно

ЦК КПСС

О лишении Григоренко советского гражданства

В соответствии с разрешением ОВИР Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома 30 ноября 1977 года на лечение в США сроком на 6 месяцев выехал Григоренко П.Г., 1907 года рождения, украинец, беспартийный (исключен из КПСС в 1964 году), пенсионер.

Григоренко длительное время занимается активной антисоветской деятельностью, за что дважды привлекался к уголовной ответственности, находился на принудительном излечении. Однако и после этого продолжал антисоветскую деятельность, постоянно инспирируя антиобщественные проявления. Даже получив разрешение на выезд из Советского Союза, Григоренко явился организатором публичной враждебной акции своих единомышленников на площади Пушкина в Москве 10 декабря 1977 года, которая принятыми Комитетом госбезопасности мерами была сорвана.

По имеющимся данным, находясь в США, Григоренко, несмотря на неоднократные заявления о том, что он будет вести себя за границей лояльно, продолжает заниматься враждебной Советскому государству деятельностью. В частности, он установил контакт с главарями зарубежных организаций украинских националистов и обсуждал с ними состояние и перспективы враждебной деятельности антиобщественных элементов в СССР, целесообразность объединения так называемых «групп содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР», наиболее приемлемую форму помощи им со стороны Запада.

Подобные действия Григоренко свидетельствуют о том, что он встал на путь двурушничества и в случае возвращения в Советский Союз вновь активизирует враждебную деятельность.

Исходя из изложенного, Комитет госбезопасности вносит предложение лишить Григоренко П.Г. советского гражданства.

МГК КПСС это предложение поддерживает.

Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Верховного Совета СССР прилагаются.

Просим рассмотреть.

Председатель Комитета госбезопасности
при Совете Министров СССР
Ю. АНДРОПОВ

4 февраля 1978 года
№ 234-А
04987
21-аф
7.И.[19]78 г[ода]

На документе имеется помета: «За. М. Суслов».

ЦХСД. Ф. 89. Оп. 25. Д. 21. Л. 1–2 (копия)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Совершенно секретно

№ П92/65
Московскому горкому КПСС
т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко,
Суслову, Кузнецову, Щелокову, Савинкину,
Георгадзе, Смиртюкову.

Выписка из протокола № 92
заседания Политбюро ЦК КПСС
от 9 февраля 1978 года

О лишении гражданства Григоренко П.Г.

Одобрить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР по
данному вопросу (прилагается).

Секретарь ЦК

ЦХСД. Ф. 89. Оп. 25. Д. 21. Л. 3 (копия)

К пункту 65 прот. № 92
Проект
Опубликовать в «Ведомостях
Верховного Совета СССР»

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О лишении гражданства СССР Григоренко П.Г.

Учитывая, что Григоренко П.Г. систематически совершает действия, несовместимые с принадлежностью к гражданству СССР, наносит своим поведением ущерб престижу Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании ст. 7 Закона СССР от 19 августа 1938 года «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» за действия, порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Григоренко Петра Григорьевича, 1907 года рождения, уроженца с. Борисово Приморского района Запорожской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ
Москва, Кремль

ЦХСД. Ф. 89. Оп. 25. Д. 21. Л. 4 (копия)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГРИГОРЕНКО П.Г.»⁸⁵

В целях увековечения памяти известного деятеля правозащитного движения, военного педагога и ученого генерал-майора Григоренко Петра Григорьевича п о с т а н о в л я ю:

1. Правительству Российской Федерации провести в Москве 16 октября 1997 года, в день 90-летия Григоренко П.Г., вечер, посвященный его памяти.

2. Правительству Москвы рассмотреть предложения общественного комитета по проведению дней памяти Григоренко П.Г. о названии (переименовании) одной из улиц г. Москвы именем Григоренко П.Г. и установлении мемориальных досок на доме, где он жил, и на здании Военной академии имени М.В. Фрунзе, где он работал.

3. Министерству обороны Российской Федерации учредить стипендии имени Григоренко П.Г. для слушателей и адъюнктов Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Б. Ельцин
Москва, Кремль, 1 сентября 1997 г.

⁸⁵ Этот указ был только частично претворен в жизнь. Министерство обороны организовало вечер памяти П. Григоренко, две стипендии имени Григоренко были учреждены для адъюнктов академии им. Фрунзе. Переименование Комсомольского проспекта или другой улицы Москвы, а также установка мемориальных досок осуществлены не были.

Главному редактору газеты «Известия»⁸⁶
103791, Россия, Москва
ул. Тверская, д.18

Уважаемый господин редактор!

14 октября 1997 года (№ 195) в руководимой Вами газете появилась статья Эдуарда Поляновского «Улица Петра Григоренко должна появиться в Москве». В этой статье сообщалось о Президентском Указе, о чествовании моего покойного отца – одного из зачинателей и лидеров Движения за Права Человека в СССР. В статье был высказан осторожный оптимизм, что в Москве появиться, согласно с Указом Президента, улица Григоренко, а на доме, где он жил, мемориальная доска. Как нетрудно догадаться, мне было чрезвычайно приятно читать эту статью, и я глубоко признателен и автору статьи и Вам за ее публикацию. Но я думаю, что Вы простите меня, что даже в момент прочтения статьи, а уж тем более по прошествии года со дня ее публикации, я более чем скептически смотрю на то, что улица Петра Григоренко в Москве появиться в ближайшем обозримом будущем⁸⁷.

Разумеется, я взялся за написание этой короткой заметки вовсе не для того чтобы похвастаться своей прозорливостью. С Вашего позволения я хотел бы поделиться с Вами и Вашими читателями, на чем собственно базируется мой скептицизм, и почему я глубоко убежден в том, что появление улицы Петра Григоренко в российской столице нужно в первую очередь самим россиянам.

Надо думать, что из моего заокеанского далека российская ситуация видится, по всей вероятности, не совсем так, как она видится изнутри. Но при этом я и не совсем сторонний наблюдатель. Как теперь многие знают из книги моего отца, я родился и рос в семье убежденных коммунистов и не мудрено, что таковым считал и себя. Когда последовали первые разоблачения преступлений Сталина, эта моя вера ничуть не поколебалась. Как и многие другие, я верил, что ошибки и преступления мог совершить отдельный человек, но при этом партийные ризы остаются чисты, и что Партия имеет конечную истину в кармане. Кровавое подавление Венгерской Революции в 1956 году пробило первую брешь в этой непоколебимой вере. В то время я не понимал, через какую духовную эволюцию проходили мои родители и, разумеется, не делился с ними своими сомнениями и болью. Но в

⁸⁶ Эта статья никогда не была опубликована. – *Примеч. А. Г.*

⁸⁷ Улица Петра Григоренко так никогда в Москве и не появилась. – *Примеч. А. Г.*

том незапамятном 56 году я совершил свой первый диссидентский поступок: в общественном туалете я написал на стене «Руки прочь от социалистической Венгрии». В моем тогдашнем детском мозгу слово «социалистический» имело некое магическое значение. Потребовались еще многие годы до того момента, когда я наконец сбросил с себя кабалу коммунистического дурмана. Даже в первые годы уже начавшегося Движения за Права Человека в СССР я еще считал себя марксистом. Одновременно с освобождением от коммунизма пришло и другое открытие – коммунизм не столько набор некоторых ходульных догм, сколько метод мышления. Человек может отказаться от марксизма-ленинизма, даже начать бороться с коммунизмом, апеллировать к новому набору догм, но при этом оставаться коммунистом. Правильнее, конечно, такой метод мышления назвать тоталитарным, что будет охватывать не только приверженцев коммунистических или нацистских догм.

Я привел ретроспекцию своего жизненного опыта отнюдь не для красного словца. Груз тоталитарного метода мышления довлеет над российским обществом, как впрочем и над всеми посттоталитарными обществами. Этому грузу обязана страна всеми своими неурядицами, и он же стоит преградой к возвращению генерала Григоренко.

А за примерами прошлого, хватающего российское общество за ноги, ходить далеко не приходится. Возьмем, например, Вторую мировую войну. Генерал Григоренко во время войны, зачастую с риском попасть под трибунал, избегал неоправданных потерь своих подчиненных, в то время когда в советской армии царил принцип: «Людей не жалеть!» и одним из главных исполнителей этого вурдалакского принципа был маршал Жуков. Тот самый маршал Жуков, который ныне возведен в ранг национального героя. Чего после этого удивляться варварской мясорубке последней чеченской войны, в которой своих не жалели, не говоря уже о «чужих», которых можно жечь напалмом и истреблять в фильтрационных лагерях. К слову, не мешало бы вспомнить, что чеченцы один из четырнадцати народов, подвергнутых депортации и геноциду в недавнем коммунистическом прошлом, а среди «преступлений» генерала как раз числится бескорыстная борьба за восстановление прав депортированных народов. Ну, куда ж тут вписаться улице генерала Григоренко?

Душа генерала болела и за обездоленное, окровавленное крестьянство. Но и десять лет спустя после падения коммунизма никто всерьез не повинился за 17 миллионов крестьянских душ, унесенных смерчем «коллективизации и ликвидации кулака как класса». И по сей день крестьяне не получили назад землю, которая им принадлежит по праву. Да и как вообще рядовой житель России может получить что-то, что принадлежит ему по праву, когда всем распоряжа-

ются вчерашние партийные боссы, слегка поменявшие окраску. Всего лишь несколько месяцев назад я имел «удовольствие» ознакомиться с беседой в редакции одной из свободных московских газет с бывшим комсомольским вождем и бывшим же председателем КГБ г-ном Семичастным. Тем самым г-ном Семичастным, который «удостоил» генерала Григоренко собственноручным ведением его первого дела, столь блестяще завершеного отправкой генерала в психушку. В этой беседе уважаемый господин поведал всему миру, что если бы им, специалистам, не ставили палки в колеса, то нынешнее поколение россиян процветало бы ничуть не хуже населения самых развитых стран. И никто даже глазом не моргнул, а «специалистов» из небезызвестного учреждения становится все больше и больше на всех уровнях власти, а там где их нехватает добавляют подобных же «специалистов» из резерва «вечно живого» ЦК КПСС. Метастазы тоталитаризма проели все слои российского общества. От него не спаслась даже Церковь, эта единственная формально не коммунистическая институция. Не буду перечислять все, но екатеринбургское аутодафе вполне может служить доказательством того как далеко зашла болезнь.

Проанализировав некоторые из причин, препятствующих появлению улицы Григоренко в Москве, можно и приступить к вопросу, зачем же такая улица нужна российской столице? Вкратце небольшой исторический очерк к истории Комсомольского проспекта, на котором стоит дом, где родился я и где мой отец прожил почти сорок лет. В моем детстве от Крымской площади до церкви св. Николая в Хамовниках проходила ул. Чудовка, упиравшаяся в Хамовнический (позднее Фрунзенский) плац. В конце этого плаца был открытый манеж, где кавалеристы практиковались в рубке лозы и джигитовке. Далее – крытое стрельбище, заканчивающееся приблизительно около теперешней станции метро «Фрунзенская», а следом за стрельбищем начиналась городская свалка, тянувшаяся до окружной железной дороги. К фестивалю молодежи и студентов началось постепенное расширение будущего Комсомольского проспекта, снос рабочих бараков вдоль Хамовнической (позднее Фрунзенской) набережной и снос Лужнецкой слободы под будущий стадион. Иными словами, Комсомольский проспект не является исторической улицей Москвы за исключением небольшого куска от Крымской площади до Хамовнических казарм.

Как водилось в старые времена, проект не был завершен вовремя. По странному стечению обстоятельств Комсомольский проспект открылся для сквозного движения осенью (в канун 7 ноября) 1961 года. В ту самую осень, когда с известного выступления на партконференции началось гражданское служение генерала Григоренко, закончив-

шея без малого двенадцать лет назад смертью в изгнании. Есть и еще один интересный момент – в молодости генерал Григоренко был одним из организаторов комсомольской организации в родном селе, а позднее членом ЦК ЛКСМУ.

Разумеется, в Москве нетрудно найти какой-нибудь закоулок и для отмазки переименовать его в улицу Григоренко. Мне, как сыну, и это будет приятно, но вот русскому народу такая отписка вряд ли сослужит полезную службу. Переименование именно Комсомольского проспекта только и может иметь какой-то смысл для преодоления раковой опухоли тоталитаризма, по-прежнему распускающей свои ядовитые метастазы. Такое переименование было бы не просто отдачей должного памяти одного из первых борцов с этой заразой, но и символом искупления наравне с восстановленным храмом Христа Спасителя, символом преодоления комсомольского лжеромантизма, символом преодоленного шовинизма. Да, коммунизм это реальное историческое прошлое России. Но в истории каждой нации, как и в жизни отдельного человека, есть моменты взлета и моменты падения. И каждый, кто закрывает глаза на собственные ошибки и преступления, а уж тем более бахвалится ими, обречен повторять их снова и снова. Ну, подумайте, в какую нормальную голову придет мысль, чтобы в Берлине был проспект Гитлерюгенда. А в Москве Комсомольский проспект и площадь того же наименования никого не удивляет. Не удивляет никого и мумия человека, совершившего тяжкие преступления против человечества, в самом сердце российской столицы, не говоря уже об улицах и памятниках разного рода служителей очевидно преступного коммунистического режима.

Мне далеко не безразличны судьбы народов бывшего СССР, не таю я и зла на страну моего рождения и возмужания за вынужденное изгнание. И по сей день любая неурядица этой страны приносит мне истинную боль. И заканчивая эту заметку, я вовсе не рассчитываю на то, что она приведет к какому-то немедленному результату. Мой жизненный опыт и долгие годы борьбы за право человека быть самим собой в условиях тоталитарного общества научили меня терпению, но при этом не истребили мой природный оптимизм. Я глубоко убежден сейчас, как и был убежден в начале шестидесятых годов, что тоталитаризм будет рано или поздно побежден как в принципах государственного и национального строительства, так и в душах отдельных людей. И такой день будет самым замечательным памятником памяти моего героического отца – бескорыстного рыцаря в борьбе за достоинство и подлинную свободу Человека.

*Андрей Григоренко
Нью-Йорк, 12 октября 1998 года*

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 177/2007 О ЧЕСТВОВАНИИ ПАМЯТИ ПЕТРА ГРИГОРЕНКО⁸⁸

С целью достойно почтить память выдающегося правозащитника, участника диссидентского движения, одного из учредителей Украинской Общественного группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений Петра Григоренко и в связи со 100-летием со дня рождения **постановляю:**

Кабинету министров Украины разработать в месячный срок в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины, Украинским Хельсинкским Союзом прав человека и Всеукраинским обществом политических заключенных и репрессированных утвердить план мероприятий по чествованию памяти Петра Григоренко, предусмотрев, в частности:

- проведение в сентябре – октябре 2007 года в городе Киеве, иных населенных пунктах, связанных с жизнью и общественно-политической деятельностью Петра Григоренко, мероприятий, посвященных его памяти;
- проведение в учебных заведениях, учреждениях культуры, военных соединениях и частях тематических мероприятий по популяризации его общественной и правозащитной деятельности;
- чеканку и введение в обращение в установленном порядке юбилейной монеты, посвященной 100-летию со дня рождения Петра Григоренко;
- выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 100-летию дня рождения Петра Григоренко, и проведение спецгашения почтовой марки;
- издание публицистических произведений Петра Григоренко.

Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным Киевской и Севастопольской, городским государственным администрациям изучить вопрос о присвоении отдельным учебным заведениям и научным учреждениям имени Петра Григоренко, а также соответствующего наименования или

⁸⁸ Перевод с украинского.

переименовании в установленном порядке улиц и площадей в населенных пунктах Украины.

Государственному комитету телевидения Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мер по оказанию почестей памяти Петра Григоренко, а также организовать тематические радио- и телепередачи, посвященные его жизни и деятельности.

*Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО
5 марта 2007 года*

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ В. ЮЩЕНКО

Многоуважаемый г-н Президент⁸⁹,

Разрешите высказать Вам искреннюю признательность за Ваш указ по поводу столетнего юбилея моего покойного отца, генерала Петра Григоренко.

Как сыну мне без сомнения приятно знать, что Родина не забыла моего отца, но моя признательность идет несколько дальше, чем признательность сына.

Ваше решение почтить память одного из наиболее известных в мире украинских патриотов, придерживавшегося широких демократических принципов, особенно важно и современной Украине, и всем бывшим подсоветским народам. Покойный генерал был и остается символом толерантности, символом истинного патриота, который не только не забывает о боли своего народа, но столь же бескорыстно отзывается на боль других народов. Именно такой образ столь остро нужен сегодня не только украинскому народу, но и остальному миру, миру, захлестываемому ядовитой волной религиозной и национальной нетерпимости.

Чествование дочерей и сынов Украины, мечтавших и делавших все, что было в их силах, чтобы родная страна стала свободным, независимым и демократическим членом мирового сообщества, необходимо и для поднятия международного престижа страны. Необходимо такое чествование и нам – многомиллионной украинской диаспоре, распорошенной по всему миру, поскольку это не только придает нам гордости за землю наших предков, но и разрушает десятилетиями культивировавшийся советской пропагандой фальшивый образ украинца-погромщика и бандита.

Многоуважаемый г-н Президент,

мне хочется привести пару высказываний, представителей российской интеллигенции, подтверждающих, что Ваше решение о чествовании Петра Григоренко нашло широкий отклик и далеко за пределами Украины.

Вот что пишет по этому поводу Елена Боннэр, вдова академика Андрея Сахарова:

«Приветствую решение правительства Украины об увековечивании памяти одного из благороднейших и мужественных предста-

⁸⁹ Письмо написано по-украински. Публикуется в моем переводе. – А. Г.

вителей украинского народа генерала Григоренко. Только бережно сохраняя память о таких людях, каким был Петр Григорьевич, и напоминая о них представителям последующих поколений, возможно созидание реально демократического государства».

Другое же высказывание, пронизанное нескрываемой горечью о судьбе его собственной Родины, принадлежит одному из моих московских друзей. Вот, что он пишет:

«Дорогой Андрей!

Поздравляю тебя и всех нас с ющенковским указом. Жаль, конечно, что ничего подобного не будет в Москве, но чего ждать от чекистской власти?»

Мне хочется надеяться, что ни одному украинскому гражданину никогда не придется разделить горечи моего московского друга, что Украина не позволит более навязать себе ярмо колониализма и не захочется в тисках шовинизма и тоталитаризма.

С глубоким уважением,
Андрей Григоренко

П. ГРИГОРЕНКО – ПЕРСОНА НОН ГРАТА И В СТО ЛЕТ

31 октября 2006 года Верховная Рада отказалась провести празднование 100-летия со дня рождения генерала Петра Григоренко в 2007 году. За принятие проекта постановления № 2207 проголосовали 193 депутата при необходимых 226.

* * *

31 октября 2006 года в ходе вечернего пленарного заседания Верховной Рады Украины народный депутат Украины, Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев выступил по проекту постановления о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося общественного деятеля, известного правозащитника, генерала Петра Григоренко.

В сентябре текущего года указанный проект постановления, авторами которого являются народные депутаты Украины Мустафа Джемилев, Нина Карпачева и Левко Лукьяненко, был зарегистрирован в Верховной Раде Украины под № 2207.

Согласно проекту постановления, в октябре 2007 года предлагалось на государственном уровне торжественно отметить 100-летие со дня рождения П. Григоренко, проведя в Киеве торжественные собрания с участием представителей органов государственной власти и правозащитных организаций Украины.

В своем выступлении народный депутат Украины Мустафа Джемилев отметил, что предложенный им на рассмотрение проект постановления призван увековечить в Украине имя человека, который был символом свободы и демократии, лидером правозащитного движения в бывшем СССР и наиболее известным в мире украинцем в 60-х – 80-х годах прошлого столетия. «Выходец из простой крестьянской семьи с. Борисовка Запорожской области, П. Григоренко дослужился до звания генерала советской армии, был неоднократно ранен в боях на советско-германском и советско-японском фронтах, работал заведующим кафедрой кибернетики в военной академии им. Фрунзе, но за свои выступления против произвола и беззаконий властей был разжалован в солдаты и одновременно признан психически невменяемым, многие годы содержался вместе с умалишенными в страшных

спецтюрьмах. Годы неволи и пыток не сломили этого мужественного человека. Он до конца своих дней оставался стойким приверженцем идей демократии, противником тоталитаризма и всех форм расовой и национальной дискриминации», – сказал М. Джемилев. По словам нардепа Украины Мустафы Джемилева, огромен вклад генерала П. Григоренко в дело восстановления прав репрессированных при сталинском режиме народов и в первую очередь крымско-татарского народа. «Он сделал для этого народа больше, чем кто-либо в мире. Петр Григоренко, наряду с Тарасом Шевченко и Вячеславом Черновилом, является наиболее известным и самым почитаемым украинцем среди крымских татар», – добавил Председатель Меджлиса. «Все меры, предусмотренные нашим проектом постановления, – продолжил М. Джемилев, – не потребуют больших бюджетных средств, а некоторые меры, как например, выпуск монет с изображением П. Григоренко, могут даже принести некоторый доход государству, поскольку эти монеты, я уверен, будут моментально раскуплены в первую очередь крымскими татарами». Народный депутат Украины Мустафа Джемилев выразил надежду, что подавляющее большинство депутатов поддержат предложенный проект постановления.

«У нас могут быть разные политические взгляды, но в вопросе оказания должных почестей людям, которые ценой своей свободы и жизни служили своему народу, полагаю, мы должны быть едины. Поэтому не случайно, что соавторами этого проекта являются представители трех ведущих фракций нашего парламента, в их числе и соратник покойного П. Григоренко, один из наиболее заслуженных героев Украины Л. Лукьяненко», – отметил Мустафа Джемилев в завершении своего доклада.

К сожалению, Верховная Рада Украины отклонила принятие проекта постановления о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося общественного деятеля, известного правозащитника, генерала Петра Григоренко.

Пресс-служба Меджлиса

В Верховной Раде Украины состоялось голосование по резолюции о праздновании столетия со дня рождения генерала Петра Григоренко. Резолюция была провалена солидарными действиями коммунистов, социалистов и регионалов. За резолюцию проголосовало только 199 депутатов при необходимых 226. Хотя речь шла лишь об отдавании должного памяти наиболее известного украинца двадцатого

века, но оно символизирует гораздо большее. Провал этой резолюции показывает, что украинский парламент пренебрегает не только украинским демократическим наследием, но и угрожает поворотом к советским порядкам, подобным тем, которые неумолимо заливают северных соседей Украины.

Andrew P. Grigorenko
President of General Petro Grigorenko Foundation
www.grigorenko.org

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ПЕТРА ГРИГОРЕНКО

Петро Григоренко родился в Украине в 1907 году. Подростком он оказался свидетелем бесчинств красных и белых. Увлеченный идеалами интернационал-социализма (коммунизма), он становится членом коммунистической партии в 1927 году. С 1930 года он лояльный офицер Красной Армии, орденоседец, участник, а затем ветеран Второй мировой войны, профессор, заведующий кафедрой военной кибернетики в военной академии им. М.В. Фрунзе.

В послевоенные годы все больше и больше разочаровывается в советском режиме. Не будучи в состоянии мириться с окружающей его несправедливостью, вступает на путь открытой оппозиции режиму. В 1964 году был арестован, заключен в специальную психиатрическую больницу (СПБ) и разжалован в рядовые. После освобождения становится одной из лидирующих фигур советского Движения за права человека наряду с другими известными диссидентами – Буковским, Сахаровым, Есениным-Вольпиным, Чорноволом, Джемилевым, Руденко, Плющом и другими.

В 1969 году его снова арестовывают, и он проводит в заключении еще шесть лет. Во время визита бывшего генерала к сыну Андрею, ранее иммигрировавшему в США, Григоренко лишают советского гражданства (1977 год), превратив его тем самым в единственного генерала когда-либо изгнанного из СССР.

В эмиграции продолжает деятельность по защите прав человека. Здесь он написал уникальные мемуары «В подполье можно встретить только крыс», книгу, позволившую взглянуть на советскую жизнь с силой, честностью и страстью, которые живо напоминают лучшие романы. Книга была переведена на многие иностранные языки и имела большой успех в разных частях света.

Петро Григоренко умер в изгнании в 1987 году и похоронен на украинском православном кладбище св. Андрея в штате New Jersey, США. После развала СССР генерал был реабилитирован и восстановлен в звании генерала. В Украине Григоренко посмертно награжден орденом «За Мужество» 1-й степени.

Главные вехи гражданского служения Петра Григоренко

1961 – призыв к демократизации советской жизни, сделанный на районной партийной конференции.

1963–1964 – распространение листовок с детальным описанием массовых расстрелов мирных демонстраций в Ново-Черкасске, Темир-Тау и Тбилиси, критикой советских порядков и призывом к демократизации общества.

1965 – написал брошюру «Соккрытие исторической правды – преступление перед народом» с анализом первоначального периода советско-германского столкновения во время Второй мировой войны, получившую широкое распространение в самиздате. В этой брошюре впервые был затронут вопрос о подготовке Сталиным превентивного нападения на Германию. Эта работа оказала впоследствии большое влияние на Виктора Суворова и побудила его начать собственное историческое исследование о действительной роли СССР во Второй мировой войне.

1965–1977 – лидирующий советский правозащитник, горячий сторонник Пражской весны, борец за права депортированных народов, в особенности крымских татар, вернуться на родные земли, за право этнических немцев и евреев на репатриацию, убежденный сторонник создания общественных негосударственных организаций по защите прав человека, член-основатель Московской и Украинской Хельсинских групп, член-основатель Комиссии по расследованию злоупотреблений психиатрией.

1977 – лишен советского гражданства, получил политическое убежище в Соединенных Штатах, где находился до конца жизни.

1977–1987 – возглавлял заграничное представительство Украинской Хельсинской группы. В этом качестве продолжает защиту прав человека. В этот же период он успешно работает против клеветы на украинский народ и искажения его национальных устремлений, таким образом, разрушая советскую антиукраинскую пропаганду, которая также культивировалась в определенных западных кругах.

Несколько книг Петра Григоренко были опубликованы в разных странах. Он также автор большого количества статей как по вопросам правозащиты, так и чисто военным, большинство которых было доступно только офицерам и генералам, но закрыто для широкой публики. Последняя военная книга, написанная уже в эмиграции, опубликована только на английском языке и по сей день изучается в военных институтах и академиях США. Его мемуары и сборники статей были переведены на многие языки и опубликованы в целом ряде стран.

В Советском Союзе Петро Григоренко жил под непрерывным надзором КГБ и был дважды в заключении, где в общей сложности провел восемь с половиной лет.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

СПИСОК ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

К читателям

Леонид Млечин. Гражданский пример генерала Григоренко

Противостояние

Эдвин Поляновский. Мятежный генерал

Сергей Ковалев. Событием был он сам.

Леонид Плющ. Человек судьбы

Юрий Орлов. Об отдельной роли П.Г. Григоренко
в распаде советской системы

Надия Свитлычная. Национальные аспекты правозащитной
деятельности Петра Григоренко

Андрей Амальрик. Я первый раз почувствовал,
что мне стыдно быть русским.

Софья Каллистратова. О «деле» П. Григоренко,
И. Яхимовича и др.

Леонард Терновский. Из предистории ИГ

Мирослав Маринович. Заметки связного

Мустафа Джемилев. Он был больше чем другом
для нашего народа

По живому следу

Владимир Буковский. Он принимал свою судьбу стоически

Наум Коржавин. В защиту банальных истин

Григорий Померанц. В пространстве без дорог

Игорь Рейф. Каждый прозревает в одиночку

Из писем П. Григоренко из Черняховской
спецпсихбольницы.

<i>Лев Копелев.</i> Письмо тюремным психиатрам	
<i>Юрий Гримм.</i> Пациент «Сербского»	
<i>Микола Руденко.</i> Мы расстались не друзьями – братьями	
<i>Андрей Григоренко.</i> «Не имей сто рублей...»	

Штрихи к портрету

<i>Зинаида Григоренко.</i> Мое знакомство с Петром	
<i>Алексей Смирнов.</i> Генерал моего детства	
<i>Михаил Харнас.</i> Гражданский костюм	
<i>Татьяна Литвинова.</i> Он ни минуты не привыкал к несвободе	
<i>Владимир Войнович.</i> Два отрывка из книги	
<i>Нина Самокиш.</i> Воспоминания секретаря	
<i>Александр Галич.</i> Горестная ода счастливому человеку	

Приложение

Выступление П. Григоренко на похоронах А. Е. Костерина в московском крематории 14 ноября 1968 года	
Запись речи П. Григоренко (в сокращении), произнесенной 17 марта 1968	
Правозащитная деятельность П. Григоренко в зеркале документов КГБ и ЦК КПСС	
Указ президента Российской Федерации «Об увековечении памяти Григоренко П.Г.»	
<i>Андрей Григоренко.</i> Письмо главному редактору газеты «Известия»	
Указ президента Украины «Об увековечении памяти Петра Григоренко»	
<i>Андрей Григоренко.</i> Письмо президенту Ющенко	
П. Григоренко – персона нон грата и в сто лет	
Основные даты жизни и деятельности П. Григоренко	
Коротко об авторах	
Список имен	



Отец Петра Григоренко с сыновьями Иваном, Максимом, Петром (крайний справа) и дочерью Натальей



Григоренко с сыном Анатолием на фронте



Петро Григорьевич
и Зинаида Михайловна
Григоренко. 1945 г.



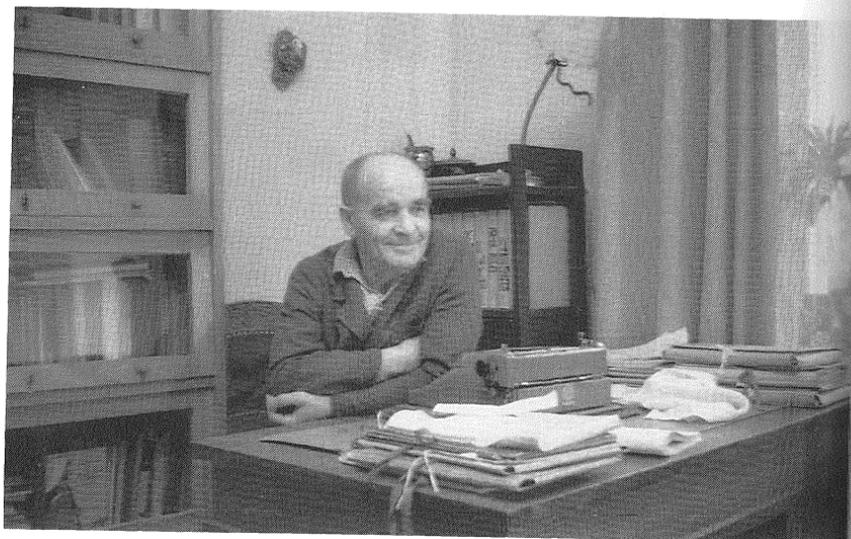
Петро Григорьевич с Зинаидой Михайловной и сыновьями. 1954 г. В первом ряду – Андрей, Анатолий. Второй ряд – Виктор, Георгий, Олег



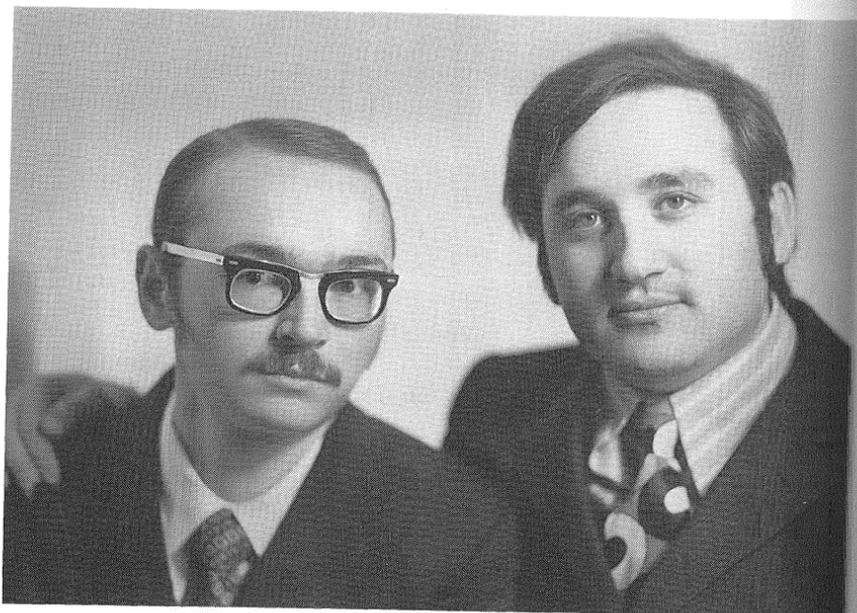
Генерал Григоренко – в центре – с группой офицеров штаба армии.
Дальневосточный военный округ. 1962 г.



Ленинградская спецпсихбольница – место первого заключения Григоренко
в 1964 г.



Алексей Евграфович Костерин



Бывшие соратники по Союзу борьбы за возрождение ленинизма — Андрей Григоренко и Михаил Харнас



Петро Григорьевич и Зинаида Михайловна с А. Д. Сахаровым.
Рядом с ними – Н. А. Великанова и о. Сергей Желудков



Шерадная форма генерала
Григоренко. Снимок сделан
в 1967 г. в день его 60-летия
Юрием Гриммом, по просьбе
генерала П. Г. и надел свой
генеральский китель



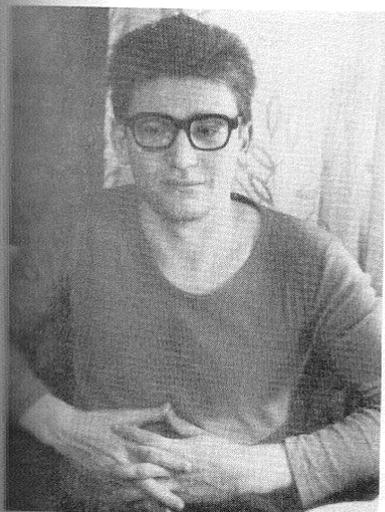
Григоренко на митинге
(Москва, вторая половина
1960-х гг.) против нарушения
прав человека в Советском
Союзе.

*Фотография из Фонда
Реддуэя, предоставлена
Центром им. А. Д. Сахарова*

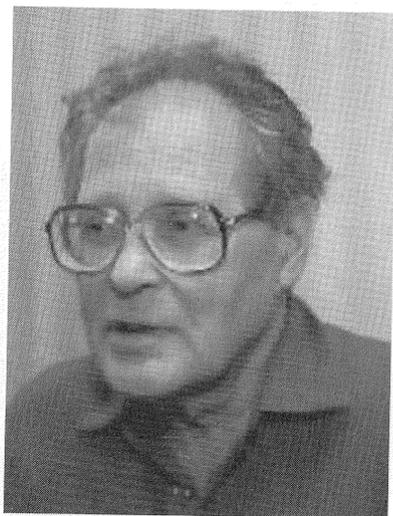


Черняховская СПБ в Калининградской обл., куда был заключен Григоренко
в 1969–1973 гг.

Демонстрация право-
защитников с участием
П. Григоренко
у памятника Пушкину
5 декабря 1976 г.



Андрей Амальрик.
Снимок 1970-х гг.



Сергей Адамович Ковалев.
Снимок начала 90-х гг.



Владимир Буковский на встрече с президентом Дж. Картером



Лидер крымских татар,
председатель Крымско-
татарского Меджлиса
Мустафа Джемилев



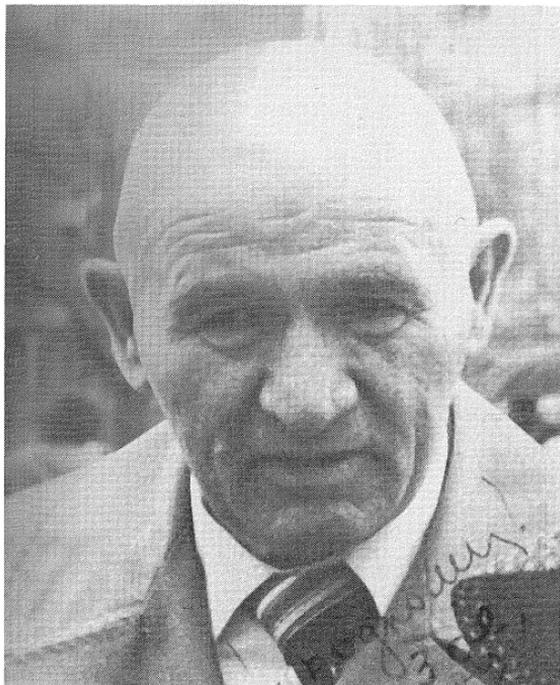
«Эмиграция по-советски». Проводы Андрея Григоренко в Шереметьевском аэропорту в 1975 г. Крайний справа — Юрий Grimm



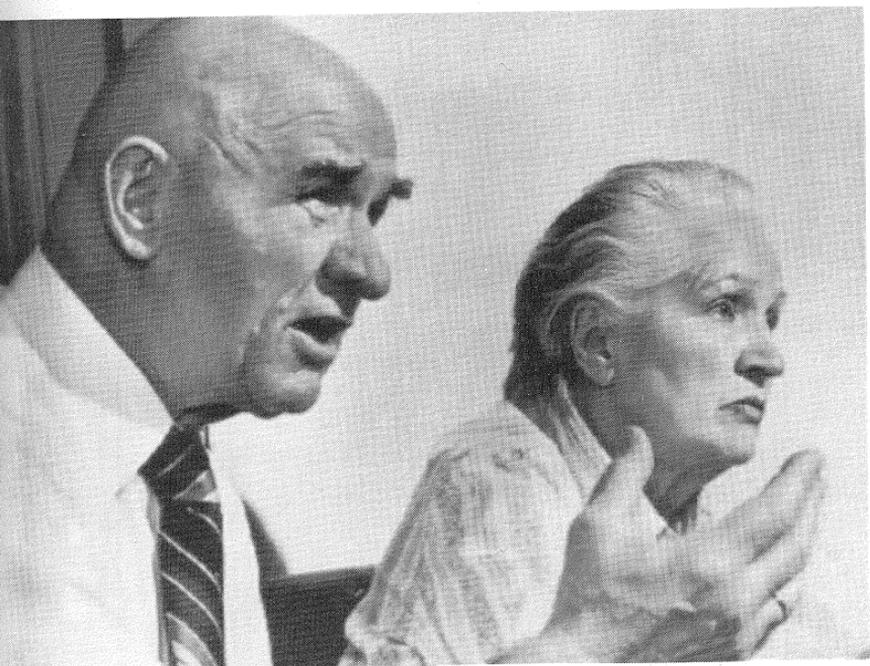
Григоренко с правозащитницей адвокатом С. В. Калистратовой.
Москва, 1977 г.



Петро Григорьевич с Миколой Руденко и Зинаидой Михайловной в Конча-Заспе на Днепре. 1976 г.



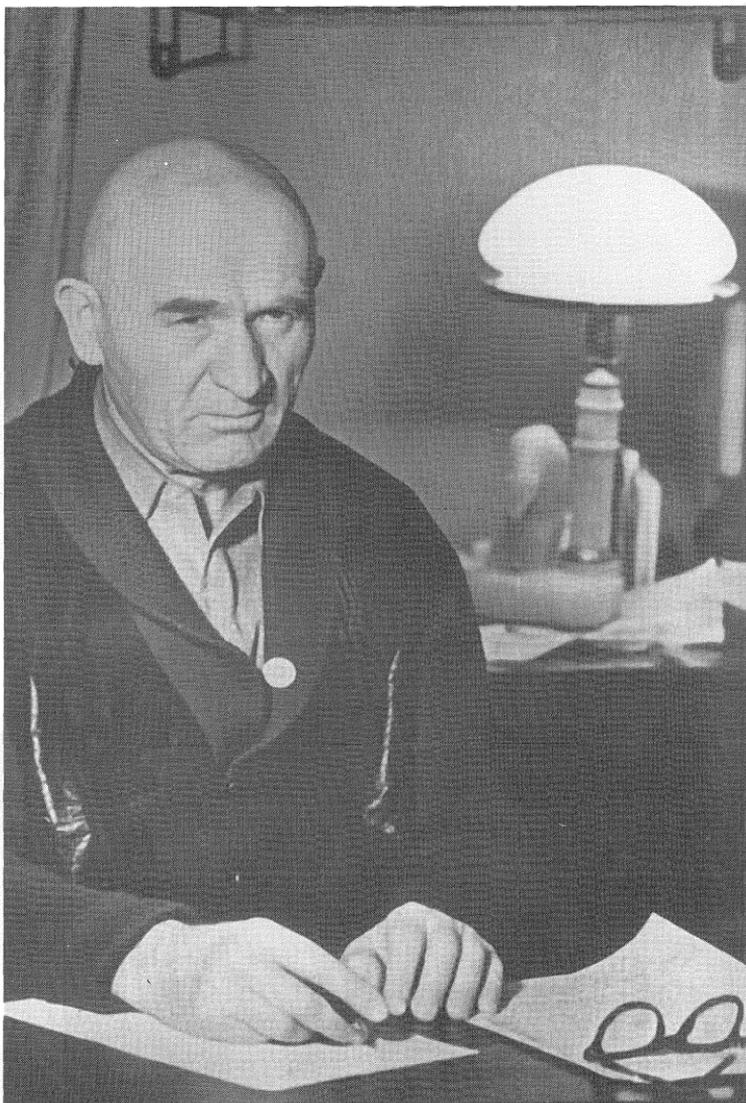
П. Григоренко в эмиграции.
Конец 1970-х – начало
1980-х гг.



И. Г. и З. М. Григоренко отвечают на вопросы журналиста газеты «News Day», США

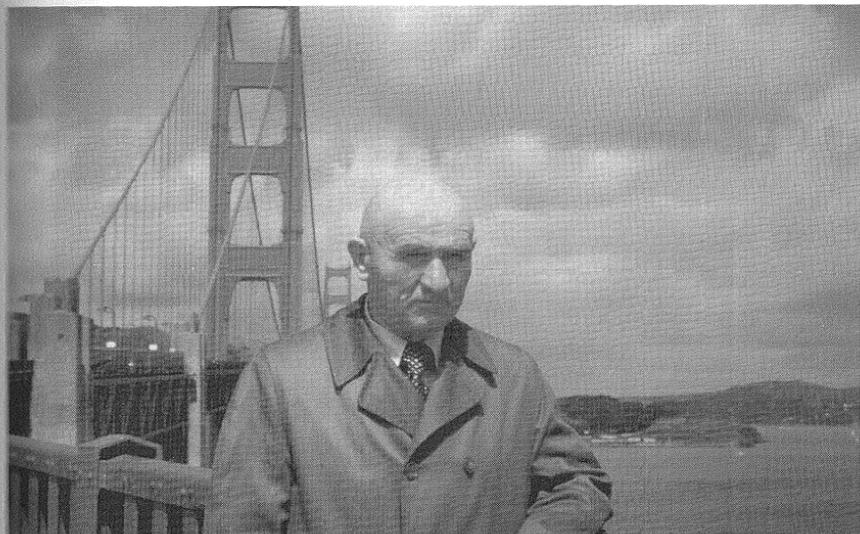


И. Г. Григоренко на приеме в Белом Доме у президента США Джимми Картера. 20 сентября 1978 г.



Во время работы над книгой мемуаров. Нью-Йорк, конец 1970-х гг. Фотография из Фонда Реддуэя, предоставлена Центром им. А. Д. Сахарова

Отец и сын Григоренко
перед домом Фикрета
Юртера, президента
Национального центра
крымских татар в США



На мосту Golden Gates («Золотые Ворота»). Сан-Франциско, США



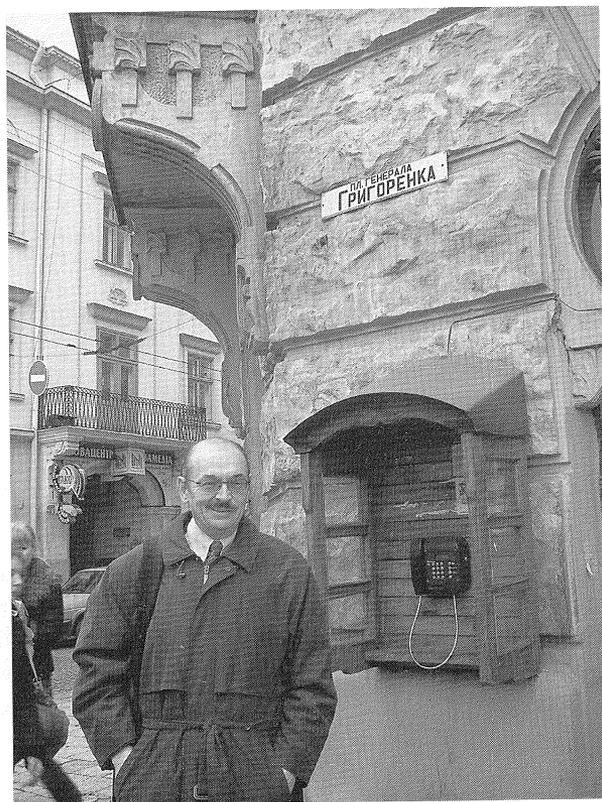
Похорони П. Г. Григоренко



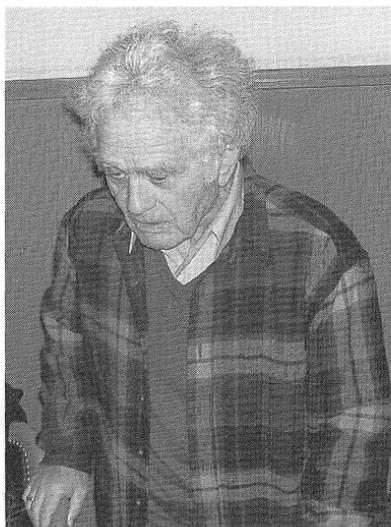
Могила П. Г. Григоренко на украинском кладбище Bound Brook, штат Нью-Джерси



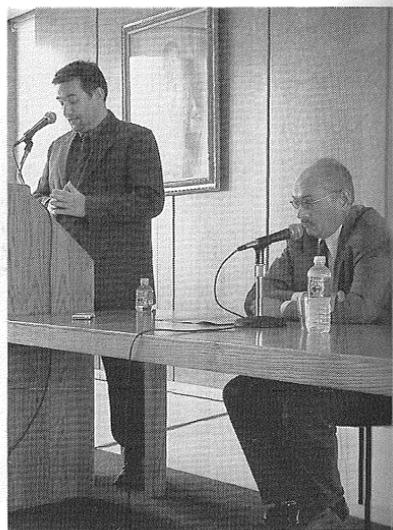
Андрей Григоренко с Мирославом и Любой Мариновичами



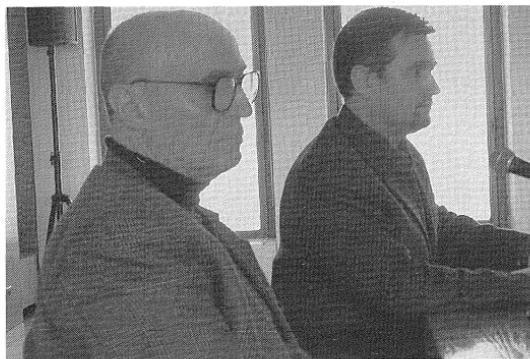
Львов, Украина.
Андрей Григоренко
на площади имени
своего отца



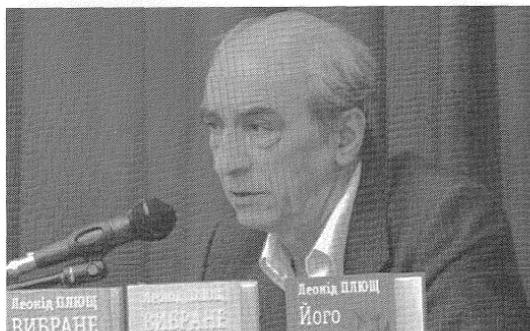
Юрий Орлов. Нью-Йорк, начало
2000-х гг.



6-е Григоренковские чтения.
За столом Андрей Григоренко



6-е Григоренковские
чтения.
Слева – Павел Литвинов



Леонид Плющ отвечает
на вопросы журналистов.
2010 г. Франция

Научное издание

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ...

Памяти выдающегося правозащитника
генерала П. Григоренко

Художественный редактор *А. К. Сорокин*

Технический редактор *М. М. Ветрова*

Выпускающий редактор

Компьютерная верстка